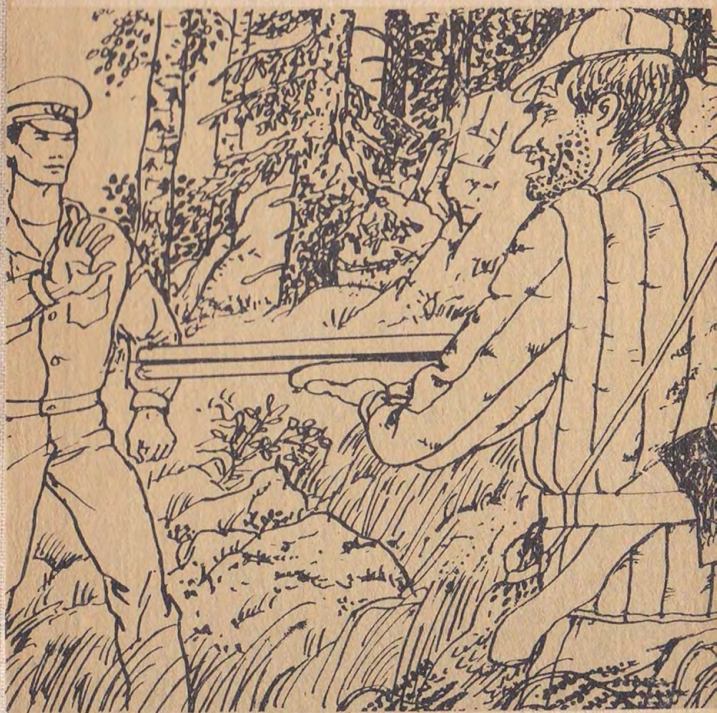


БИБЛИОТЕКА
БАШКИРСКОГО
РОМАНА
«АГИДЕЛЬ»



НУГУМАН
МУСИН

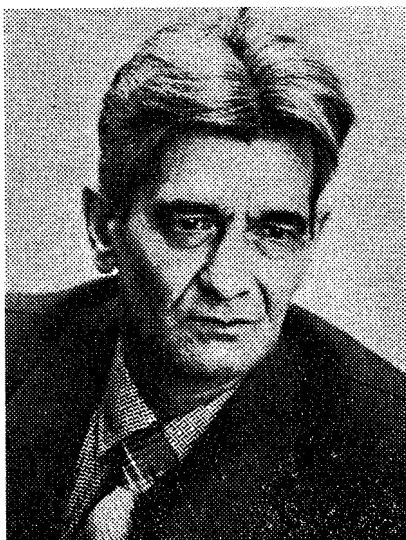
ВЕЧНЫЙ ЛЕС

Scan Kreyder - 21.12.2018 - STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА
БАШКИРСКОГО РОМАНА



”АГИДЕЛЬ”



Нугуман Мусин (род. в 1931 г). — известный башкирский писатель, автор более двадцати повестей, многочисленных рассказов и очерков. Написал романы «Люди дальних дорог», «Избранная судьба», «Белый олень на Синь-горе», «Голос раненого человека», «Выходи в путь на заре» и дилогию «Вечный лес».

**НУГУМАН
МУСИН**

ВЕЧНЫЙ ЛЕС

РОМАН

Книга вторая

Авторизованный
перевод с башкирского
Б. Куликова

**УФА
БАШКИРСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1989**

84 Баш

М 91

*Редакционная коллегия: Каримов М. С.,
Мирзагитов А. М., Байбулатов Р. Ф.,
Баимов Р. Н.*

Печатается по изданию:
Нугуман Мусин. Вечный лес. Книга вторая. —
М.: Современник, 1988.

Мусин Н.

М 91 Вечный лес: Роман. Кн. 2. (Перевод с башкир. Б. Куликова). — Уфа: Башк. кн. изд-во, 1989. — 480 с., ил.

Во второй книге романа продолжается рассказ о судьбах людей, берегущих наше лесное достояние.

Заботливым хозяином, рачительным хранителем лесного богатства возвращается в родной край главный герой Гильман Тулькусурин. Непросто пришлось ему на новом месте, с большим трудом удалось воплотить в жизнь давние мечты о рациональном землепользовании. Драматично складываются у него взаимоотношения с любимой девушкой.

М 4702110100—55
М 121(03)—89 66—89

84 Баш

ISBN 5—295—00279—9

© Башкирское книжное издательство, 1989.
Портрет, иллюстрации.

Пролог

Человек вздрогнул, приходя в себя, поднял голову, шагнул прямо к самому краю пропасти, будто Тулькусур, защищая свою честь, только сейчас бросился отсюда вниз, и Человек все еще надеялся увидеть его живым и спасти. Всякий раз, когда Человек приходит к скале, носящей имя героя, он всегда впадает вот в такие безграничные думы, переживает вот такое странное чувство. И ведь ясно, что ничего уже нельзя исправить, что с той поры, со дня гибели Тулькусур-батыра, прошло шестьдесят шесть лет. Об этом говорят нестираемые надписи на каменной груди этой скалы, на стволе вековой сосны-борти. Сколько воды утекло, кто только ни приходил в этот светлый и яростный мир, кто только ни уходил из него, какие только ураганные события ни пронесли за это время по всей земле — начини считать, не сосчитаешь до конца своих дней. Конечно, для покойных время не существует, но оно течет и втягивает в свой водоворот живых. А живые до сих пор поют и рассказывают о батыре Тулькусуре, и потому Человеку он представляется

вечно живым, могучим, как эта скала, носящая его имя.

«А меня, моих современников, когда пройдет столько же лет, будут ли вспоминать так же? — думал Человек. — Смогу ли я прожить свою жизнь так, чтобы и мои потомки вспоминали меня хорошим словом, доброй песней? Если же этого не случится, если не останется после тебя ни одного светлого следа, зачем ты приходил в этот мир, зачем ты жил в нем?»

Даль, раскинувшаяся перед ним, таяла в голубой дымке. Чуть выше по течению река Нуруш расходилась на два рукава: правый — неглубокий и неширокий — лениво пробирался по долине меж ослизлых камней, шевеля редкие кувшинки и мочала хвосты зеленых бодяг. Берега этого рукава были густо покрыты тальником, над которым шумели купы разнолиственных деревьев, которые бурно пробились сквозь отшлифованные до зеркального блеска или наоборот, покрытые зеленоватым мхом, камни. Это медленное течение, эта болезненная запущенность правого рукава ясно говорила, что он умирает; вода в той стороне скоро иссякнет, умрет и сама долина. Возможно, поколения, которые родятся после Человека, стоявшего сейчас на выступе скалы, и не подумают, что Нуруш когда-то давным-давно бежала, волнуясь, по этой низине, что здесь было ее основное русло.

Недавно же образовавшийся левый рукав тек так полноводно и быстро, переливаясь бликами светящихся на дне галек, что, казалось, говорил: теперь я здесь хозяин. По берегам его густо росли жирные глянцевого камыши, дружно шуршащие под напором течения, да и деревья были молодые, сочны и весело посверкивали зелеными листьями.

На изгибе, там, где река раздваивалась, раньше был глубокий омут. Теперь его затянуло песком, илом, мелкими камушками, подернуло ряской. Это был уже не омут, а мертвое тихое болотце, но ниже его, куда поворачивал левый проток, вода, низвергаясь с переката, выбила сильный водоворот. Со страшной силой, пенясь и брызгая, крутились и сшибались в нем тугие струи, образуя зеленоватую как бы бездонную воронку. Верно говорят, что реки без омута не бывает, как мира без зла.

Эй, время! Эй, эпоха! Перед какими только испытаниями не ставишь ты в этом бренном мире старину-землю, на которой уже миллионы лет властвует живое существо, на какие только перевоплощения не обрекаешь?! Вот эти мощные гладкие осины давно ли были маленькими деревцами, которые клонились даже под слабым ветром, разом падали от единого взмаха топора? А теперь попробуй сруби их. Раньше на этом лугу цвела черемуха и ее вспенившийся, как молодой снег, цвет кружил голову. Теперь здесь чахлый луг... Кажется даже, что великая скала Тулькусурь, гордо стоящая грудью против ветров и возвышающаяся над близлежащими окрестными горами, стала ниже, сдержаннее.

Человек, стоявший на краю скалы, вздохнул, стал спускаться по направлению к новому омуту, закрытому уремой. Он решил искупаться, дать немного отдохнуть телу — ведь с самого утра бродил по лесу, карабкался по горам и скалам. Устал, вспотел... Он остался в одних трусиках, сделал несколько движений руками, играя мускулами, и, упершись в бока, уставился на шипящий и брызжащий пеною поток, словно вызывал его на какой-то поединок. Потом резко выбросил обе руки вперед и прыгнул вниз головой в самую

середину водоворота. Его дважды крутануло, но энергично гребя ладонями, он вырвался, потом уже само течение понесло Человека вниз. Когда его ноги коснулись дна реки, он встал, ощущая подошвами мелкие гладкие камешки, обернулся назад. Никакого, оказывается, следа в воде не осталось. Вода так же колобродила, глухо шепелявила и плевалась, но теперь ни река, ни сам омут уже не казались ему ни таинственным, ни страшным.

«Так вот оно что, — подумал Человек, — оказывается, по течению плыть легко, да только ни следа, ни воспоминания об этом не остается. Легко, и все; считай, удовольствие, но ведь сам-то ты почти никаких усилий не приложил для получения этой сладости».

И он, решившись, ринулся вверх навстречу потоку. Течение отчаянно било его в грудь, выламывало руки, но он продолжал плыть, не собираясь сдаваться, и течение потихоньку ослабевало. Он почувствовал, что преодолел его, вошел в самый центр водоворота, и тут, будто обрадовавшись, вода тесно сжала его грудную клетку, закружила, потащила куда-то вниз, в зеленую мутную бездонность. Он все так же энергично работал руками и ногами, извивался всем телом, стараясь вырваться из удушающих холодных объятий, но с ужасом чувствовал, что силы покидают его, что уже захлебывается, и тогда, на секунду расслабившись, что позволило потоку утащить его с головой, он рванулся из последних сил. Снова над головой засверкало солнце, снова смотрело на него мужественное и вечное лицо Тулькусур, снова увидел он веселое покачивание зеленых ветвей: ив, сосен и осин... Человек понял, что одолел течение, он проплыл еще немного, встал на перекате, обернулся к реке. Та

все так же яростно клокотала пеной водоворота, и казалось, что это зло смотрит на него единственный глаз Бабы-Яги. Тело Человека вздрагивало от недавнего напряжения, с кожи его стекала вода, ноги щекотали бурные волны переката. «Верно старые люди говорят, — подумал Человек, переводя дух, — за воду не держись, за коня держись. Оказывается, и у тебя, речка, есть свои опасные места, только я знаю это и теперь уже не боюсь тебя!»

Ах, дитя человеческое! Разве можно до конца узреть бездну омута, опасные повороты жизненных дорог, дойти до дна человеческой души? Думаешь, зря, что ли, весь свой век вздыхаем, рассуждая о сложности жизни?..

Человек, выйдя на берег, отжал свои мокрые слипшиеся волосы, расчесал их пятерней, быстро оделся и, хотя только что испытывал нечто похожее на борьбу со смертью, пошел, легко и широко ступая, к скале Тулькусурь. В человеческой натуре забывать и плохое и хорошее, и горе и радость, наверное, это качество помогает человеку трезво смотреть на жизнь, вернее выбирать путь, по которому следует идти.

Человек остановился у родника, который низвергался из-под подножья горы в долину и был подобен девичей косе — так туго переплетались воедино три светлые звонкие струи. Он наклонился, зачерпнул пригоршней воды, с наслаждением выпил. Сладкая, сводящая холодом зубы, кровь родника удвоила его силы, и он еще уверенней зашагал на вершину крутой горы.

Пробившись сквозь густую, пьянящую ароматом, поднявшуюся в его рост, траву, Человек остановился у чехликового курая, коричневые го-

ловки которого возвышались над всеми другими травами. Пробормотав зачем-то: «Ну дошел до жизни, теперь только петь остается», Человек вынул из кармана нож, раскрыл его, срезал с хрустом тростинку. Потом он наискосок отхватил ее кончик, поднял курай вверх, сощутив глаз, посмотрел вовнутрь. Там было вроде бы чисто, хотя стенки казались несколько толстоватыми, видимо, тростник не совсем созрел. Но недаром же говорят, пока не сыграешь, курая не узнаешь, пока не женишься — жену не узнаешь. И Человек начал четвертями отмерять положенную длину будущего инструмента, разговаривая сам с собой:

— Курай?

— Ау?

— Где ты рос?

— В лесу рос.

— Кто тебя срезал?

— Человек срезал.

— Для чего?

— Играть.

Он отмерил ровно восемь четвертей, обрезал тонкий конец, просверлил кончиком ножа дырочки, лезвием соскоблил ту сторону, которую берут в рот, приставил курай к зубам, дунул, курай издал звук, похожий на гул ветра в ущелье. Человек сразу поверил, что получился хороший инструмент. Он шире расставил ноги, расправил грудь, запрокинул голову, и тростник, который только что молчаливо стоял среди темно-зеленых трав, стал разливать вокруг себя волшебные мелодии. И скала Тулькусуры, гордо выпятившая свою изрезанную ветрами грудь и глядевшая поверх других гор и деревьев, и сами деревья, что росли на ее хребте, вздев ввысь сухие разлапистые, как рога поживших лосей, ветки, которыми

они, казалось, хотели проткнуть небо, и толстая, более чем в три обхвата, бортевая сосна, и река Нуруш, гнавшая невесть куда свои воды, и певчие птицы в уремах, и сами уремы, — все затихло, все заслушалось. А курай в руках Человека с волшебной силой издавал звуки, похожие то на бурное весеннее половодье, то на стыдливый, мягко журчащий голосок родника, то на резкий горный ветер; заполнял своей мелодией всю округу. И казалось, что не только горы, леса, реки, но все живое сливается вместе с ним в единый чудный хор. Человек же повторял про себя такие строки:

На растущие до небес огромные борти
Не говори — залез без ремня.
Одинокий парень в курай играть не будет,
Если душа его мыслями не переполнена.

Человек прекратил играть, прислушался к замершей природе, услышав отзвук, довольно улыбнулся и, раздвигая травы, зашагал к старой сосне-борти, возле которой останавливался всякий раз, когда приходил сюда. Остановился и на этот раз, прислонился к дереву, замер. И на этот раз в глубине души его раздался знакомый голос:

«Эй, Человек мой! Человек мой, ты гордо ходишь, крепко ступая по земле! В сердце твоём много и песни и силы. Верю я, что сотворишь ты дела величиною с эти горы, что будущее твоё светло. Прислушайся же к моему совету, пусть он навечно войдет в твою душу. Я много пережила, много видела. Я сосна, чьи корни пробились сквозь грудь каменной скалы, тело мое — ствол, отшлифованный ветрами времен, мои облизанные ветрами и ливнями ветки превратились в сталь! А твои корни сквозь годы и века уходят до корней твоих предков. Моя сила — вся во мне.

А твоя мощь в святом, удалом, вечно живом их духе. Не забывай об этом, не забывай тех людей, которые всю жизнь боролись за свое право жить на земле, за свою гордость, за свое честное имя! Пусть корни твои вечно будут в той земле, которую они щедро поливали своим горьким потом и горячей кровью. Хочешь, дитя Человека, я поведаю тебе маленький кусочек одной большой истории, о тех людях, кому обязан ты своими корнями, с кем связан на веки вечные?»

Человек вслушался... Повестям о былом он был готов внимать день и ночь, но внезапно отвлекло его недавнее происшествие — вспомнилось, что именно здесь, у этой самой старой борти, месяц тому назад он услышал выстрел, так нелепо прозвучавший для него, лесничего, в этом заповедном месте.

Человек, повернувшись, стал пристально всматриваться туда, где ему тогда почудился выстрел, и опять услышал голос дерева.

«Теперь, сколько ни смотри, Человек, тебе не увидеть там своего дедушку Тулькусору. Лоно земли нас породило, лоно земли — самое последнее, самое спокойное пристанище, оно уже никогда не возвратит в этот мир своих вечных обитателей. И все же здесь, наверху, навсегда остаются светлая память, их имена. И вот Тулькусора умер, но его имя запечатлелось даже в названии этой скалы, потомки его жили и живут его духом, продолжая начатое им дело.

Вот и мне дано имя твоего отца — «Сосна Ильгама». Хочу поведать тебе, почему ношу я это имя. Думаю, мой рассказ пригодится и для твоей будущей жизни, для дел, которые совершишь. Я ведь тоже своей долгой жизнью обязана не только земле-матери, взрастившей меня, вспоившей своим соком, радостно мне видеть вокруг

себя дружную поросль мою, и склоняется моя седая голова не только перед матерью-землей, но и перед всем вашим родом — светлой памятью Тулькусурь, другим дедушкой твоим Бикмуратом, дядей Янтурой и еще перед одним человеком чистой души и большого сердца.

Этим человеком был Ильгам, которому, когда погиб Тулькусур, исполнилось лишь четыре года и он мало что еще понимал, жил как маленькое деревцо, радуясь солнцу в небе. Рос Ильгам очень смышленным, бойким, крепким, как дуб, и поразительно похожим на отца. В тринадцать лет он выглядел здоровее шестнадцати-, семнадцатилетних парней. Под стать росту был и его характер — крепкий, независимый, опять-таки чисто отцовский. Даже не спросив согласия Бикмурата, порвавшего с богачом Уелданом, нанялся к тому в батраки: зимой чистил сараи, поил скот, задавал ему корм, летом пас байских овец, вот тогда-то и научился он, как покойный Тулькусур, играть на курае. Бывало, пригонит сюда овец, отпустит их отдыхать под сенью деревьев, а сам сядет у моих корней, прислонится спиной к стволу и начинает играть. Недаром же говорят, богатый шубой греется, бедняк — песней, а у Ильгама душа была переполнена грустью, а грусть, как ты знаешь, рождает музыку. Как только начинал он играть на тростниковой дудочке, все вокруг затихало, лишь, низвергаясь, бурлила печальная песня без слов, затопляя всю округу.

У меня душа болела оттого, что живет, он так одиноко, грустно, хотелось помочь ему, да что я могла? Но так уж повелось в природе, что живая душа всегда найдет себе пару.

Однажды, когда около меня сидел Ильгам и по своему обыкновению наигрывал на курае, со стороны села показалась девочка. Видимо, до нее



донеслись звуки печальной мелодии, потому что она остановилась, некоторое время стояла прислушиваясь, потом, осторожно ступая, подошла ближе. Увидев ее, Ильгам смутился, сунул свой курай в берестяной футляр и встал. Несмотря на свои четырнадцать лет, он был крепкого телосложения, выше девочки на целую голову. Я слышала его сдавленный голос:

— Ты чего сюда пришла?

— Вот, принесла тебе айран.

Тут я увидела в руках у девочки кувшин, выдолбленный из цельного дерева.

Девочка, вскинув длинные ресницы, бросила на Ильгама лишь один взгляд, и лицо ее, на котором уже проступала девичья красота, залилось румянцем. Она опустила глаза, уставившись на свои красивые чарыки, словно приглашая и парня полюбоваться ими. Это была дочь молодой жены Уелдана, Гульзухра. Родилась она всего на год позже Ильгама.

Ильгам смотрел на нее, не скрывая восхищения. Действительно, она была прекрасна, как бутон нераспустившегося цветка. Казалось, достаточно было одной капли дождя, чтобы этот бутон сразу же раскрылся.

Ильгам сглотнул тугой горячий комок, неведь откуда взявшийся в горле, спросил:

— Айран твоя мама послала?

Гульзухра зарделась еще пуще.

— Нет, я сама его приготовила, кислое молоко размешивала водой вон из того родника.

Она показала рукой вниз, на подножье горы, из которой и сейчас, как ты знаешь, бьет сладкий, ледящий зубы родник.

— Как же ты не побоялась идти так далеко?

Девочка пожала плечами.

— Я думала, ты поближе. Иду, иду — нету. Кричу, кричу — нету. Оказывается, вот ты где... А сам не боишься весь день бродить один в такой глухомани?

Ильгам с некоторым высокомерием, достойным его возраста, бросил:

— Сказала тоже! Я никого не боюсь. — И тут же по-мальчишески проговорился: — Да и не один я, вон у меня товарищей сколько! — и кивнул в сторону овец, которые, спасаясь от жары, сгруппировались в тени деревьев.

Ильгам взял кувшин, потряс его, перемешивая воду с кислым молоком, потом надолго припал к его горлышку, причмокивая губами. Наконец оторвался, перевел дух:

— Вкуснота какая! Язык можно проглотить! А я как раз пить хотел, до ручья далеко спускаться... Спасибо тебе, Гульзухра.

Девочка счастливо засмеялась, погрозила ему тонким пальчиком.

— Спасибо, Ильгам, не отделаешься! Коль уж понравился тебе мой айран, сыграй еще на курае... для меня.

Смущенный румянец пробежал по лицу Ильгама, но он не долго колебался, вытащил дудочку из футляра, посмотрел на Гульзухру, которая стояла потупившись, с какой-то тайной надеждой. Потом вдохнул полные легкие воздуха, затянул свой любимый «Урал». Девочка замерла, а когда в воздухе растаяла последняя долгая и волнующая нота, подхватила кувшин, побежала с горы, часто оглядываясь, помахивая рукой и ободряюще улыбаясь.

...С той поры она почти ежедневно приносила Ильгаму айран, даже когда шел дождь и стояли холодные осенние дни; хотел или не хотел пить Ильгам, но всегда он с наслаждением выщежи-

вал весь кувшин, похваливая вкус айрана, искусство и смелость Гульзухры. А потом самозабвенно играл на своем курае им же самим сочиненные мелодии. Если же по какой-то причине Гульзухра не приходила, Ильгам, нахмурившись, долгими часами неподвижно сидел у моих корней, а то вдруг вскакивал и, будто желая наказать весь мир за свои напрасные ожидания, так резко взмахивал и щелкал в воздухе длинным ременным кнутом, что звенело в лесу...

Так прошли лето и осень. Я уже привыкла было к Ильгаму и Гульзухре, привыкла к их чистой любви и радовалась за них. Но в начале следующего лета овец пригнал сюда совсем другой подпасок. Я узнала, что Уелдан прогнал моего Ильгама с работы за то, что будто бы пропало две овцы. Сердцем своим я понимала, что дело вовсе не в этой пропаже — наверное, до старшины докатились слухи о встречах его дочери с сыном ненавистного ему Тулькусурь — и моя радость сменилась беспокойством: не увянет ли из-за этого чистое юношеское чувство между двумя, ставшими такими дорогими мне, молодыми существами? Но, к радости моей, этого не случилось! Правы люди, которые говорят, что любовь не знает границ и запретов. Ильгам в свои пятнадцать лет стал настоящим парнем, способным обротать медведя. Работал он теперь у Романа Лапшина поденщиком. Вообще-то Лапшин из-за ненависти ко всему роду покойного батыра никогда бы Ильгама не нанял, но все мужчины были на германском фронте, а «боярину» (так называли в округе помещика) требовались сильные, крепкие люди.

Ильгам, как и раньше, стал появляться на том же месте, доставал из футляра свой курай и заливался, подобно соловью, подзывающему свою

подругу. Наверное, Гульзухра в это время где-то пряталась, ожидая его прихода, потому что при первых же звуках курая она устремлялась к Ильгаму, мелькая между кустов. Ильгам же, завидя свою птицу счастья, радостно протягивая руки, бежал ей навстречу. Так, взявшись за руки, словно боясь потерять друг друга, они медленно ходили вокруг меня, легко и осторожно, будто не хотели мять и калечить травы. Но эта легкость была от их любви. Они почти не разговаривали, только смотрели друг на друга.

В одну из таких встреч, когда они так же молча и влюбленно несколько раз обошли вокруг меня, Ильгам вдруг без обычной просьбы Гульзухры достал из футляра свой курай и заиграл какую-то совершенно неведомую мне, но полную волшебной грусти мелодию. Это была песнь любви, сочиненная Ильгамом. Я это поняла по их глазам, по рукам девушки, которые потянулись к возлюбленному, казалось, еще мгновение — и влюбленные перешагнут невидимую глазом грань, рухнут друг другу в объятия. Но вдруг музыка оборвалась, замерла, Гульзухра как-то отпрянула, потупилась, жар не сходил с ее прекрасного лица, а Ильгам с мольбой сказал:

— Гульзухра, полежи на моих коленях, я хочу погладить твои длинные черные волосы, твой высокий чистый лоб.

Не сказав ни единого слова, девушка положила голову на его колени и широко открытыми агатовыми глазами уставилась сквозь шатер моих веток в далекое ясное небо. Ильгам тихонько гладил и гладил ее по лбу, волосам, и они струились сквозь его пальцы, а на лице парня светилась такая радость, такое искреннее счастье, что верилось: он нашел то, ради чего родился. И в глазах девушки я увидела то, чего не видела за

всю свою долгую жизнь — искорки бесконечной любви и преданности. Почувствовал это Ильгам, перестав гладить и перебирать ее волосы, чуточку посидел, глядя в ее бездонные глаза, потом приподнял голову девушки и поцеловал в чистые алые, словно ягода костяника, губы. Гульзухра, обняв его за плечи, прижалась к нему, потом пришла в себя, села, глядя затуманенными глазами на Ильгама. Вдруг она обняла его за шею, прильнула к его щеке долгим поцелуем и, наверное, испугавшись своей смелости, вскочила и молча побежала в сторону деревни.

Ильгам, оглушенный, долго сидел не шевелясь, потом вдруг вскочил, пробежался возле меня, крича: «Лю-б-лю!» Он прыгал, не находя себе места, кружась вокруг ствола и радостно шелкая своим длинным кнутом, и вдруг, словно сумасшедший, начал плясать какой-то немыслимый, никогда мной не виданный, бешеный танец. Потом забрался вот на этот дом-камень, с которого его отец последний раз, посмотрев на этот мир, бросился в пропасть, и начал играть на курае новую вдохновенную, пронявшую мою душу песнь. Наверное, родилась она как раз в эти счастливые мгновения, когда осознал он, что любит и любим, потому и песня получилась радостная, веселившая и горячившая сердце... Позже, при новых встречах с Гульзухрой, Ильгам, к ее радости, всегда играл эту изумительную песню...

Наверное, работы для Ильгама у Лапшина было не так-то много, потому что видела я, как иными днями бродил он по лесу, плутал по берегам Нуруша, закинув за плечи оставшееся от дедушки кремневое ружье, заткнув за кушак топор. Я никогда не слышала и не видела, чтобы он стрелял по пичугам или ударял топором по дереву. Как его отец, Ильгам любил лес, знал цену земли

и воды. Верно говорят, что всосанное с молоком матери, вошедшее с кровью отца в тысячу раз сильнее, чем обретенное опытом.

Обычно, возвращаясь домой, он отдыхал подле меня на своем любимом месте, наигрывая иногда то грустные, то радостные мелодии. Однажды, уже под вечер, он пришел ко мне. Охотничьим ножом осторожно снял омертвевшую кору, стараясь не задеть мое твердое живое тело, и вырезал две меты. Одна была метой его рода, другая — рода Гульзухры. Мне совсем не было больно, а лишь радостно оттого, что я стала вечной свидетельницей большой, чистой, неразрывной любви. Вот тогда-то и поклялась я себе, что доколе буду жить, стану рассказывать о ней всем поколениям детей человеческих.

Как-то раз (это, кажется, случилось три дня спустя после того, как Ильгам оставил на мне свои метки) сын старшины Уелдана от первой жены — Шакир бродил здесь неподалеку по лесу, отыскивая потерявшихся коней. Устав, он остановился под моей кроной, вытер малахаем вспотевший лоб, и вдруг увидел эти самые метки. Лицо его исказила болезненная и брезгливая гримаса, он выхватил из ножен свой большой нож и стал яростно соскабливать Ильгамовы знаки. Но, видя, что ножом тут ничего не сделать, бросил его и взялся за топор, который был заткнут у него за поясом. Думая, что злодей решил погубить меня, я вся сжалась, зашевелила ветвями, словно хотела отделиться от земли и взлететь в небо. Да ведь не пускали корни. Мне казалось, что мир и солнце померкли, что пришел мой последний час, боль и жалость к себе исторгли из меня деревянный крик, когда в тело мое, разбрызгивая мою кровь, вонзилось лезвие тяжелого топора. Шакир взмахнул второй раз, но так и

застыл с поднятым топором, врасплох застигнутый зычным криком:

— Стой! Что ты делаешь?!

Шакир обернулся, ничего не понимая, и в это время к нему подбежал Ильгам, вырвал топор, кинул в сторону.

— Кто тебе разрешил рубить это дерево?

Шакир пришел в себя и, глядя на бывшего работника, издевательски засмеялся.

— А что, может, у тебя спрашивать надо? — потом, покраснев от злости, надулся, зашипел: — Как ты смел рядом с тамгой моего рода вырезать метку своих нищих родичей? — Шакир, сжав кулаки, шагнул к Ильгаму, Ильгам был на три-четыре года моложе его, и все же рядом с худощавым Шакиром он был словно дуб против осины. Ильгам даже не взглянул на его кулаки.

— Придержи язык! Что написал, то и написал. Твоего разрешения тут не требуется, пес шелудивый.

— Не требуется? Посмотрим! Проваливай отсюда. А это я все равно выскоблю, вырублю.

— Попробуй только! Здесь твоего леса нет.

— Твой он, что ли? Может, купил за свои вши?

— Лес — Лапшина.

— Лапшина! А ты, выходит, его верный цепной пес? Ха-ха-ха! — и, запрокинув голову, подбоченившись, Шакир залился противным смехом.

Ильгам не выдержал. С яростью он ударил широкой ладонью по хохочущему рту Шакира так, что брызнула кровь, а байский сын полетел вверх тормашками. Ильгам склонился над ним:

— Еще хочешь? Ну тогда посмейся еще.

Шакир поднялся, покачиваясь и вытирая рукавом окровавленный рот, попятился назад, но все еще храбрился:

— За это... знаешь... я тебя так отделаю, что тебя родные не узнают.

— Давай, давай, беги отсюда скорее! — и когда Ильгам, сжав кулаки, шагнул к нему, лицо Шакира побледнело. Он попятился еще быстрее, зацепился за какое-то корневище, упал, вскочил и, петляя как заяц, опрометью кинулся прочь. Ильгам грозил вслед ему кулаком, крича:

— Еще раз ударишь топором по этой сосне — не хватит тебе времени вспомнить своего деда Кутлугужу!..

Я больше обрадовалась тому, что в этой схватке Ильгам победил своего врага, нежели тому, что он меня спас. «Значит,—подумала я,—в нем льется кровь Тулкусуры, живет его дух. Есть в нем мощь, чтоб продолжить начатое отцом святое дело».

Шакир больше не поднимал на меня топора, зажила моя рана, но открылась никогда не заживающая страшная рана в сердце Ильгама. Я видела, как вскоре после этой стычки прекрасную четырнадцатилетнюю Гульзухру по дороге, что по ту сторону реки в долине, увез третьей женой в свою деревню Хажи — тамошний мулла. Вырвала бы я корни свои, легла бы на этой дороге непроходимой преградой, да не было моей мочи.

Вечером ко мне пришел Ильгам. Плечи его были опущены, глаза грустны. Долго стоял он, тяжело вздыхая и поглаживая пальцами свои метки, потом сел на корточки подо мной, достал из футляра свой курай. Начал было играть, но из курая не песня полилась, даже не грустная мелодия, а какие-то жалобные, всхлипывающие стоны. Не знала я, как уменьшить горе моего друга, какой дать ему совет. Хотелось только крикнуть ему: «Не поддавайся унынию, друг мой! Готовься к беспощадной борьбе с теми, кто украл твое счастье. Отомстить за покойного отца — не

твой ли святой долг!» Всю эту ночь провел без сна Ильгам подо мною...

А через два дня я была свидетельницей другой трагедии, потрясшей меня до корней.

Ранним утром, когда верхушки деревьев позолотила заря, когда проснулись и начали петь птицы, ко мне подошла, качаясь, босая девушка с распущенными волосами, в разорванном платье. Она упала ничком, обхватила голову руками и долго лежала, содрогаясь от рыданий. Потом села и, всхлипывая, запричитала:

— Единственный мой, любимый! Нас разлучили с тобою, надсмеялись надо мной и над моей честью! Как могу я теперь жить в этом мире?

Гульзухра, это была она, приговаривая так, машинально расплетала косы, высвобождая шелковую ленту, оборвала с нее монисты и завязала петлю. Она встала, подтянувшись на цыпочках, привязала ленту на самую мою нижнюю ветку. Поняв, что хочет сделать девушка, которая только недавно пьянела от своей первой чистой любви, которая и родилась-то на свет, чтобы радовать людей своей красотой, умом, добротою, я затаила дыхание. Я знала, что только Ильгам может спасти ее, но как я могла дозваться молодого батыра! И тогда я напрягла все свои силы, мне захотелось поднять свои ветки повыше, чтобы девушка не дотянулась до петли, и — о чудо! — наверное, мне это удалось, потому что оставшиеся на ленте две-три монисты вдруг зазвенели и Гульзухра отдернула руку от петли. Так стояла она, смотрела на долину Нуруша, вершины синих гор, маячивших за нею. О чем думала она в эти мгновения? И не знаю, как все-таки поступила бы она в конце концов, но неожиданно взгляд ее пал на те две заветные метки, что вырезал на моем стволе Ильгам. Девушка

прижалась к ним заплаканной щекою, оросила их слезами и, постояв так немного, резко оттолкнулась от меня, побежала, не оглядываясь, вниз...

После этого я долгие годы не видела ее и ничего не знала о ее судьбе...

А вечером пришел ко мне Ильгам. Он увидел ленту, завязанную петлею, медленно покачивающуюся на ветру, и остановился, как вкопанный. Потом, не сводя глаз с шелковой ленты, медленно подошел, развязал ее, прижимая к груди, прошептал: «Цветок ты мой... Гульзухра ты моя». Он заходил вокруг меня, приглядываясь к земле и травам, видимо, желая определить по следам, в какую сторону ушла возлюбленная, и, кажется, определил, потому что скоро пошел от меня прочь быстрым шагом, так же не поднимая головы.

Во время германской войны поубавилось людей в наших местах. Все чаще я видела калек, пришедших с фронта, все чаще слышала пронзительные вопли женщин, получивших известия о смерти мужей, сыновей, братьев.

Но трагедия людей — это всегда и трагедия природы: некому пахать землю, и она зарастает чертополохом, некому косить травы, и они гниют на корню в осеннее ненастье, некому разделять на дрова сухие валежины, и женщины, дети рубят молодые, только еще набирающие силу, деревца. С людской бедой грянула беда и на наши зеленые головы. Роман Лапшин, который наживался на поставках леса, на этот раз из-за нехватки работников решил сделать то, на что не отваживался раньше: вырубить лес по берегам Нуруша и на этой горе, чтобы легче было его сплавить по воде. Люди понимали, чем это грозит: обмелеет река, облысеет гребень Тулькусурь, в долину ворвутся холодные горные ветры.

Но что они могли поделывать? Только вздыхали, проклинали про себя богача, но деревья валили. Больно было смотреть, как со стоном падали поверженные пилами и топорами мои близкие и дальние родичи, как смерть затягивает петлю вокруг меня. И вот подошла моя очередь. Два мрачных колченогих старика обошли вокруг меня, прикинули, в какую сторону удобнее валить, взялись за топоры. Провалиться бы мне или улететь бы со всей своей кроной в безоблачный небесный простор, только бы не дать топору коснуться моего тела! Но мы, деревья, бессильны перед людьми и только надеемся на их доброту. В глазах же деловитых колченогих мужиков я не видела ни сострадания, ни ненависти. В них была деловитость, людям хотелось есть, а ради желудка человек что только не сделает!

Один из них поплевал на руки, цепко ухватил топор и с выдохом вонзил его в мой комель. Брызнули в стороны моя кожа, моя кровь-смола, и всю меня от комля до макушки пронзила страшная боль. Мне хотелось крикнуть: «Люди! Хотя бы память Гульзухры остановила вас! Не троньте меня, и я не забуду вас. Я буду щедро разбрасывать вокруг себя семена, и на месте этих угрюмых пней опять зашумит прекрасный лес. А сгубите, ничего этого не будет». Но кричать я не умею, да и не убедили бы их мои мольбы. И снова спас меня Ильгам.

— Не трогайте эту сосну! — услышала я его строгий окрик, потом увидела и его, невесть откуда взявшегося.

Лесорубы недоуменно уставились на моего защитника.

— Почему одна она должна здесь торчать?

Ильгам, будто желая защитить меня своим телом, спиной прижался к моему стволу.

— Так надо. Будь моя воля, я бы не позволил срубить ни одного дерева в долине Нуруша.

— Будь твоя воля, будь твоя воля, — заворачивали рубщики. — А она не твоя, а Лапшина.

— И наша скоро будет!

— Когда? Когда в море рак свистнет?

— Не смейтесь, односельчане, — горячо заговорил Ильгам. — Разве вы не видите, что происходит в мире? Люди устали от неправды, войны и голода. Скоро таким, как Лапшин, придет конец, вот он и спешит побольше хапнуть. Гляньте на склоны гор, они голые, будто их корова облизала языком. Если мы сами не будем болеть душой о красоте нашей земли, то боярину она и подавно не нужна.

— Правильно говоришь, Ильгам, — загалдели рубщики, — но только что может дать одно дерево?

— Да хотя бы семена. Ведь эта сосна сколько шишек за год приносит! Если рассеются они здесь вокруг...

Лесорубы захохотали.

— Думаешь новый лес вырастить? Лес, дорогой, надо садить, выращивать. Ну-ка, отойди.

Но Ильгам сел подо мною и твердо сказал:

— Коли так, пилите меня вместе с сосной, никуда я не уйду.

Лесорубы удивились, а Ильгам, глядя на них, с мольбой попросил:

— Агай¹, не трогайте ее, хотя бы ради памяти Тулькусурь.

Рубщики приосанились, вспомнив, чье имя носит эта скала, сказали твердо:

— Ради памяти покойного батыра Тулькусурь — пусть растет.

¹ Агай — дядя (башк.).

Когда в один из приездов приказчик боярина выпучил на меня глаза: «А это что такое? Срубить!» — Ильгам ответил: «Народ решил оставить ее на семена». В вихревом семнадцатом году, когда уже не было царя, а народ вооружился и готовил новую революцию, слова этого «народ» такие, как Лапшин и его подручные, боялись, потому и не посмели меня тронуть.

Вот так я спаслась и от второй своей смерти. Лесорубы лишь сильно поранили комель, оттого и стала сохнуть моя крона. Но соки земли излечили меня, и снова я зазеленела, снова щедро сбрасывала вокруг себя полные семян шишки.

А люди прогнали Лапшиных, властвовавших в здешних местах почти полвека, со злости сожгли их усадьбы, а пепел развеяли по ветру. На моих глазах летом восемнадцатого года семнадцатилетний Ильгам, опоясавшись саблей, сел на коня и примкнул к красным батырам. Он шел мстить за свое сиротство, за поруганную любовь, за Тулькусуру и Гульзухру...

В двадцатом году подошла ко мне молодая женщина, обняла меня, прижалась головою с коротко стриженными волосами к моему стволу, прошептала:

— Сосна моя, сестра моя. Давно ты стоишь, высоко ты глядишь и все видишь, и все знаешь. Был бы голос у тебя, сказала бы ты мне, где любимый мой Ильгам, полетела бы я к нему птицей.

Я обомлела. Гульзухра! Это была она! Значит, победила все-таки жажда жизни, надежда встретиться и навсегда соединить свою судьбу с Ильгамом!

Из ее теперешней жизни я узнала, что она отказалась от отца Уелдана, вступила в коммуны. Осенью она собирала мои шишки со своими под-

ругами по коммуне и рассеивала по округе семена в надежде, что дадут они новые всходы. Иногда она, прислонившись к моему стволу или поднявшись на дом-камень, часами стояла, уставившись вдаль. Понимала я — тоскует по Ильгаму, а где он — не ведает, да и я не знала...

Как-то раз (было это в годовщину их признания в любви) собрала она самые красивые цветы, сплела из них длинную гирлянду и обвила ее вокруг моего ствола. Сама стала под теми двумя ветками, ниже которых были вырезаны заветные меты Ильгама. И столько было теплой грусти, тихой радости на прекрасном лице Гульзухры, что я залюбовалась ею. Но тут же вздрогнула: сжав рот и выпучив глаза, к ней приближался Шакир. Он остановился в двух шагах от сестры, лицо его исказилось гримасой.

— Все еще не забываешь своего красного кобеля, сука?! — брызнул он ей в лицо слюною.

Гульзухра оперлась о меня лопатками, скрестила на груди руки и вонзила в него стрелы своих глаз. В эту минуту невозможно было поверить, что они дети одного отца: с такой ненавистью глядели друг на друга.

— Какое твое дело!

— Ах, ты еще смеешь разговаривать! — Шакир бросился на Гульзухру.

Не сразу он справился с нею, но, разъяренный ее своеволием и сопротивлением, Шакир, возможно не помня себя, до хруста сдавил ей горло...

Три дня и три ночи я в черной печали закрывала своими ветками от солнца тело моей Гульзухры. Нашли и похоронили ее на четвертый день. Может, и догадывались, кто убийца, только лишь я его знала точно, но, безголосая, не могла назвать людям имя Шакира.

Спустя три года после этой трагедии в родные края неожиданно возвратился изменившийся до неузнаваемости, возмужавший Ильгам. Не переодевшись, не стряхнув дорожную пыль, пришел он в командирской одежде, хромовых сапогах и с маузером на боку ко мне. Остановился подо мною. Обнял руками меня и прошептал: «Сосна моя, сестра моя... Рассказала бы ты мне о последних минутах моей Гульзухры. Погубили цветок мой, отняли мою Гульзухру. Ах, если бы сумела она дожидаться меня, как хорошо бы мы зажили...» .

Стояла сухая осень. Деревья роняли последние желтые листья, мертвые травы устлали землю. Ильгам вырвал сухой тростник, торчавший неподалеку в стороне, вырезал курай, стал на дом-камень, посмотрел вокруг себя и заиграл мелодию, которую я вечно не забуду. Это была песня, что, пробив его сердце, вышла наружу, после того, как он первый раз поцеловал Гульзухру...

Прошло немного времени, и Советская власть поставила Ильгама главным человеком над всеми окрестными лесами. Главный лесничий (так теперь называлась должность Ильгама) сразу же начал претворять в жизнь свои мечты. Он решил озеленить горы: склоны, распадки, долины, ибо хищник Лапшин после себя оставил здесь пустыню. Семена, посеянные Гульзухрой, взошли, но в двадцать первом суховежном году погибли. Остались живы лишь те, что сумели спрятаться в тени моей кроны. Но скольких я могла собою укрыть от жары, града, холодных горных ветров, бурных весенних потоков?

Ильгам все начал сначала. Он и еще два лесника заготовили шишки, вышелушили семена, прорастили их и посеяли в заготовленные в лесном дерне ячейки, засыпав их песком с золой, что

натаскали они сюда из долины Нуруша. Через два-три года в этих ячейках подняли свои головки зеленые-презеленые сосенки. Если бы ты знал, Человек, как я радовалась и веселилась в ту пору! Ведь вокруг меня вновь поднимался могучий лес, и я была не одинока! Ильгам возвратил красу родной земле и лишь сам оставался без близкого друга. Люди могут вырастить лес, но, увы, не могут воскресить подобных себе, способных делить с ними и радость и горе.

Однажды (уже в который раз!) я была свидетелем ужасного дела. Вечером ко мне подобрался заросший грязно-серой бородой, оборванный человек с обрезом и топором за кушаком. Видно, долго шел он сюда, потому что подошвы его сбитых сапог были подвязаны лыком. Человек беспокойно озирался вокруг, потом с ненавистью ударил кулаком по меткам Ильгама, и я узнала в нем Шакира! Их вместе с отцом, Уелданом-старшиной, раскулачили и выслали из деревни. Он бросил пристальный взгляд на могилу Гульзухры (ее похоронили здесь, на гребне Тулькусур, так как старики распространили слух, что она самоубийца, и не разрешили хоронить ее на деревенском кладбище), и я подумала было, что Шакир пришел на могилу сестры замолить свои грехи. В тот день как раз исполнилось десять лет со дня гибели Гульзухры. Не мог не помнить об этом Шакир, не мог он и не знать, что Ильгам придет поклониться праху своей любимой, хотя бы в этот день камни стали падать с неба.

Мы одновременно слышали шаги лесничего. Шакир юркнул за мой ствол, вскинул вздрагивающей рукой обрез. Я поняла, что сын Уелдана сбежал, чтобы отомстить Ильгаму, теперешнему хозяину этой земли. Я, как всегда, хотела крикнуть, хотела предупредить Ильгама: «Человек мой!

Большого сердца Человек, отстоявший жизнь мою, возродивший мою надежду! Не могу я, безголосая, ничем помочь тебе, но остановись, отряхни свои глубокие невеселые думы, глянь — в тебя целится предательский обрез!»

Выстрел потряс мои ветви и ствол. Ильгам, схватившись за грудь, упал навзничь. Обрадованный Шакир не стал больше стрелять в лежащего, выхватил из-за пояса топор и с неистовой злобой начал рубить мой комель. Тут я решила, что пришло время прощаться с жизнью, как вдруг увидела, что окровавленный Ильгам вскочил и бросился на Шакира, словно раненый лев. Схватка была короткой. Через несколько мгновений Шакир рухнул, истекая кровью. Его голова была пробита его же топором. Помню, давным-давно так же сошлись твой дед Тулькусура с дедом Шакира Кутлугужой. Словно и не прекращалась та война...

Из плеча Ильгама сочилась кровь, лицо его тоже было в крови, он покачивался от слабости, но все-таки возвратился к тому месту, где его подкосил выстрел врага, взял оброненный курай, возвратился ко мне и заиграл было ту самую песню, сложенную после поцелуя Гульзухры. Но силы покинули его. Скользнув по стволу, он сел на мои корни, пощупал слабеющей рукой глубокую рану, нанесенную мне Шакиром, и, успев лишь прошептать: «Ничего, залечим», — потерял сознание. Как передать потрясение, испытанное мной? Даже в такие минуты он думал не о себе, а о других, я же не могла помочь ему ничем, хотя мне хотелось кричать на весь мир: «Он умирает из-за меня! Я сосна — Ильгама!»

На мое счастье, в долине показался всадник. Это была девушка. Она, видимо, слышала стоны Ильгама, сильно испугалась сначала, а потом,

увидев человека, истекающего кровью, прыгнула с коня и подбежала к нему. Оторвав лоскут от своей рубашки, она перетянула ему на плече рану, потом сбегала к роднику, смочила свой платок, омыла его лицо... Через некоторое время Ильгам открыл глаза, посмотрел на девушку, сидящую на корточках, и спросил:

— Ты кто?

— Я — Разия, Ильгам-агай...

Знаешь ли ты, Человек мой, кем оказалась та, что назвалась Разией? Это была твоя будущая мать! Если бы не она, может, истек бы Ильгам кровью, не появился бы ты на свет. Помнишь ли ты рану на плече отца и метку на левой щеке его, ведь ты был еще совсем маленьким, когда его не стало?

Вот так устроен мир, дитя Человека! Что только не свершалось рядом со мной, чему я только не была свидетелем! А напоминаю тебе об этом, чтобы ты никогда не забывал своих предков. Ибо думая о будущем, всегда помни прошлое. И оставшуюся жизнь мою я буду видеть и запоминать все ваши дела, сравнивая их с делами ваших предков, чтобы рассказать о вас потомкам. Так было и так будет.

...У Человека, слушавшего голос истории, закружилась голова. Он еще раз бросил взгляд на сосну, на ее ветви, которые, казалось, намотали на себя вереницы лет и воспоминаний, и тронулся с места. Он не был готов сегодня ответить на вопрос, заданный старой бортью, потому что дело, которое он затеял, только-только начиналось и требовало твердости духа. Но впечатления дня разбудили в нем такое множество мыслей, придали такую силу, так обновили душу, что из лесу он возвращался бодрым и уверенным в себе...

Часть первая

I

Стоявший у борти был Гильман Тулькусурин, лесничий Каратау. Выстрел, неожиданно прозвучавший здесь, во время запрета на всякую охоту, удивил и насторожил его. Мощная фигура Гильмана так и застыла, густые брови на загорелом красивом лице прыгнули вверх и тоже застыли, отчего лицо лесничего приняло немного комичное выражение. Но Гильману было не до улыбок. Направляясь с обходом, он сказал в лесничестве, что возвратится к обеду, но вот замешкался у этой памятной сосны, слушая ее голос, и солнце уже перевалило за полдень и надо было спешить в контору. Выстрел смешал его мысли, нарушил планы. Теперь нечего было и думать о немедленном возвращении домой. Что стрелял браконьер, Гильман не сомневался: у кого еще поднимется рука, а вернее, ружье на живность в ту пору, когда она выводит потомство...

Лесничий потянул воздух своим крупным, с широкими крыльями носом, и ему показалось,

что с наветренной стороны пахнуло пороховой гарью. Значит, браконьер был неподалеку. Пригнувшись, Тулькусурин быстро, почти бесшумно бросился сквозь кустарники и густую траву. Не успел он пройти и сотни метров, как увидел притаившегося под стволом толстой сосны человека. Человек сидел на корточках, сжимая левой рукой горлышко тощего глухаря, правой рукой ложе двустволки.

Услышав шаги Гильмана, человек непроизвольно вскинул голову, так что свалилась шляпа, и лесничий встретился с его настороженными, желтыми, как у рыси, глазками. «Мурзабай! — узнал его Гильман. — Охотник леспромхоза... Личность пренеприятнейшая!» Узнал его и охотник, оскалил редкие прокуренные зубы, прохрипел:

— Выследил, начальник?

— А ты думал, лес все спрячет? — Лесничий выбросил руку. — Дай сюда ружье!

Мурзабай проворно вскочил, вскинул двустволку.

— Не подходи! А то душу твою в ад отправлю!

Гильман видел его перекошенное лицо, выкатившиеся из орбит желтые глазки, два угрюмых черных зрачка на уровне своей груди. Тревожная мысль ворохнула сердце: «Еще выстрелит сдуру...» А Мурзабай, приняв колебание лесничего за растерянность, ощерился:

— Тебе этого паршивого глухаря жалко или свою голову? Вот и уноси ее. Считай, что мы не встречались...

В груди у Гильмана все вскипело. Угрожает... А у самого руки дрожат и щека в тике дергается... Такой не выстрелит, трус.

— Брось ружье, — как можно тверже и спокойнее сказал он. — Убить ты меня не убьешь, — у тебя же в патронах птичья дробь, а вот тюрьму заработаешь.

Глазки Мурзабая забегали, он шмыгнул носом и хотя взвизгнул: «Не подходи! Выстрелю!» — стволы опустил. Гильман одним прыжком оказался рядом, рванул ружье и, не удержавшись от ярости, ударил ложей по стволу сосны. Мурзабай, думая, что лесничий замахнулся на него, испуганно схватившись за голову, зайцем скакнул в сторону, заверещал. Но, когда Гильман забросил разбитое ружье далеко в кусты, пришел в себя, закричал, брызгая слюной:

— Ты ответишь за это! Ответишь!

— И ты ответишь, браконьер.

— У тебя нет свидетелей, что я стрелял... А ты, ты... — Мурзабай упал на колени, трясущимися руками стал выпутывать из травы осколки приклада и все совал Гильману щепки. — Вот! Вот! Такое ружье разбил, подлец. Я и стволы найду. Я его в комиссионном покупал. «Бельгийка»! Тысяча рублей! Ответишь.

— Ладно. Отвечу. Но, пока я здесь работаю, Мурзабай, ноги твоей больше в лесу не будет!

Гильман круто повернулся и зашагал в сторону деревни, не видя, как браконьер нашел в траве шляпу, надвинул ее на плешистую голову, не слыша, как он злобно прошипел:

— Посмотрим... Посмотрим. А ты, Тулькусурин, помни!

И погрозил грязным кулаком.

II

Владения Каратауского лесничества обширны и богаты. Начинаются они с лесостепных бе-

регов Агидели¹ и тянутся на северо-восток к Уральским горам. Когда-то здесь водилось много пернатой дичи, особенно рябчиков и глухарей, чернобурых и рыжих лисиц, зайцев... Брали здесь и соболя и куницу... По весне леса оглашались трубными звуками изюбрей, вызывающих соперников на бой... Да!.. Было... Было... Но и сейчас леса не пусты. Есть и лоси, и зайцы, и лисы, и те же глухари, и кабаны, конечно, не в том количестве, как раньше, однако эти леса по-прежнему привлекали браконьеров, которых за последние десять — пятнадцать лет развелось больше, чем зверей. Численность живности катастрофически сократилась и по вине научно-технического прогресса, и из-за бездумных вырубок наиболее ценных сортов и пород леса, и по вине таких вот, как этот Мурзабай. И непонятно было Гильману, зачем понадобился сытому браконьеру этот несчастный худющий глухарь, вернее даже глухарка, курочка, которая день и ночь хлопотала о своем голодном выводке. Кто теперь о нем позаботится? Мурзабай?.. Гильман невесело усмехнулся. Такие, как Мурзабай, небось, и выводок-то передуют. Но зачем? К чему эта бессмысленная жестокость? Ни продать эту отощавшую за весну птицу, ни самому съесть... Неужели у людей, как когда-то сказал один модный поэт: «Страсть к убийству, как страсть к зачатию»?.. ...Но почему этой страсти нет у меня, у другого, третьего?

Так думал Гильман Тулькусурин, подходя к своей конторе. Большое бревенчатое здание, покрытое оцинкованным железом и огороженное штакетником, стояло на широкой поляне среди мощных многолетних берез. До деревни Каратау рукой подать, всего какой-то километр. Непода-

¹ А г и д е л ь — река Белая.

леку от конторы расположился склад для хранения досок, на краю леса — цех распиловки бревен, а за штакетником зеленели ровные рядки «школки». Это был питомник лесничества. «Школку», то есть однолетние саженцы, выращивали из семян, а потом рассаживали на полянах и вырубках...

Холостяцкая квартира лесничего была тут же, в дальнем крыле конторы, и Гильман направился было туда переодеться, умыться. Но его остановил звонкий голос:

— Товарищ начальник, можно вас на минутку?

К лесничему торопливо шел невысокий человек в черном комбинезоне и малиновом берете. Что-то странное показалось Гильману во всем облике этого человека, а когда тот подошел ближе, лесничий вздрогнул: женщина! И симпатичная! Смотрит, чуть щуря серые в крапинку глаза, улыбается насмешливо и протягивает маленькую ладошку.

— Здравствуйте, товарищ лесничий. Я шофер промкомбината Козина.

Гильман, ощущая ее теплое крепкое рукопожатие, что-то смущенно пробормотал, а она, освободив руку, продолжала:

— Где это вы изволите пропадать? Или у вас порядок такой: выдерживать посетителей и просителей по несколько часов в приемной?

Гильман еще не отошел от стычки с Мурзабаем, от своих дум, и насмешливый тон девушки-шофера покоробил его. Он сухо осведомился:

— По какому делу приехали?

Козина то ли не заметила этой сухости, то ли сделала вид, что не заметила, и продолжала улыбаться. Сунув руки в карманы комбинезона и пнув ногой камешек, она пожала плечами:

— Зачем все к вам приезжают? За доской. Только у вас очень упрямый бухгалтер. Говорит, не поступало от комбината на ваш счет денег, и накладные запретил выписывать. — Она вдруг нахмурилась, капризно скривила губки. — Формалист!

— Он прав, — твердо сказал Тулькусурин. — И вы это прекрасно понимаете.

— Понимаю. Но и вы нас поймите: мы ваши постоянные партнеры, деньги все равно перечислим. Да и виновата ли я, водитель, что по вине какого-то нашего головотяпа гнала машину сюда за пятьдесят километров по нашим-то дорогам, теперь обратно те же пятьдесят километров и — порожняком?

Гильман залюбовался раскрасневшимся лицом девушки, сказал как можно мягче:

— Вас я нисколько не виню. Вам я сочувствую. Но надо же когда-то наводить порядок! Сколько было случаев, когда вот так на слово поверишь, отпустишь, а потом свои же деньги ходишь выклянчиваешь. Получается как в той пословице: «Что отдал руками, заполучи ногами».

Козина даже топнула ножкой, обутой в кед.

-- Но гонять туда-сюда пустую машину я не буду! Разрешите по вашему телефону позвонить директору лесхоза.

Гильман пожал плечами.

— Пожалуйста. Только он вам скажет то же, что и я.

Девушка как-то странно на него посмотрела, улыбнулась.

Соединили ее быстро. Лукаво поглядывая на лесничего, она звонко прокричала:

— Петр Максимович? Я звоню из Каратауского лесничества. Приехала за доской, а ее не отпускают... Говорят, деньги не перечислили.

Что? — девушка умолкла, и до Гильмана доносился лишь искаженный расстоянием и помехами рокочущий бас директора. Вдруг он увидел, как девушка покраснела, и ему даже показалось, что в глазах ее блеснули слезы. — Какая я тебе Ниночка? Я дома Ниночка, а сейчас я шофер промкомбината Козина Нина Петровна!..

Гильман вздрогнул. Как же он сразу не догадался! Козина Нина Петровна! Да это же...

— Папа! — подтвердила его догадку Козина. — Тьфу! Сбил ты меня! Петр Максимович, вы знаете меня. Хоть пять дней тут буду жить, хоть неделю, а без груза не уеду.

Она швырнула трубку и, не глядя на лесничего, выскочила из комнаты.

Так вот она какая, Нина Козина, дочь директора лесхоза! Тулькусурин и раньше слышал о ее экстравагантности, но что она работает водителем!.. Фамилию, занятый своими мыслями, он как-то пропустил мимо ушей, и если бы не этот телефонный разговор...

Аппарат зазвонил. В трубке рокотал бас директора:

— Видал, Гильман Ильгамович, какая у меня дочь? Кипяток! Ты там выкрутись как-нибудь, а то она меня дома ошпарит.

— Я позвоню в банк, Петр Максимович, и, если перечисление просто задержалось, отпущу. Если же нет... — Гильман вздохнул.

Вздохнул и Козин, буркнул:

— Действуйте, — и добавил: — Э-э... по обстановке.

В банк Тулькусурину дозвониться не удалось, но бухгалтер сказал, что вообще-то деньги перечислены, но где-то задержались документы, а без них...

— Отпустите, — попросил Гильман и, видя, что бухгалтер готова разразиться тирадой о финансовой дисциплине, добавил: — Это дочь Козина, нашего директора.

Он вышел наружу, оставив бухгалтера с раскрытым от изумления ртом. Козина стояла, прислонившись к столбу ворот и засунув руки в карманы. Ее берет был решительно надвинут на самые брови.

— Ниночка, — мягко начал он.

— Какая я вам Ниночка! — взорвалась девушка. — Я шофер Козина!

Гильман прикусил губу. Нет, не умел он разговаривать с людьми, особенно с девушками. Не научился этому ни за пять лет учебы в лесотехнической академии, ни за два года работы в министерстве. Да и здесь работает уже почти год, а до сих пор людей сторонится... Может, недаром дед Бикмурат, бывало, говаривал: «Молчуном уродился, молчуном и помрешь». Гильман чувствовал, что эта симпатичная, решительная девушка нравится ему, но слов, способных сгладить его, как он решил, канцелярский разговор в начале встречи, не находил.

— Хорошо, товарищ Козина... Идите в бухгалтерию, вам все выпишут.

Глаза девушки блеснули, она оттолкнулась от столба:

— Был бы на моем месте мужик, небось распили бы с ним бутылку, и никаких звонков к директору не потребовалось бы...

Тулькусурина уязвили эти слова, но он только буркнул:

— Я не пью.

Девушка прыснула и быстро поднялась в контору. Гильман хотел пойти к себе, но что-то удерживало его, и он, успокаивая себя тем, что хочет

помочь девушке выбрать и погрузить доску, поплелся на лесопилку.

...Он машинально брал сразу по несколько «сороковок», совал их в кузов. Нина — ладошки в карманы комбинезона — долго наблюдала за ним, наконец сказала:

— А вам, товарищ лесничий, очень идет эта работа. Зря вы протираете штаны в конторе.

Гильман покраснел, хотел бросить грузить, но глянув в лицо Козиной, на котором не было теперь и следов язвительности, а лишь блуждала лукавая улыбка, сказал:

— В конторе я почти не бываю, а работа мне идет всякая.

...Когда Гильман затягивал тросом штабель досок, он нечаянно коснулся локтем бока девушки. Извинился... Козина, будто бы ушибленная, деланно поморщилась:

— Товарищ лесничий, забудем ссору, не будем толкаться.

— Простите, я нечаянно, — еще сильнее смешался Тулькусурин. И промямлил: — Вам надо бы перекусить на дорогу.

— Не умру, — заверила Козина. — Мы, женщины, выносливее вас, мужчин. Да и скоро стемнеет. Торопиться надо. Так что до новой встречи, товарищ лесничий.

Она крепко и горячо пожала внезапно повлажневшую ладонь Гильмана и легко вскочила на подножку...

Сначала он бесцельно бродил по захламленному лесными отходами двору, то и дело натываясь на всякие обрезки, горбыль, плахи, думая о встрече с этой необыкновенной девушкой. И вдруг ему стало стыдно оттого, что и она видела весь этот двор в кучах коры, опилок, в грудах сучков, пеньков, всяких других обрезков, и подумала о нем,

Гильмане: хорош же хозяин. Он вздохнул. Действительно, хорош! Почему раньше не настоял, чтобы отходы продали как дрова, вывезли эти опилки и кору, успевшие превратиться в гнилье. Как-то он видел по телевизору интервью с директором японской фирмы, закупающей наш дальневосточный лес. «Мы имеем прибыли от вашего леса даже не 100 процентов, а 102 процента!» — с обычной улыбкой хвастался японец. И пояснил: «У нас нет ни пылинки отходов. Все опилки идут на изготовление плит, а кора измельчается и брикетируется. Это и есть те самые «лишние» два процента». А у нас? Валим новые деревья на дрова, а это добро гниет. Нет, не стал еще Гильман настоящим хозяином, не стал... Надо в ближайшее же время навести порядок здесь, на цеховом дворе. Начать с малого, а потом... Были у лесничего и другие задумки, но пока в повседневной текучке он отмахивался от них.

Придя домой, он сел на крыльцо, снял сапоги, размотал портянки. Пошевелил онемевшими сплюснутыми пальцами. Устал от ходьбы по лесу...

Разделся до пояса и с наслаждением поплескался под умывальником, а когда толкнул дверь в комнату (обычно он ее не запирает) — остановился, пораженный. Из кухни тек теплый запах, сверкали недавно вымытые полы, бренчал крышкой закипевший чайник. Он заглянул в комнату. Зубаржат! Неугомонная Зубаржат быстро протирала белоснежной тряпицей его стол. Зарделась, увидела хозяина, залепетала:

— Вы вернулись, Гильман-агай? А я шла с питомника, дай, думаю, к вам загляну... Вот прибрала чуть-чуть, печь растопила, кое-что подогреть поставила... Извините, если что не так, — и прошмыгнула мимо.

— Зубаржат! — Очнулся Гильман. — Зубаржат! Постой, говорю, — он выглянул из двери, пошарил взглядом по двору, но ее и след простыл...

«Странно, — думал Гильман, задумчиво жуя приготовленную девушкой яичницу, — что это сегодня Зубаржат вдруг проявила обо мне такую заботу?» От его взгляда не укрылись ни аккуратно расставленные на сделанной им полке книги, ни прибранная постель, ни даже горшочек с цветами хны на подоконнике: «Странно, — продолжал он размышлять. — Пожалела одинокого человека? Почему раньше не жалела?» Попив чая, он вытянулся на койке, закинув руки за голову.

Зубаржат работала бригадиром в питомнике. Гильман не раз любовался ее проворством, экономностью движений, трудолюбием. Поражала ее смекалка, прямо какое-то умение читать чужие мысли. Только Гильман подумает, что завтра не мешало бы проредить всходы сосны, а Зубаржат утром это уже делает! Или провести окулировку¹, она уже тащит ножи. Потому лесничий и назначил ее бригадиром, несмотря на девятиклассное образование и на диковатый характер. Со всеми она разговаривала резко, не терпела неумех, могла и накричать, и даже не постесняться в выражениях, за что и получила прозвище грубиян-Зубаржат, но была предана своему нелегкому делу — выращиванию саженцев, и Гильман прощал ей вспышки грубости. Да и какая это грубость, если лодыря называешь лодырем, неумеху — неумехой, а прогульщика — прогульщиком?

Была еще одна особенность у Зубаржат: и в праздники, и в будни она одевалась подчеркнуто

¹ Окулировка — один из способов прививки.

элегантно, с каким-то вызовом. Гильмана не раз удивляло, что даже после тяжелого дня, когда в питомнике приходилось до позднего вечера копать в земле, ни одна пылинка не садилась на ее смуглое широкоскулое с раскосыми карими глазами лицо. Красивой Зубаржат назвать было нельзя, но во всей ее ладной фигурке, в полном чистом лице, в ее ловких движениях была какая-то притягательная сила. Парень с удовольствием ловил на себе ее небезразличные быстрые взгляды... Нет, он по своей врожденной застенчивости не пробовал сойтись с ней ближе, даже просто поговорить не о работе, она тоже не навязывалась и вот теперь... пришла. А может, сходить вечером в деревню, в клуб? По радио объявляли, что сегодня там новый кинофильм... Конечно же, будет и Зубаржат... Поблагодарить ее, осторожно разузнать, как это она осмелилась, вошла в его квартиру...

Гильман рывком встал с койки, подошел к окну. Слабые лучи солнца, зацепившегося за верхушки Каратау, поливали желтым светом землю, отчего облака пыли, поднятые автомашинами, казались слегка коричневыми. Летом, зажатая между склонами, деревня задыхалась от пыли, так как рассыпала свои домики вдоль шумной дороги. В другое время года здесь царила тишина, благодать, но летом... Потому молодые, поженившись, спешили строиться на склоне горы, продуваемом ветрами. Там же недавно закончили и этот клуб. Нет, надо сходить, а то ведь так и одичать можно.

Гильман быстро натянул белую сорочку, повязал недавно купленный в городе галстук, причесался, глядя в зеркало. В этом наряде он выглядел непривычно. Поморщился. Не идти же, в самом деле, на люди в пропитанной потом гим-

настерке, которая на работе верою и правдою служила ему столько лет, что под мышками уже начала расползаться.

Почистив ботинки, он вышел из дома.

Зал был заполнен до отказа, но Гильману из уважения к его должности и роду, потеснившись на последней скамейке, освободили местечко.

Кино было о героизме горстки советских моряков, защищавших крохотный островок в Северном море... Все они гибнут в неравном бою, не отступив ни на шаг, а последний моряк, написав: «Я люблю свою Отчизну! Я люблю тебя, Катя!», запечатывает записку в винтовочный патрон и, окруженный фашистами, бросает себе под ноги последнюю гранату...

Одинокó брел домой Гильман (Зубаржат в клубе он не увидел), размышляя о фильме: «Вот эти моряки, как они жизнь любили, Родину, девушек своих не забывали даже в самые смертные минуты... А мы? Ценим ли мы, молодые, сейчас свою молодость? Живет ли в нас тот же дух риска, самопожертвования, неистребимое чувство к любимой? Что же с себя спрашивать, коли я сам не ведаю этого чувства? Если и понравится девушка, стесняюсь подойти: решат, пользуюсь своим положением. Да и откуда мне знать, это святое чувство, если не ведал я его с детства?»

Гильман рос круглым сиротой. Он не помнил матери, которая умерла, не успев не только дать ему имя, но даже и покормить грудью. Отец, Ильгам, вернулся с фронта в сорок втором без руки, с десятками осколков под ребрами. Узнав о смерти любимой жены Разии, не выдержал и скоро умер.

Воспитывался Гильман в детском доме. И сыт, одет, и присмотрен, но не было главного — ласки матери и руки отца. Односельчане — родственни-

ки Янтура-агай, Хакима-апа и другие, — слали ему посылки, письма, в которых заклинали не забывать деревню... Все это грело, радовало, и все же это было не то. Нет, он ни на кого не озлобился, но всегда с тяжелой завистью наблюдал на улицах, в парках, в кинотеатрах, как льнут дети к своим родителям. Он завидовал не только ласкам чужих родителей, но и их шлепкам, тумакам, выговорам расшалившимся детям... Ах, как хотелось бы этого и ему!

Потому рос Гильман не то чтобы угрюмым, а молчаливым, задумчивым и немного подозрительным. И в детдоме, в школе, а потом в Ленинградской лесотехнической академии и в студенческих строительных отрядах — летом он неизменно уезжал куда-либо на хорошие заработки — приходилось встречаться ему не только с товариществом, дружбой, бескорыстием, но и людской подлостью, злобой, хапужничеством, ложью. Поэтому он выработал себе правило никогда никому не навязываться не только в друзья, товарищи, но и просто — в знакомые. Это правило распространялось и на девушек. За пять лет студенчества в Ленинграде и два года работы в Уфе, в министерстве лесного хозяйства, Гильману встречалось немало девушек, желавших близкого знакомства с ним, но он все время ощущал, что это не то, что в их чувствах нет к нему чего-то большого, настоящего. Впрочем, и в себе этого чувства к ним Гильман не ощущал, потому старался избегать таких знакомств.

Впрочем, в Уфе ему скоро наскучила канцелярская работа, потянуло к живому делу, к природе. Вспомнились родные места, диковатые в своей величавой красоте отроги Каратау... Может, правду говорят: душа не тянет, кровь потянет... Он обратился к министру Муратову с прось-

бой отпустить его из министерства, и тот, узнав, куда он хочет ехать, понял, отпустил.

Сколько радости было у деда Бикмурата, дяди Янтуры, сестры Хакимы, когда он появился в Каратау! Все наперебой звали его жить к себе, но он поселился вот здесь, на отшибе, в конторе. Но до каких же пор можно жить так вот, обделяя одиночеством сердце? Разве не были у него, Гильмана, желания в минуты усталости, отчаянья опереться на чью-то руку, приклонить голову к чьему-то плечу? Где та рука, где то плечо? Вот сегодня руки почти незнакомой Зубаржат оживили его холостяцкую квартиру... Почему же Зубаржат не было в кино? Не заметил в густой толпе?

Так, размышляя, неторопливо шел он домой и вдруг на развилке дорог увидел в чистом свете луны девичью фигурку.

— Зубаржат? — удивился он. — Ты что здесь делаешь?

Девушка, не поднимая головы, тихо ответила:

— Вас поджидаю, Гильман.

— Что-то случилось?

— Да нет...

Гильман растерянно потоптался на месте, кашлянул:

— Ты в кино была?

Девушка промолчала.

— Что-то я тебя там не видел.

— Конечно, была бы я той русской девушкой, вы бы меня где угодно нашли.

— Постой, постой! — до Гильмана вдруг все дошло, и сердце приятно потеплело. — Ты о шофере Нине говоришь?

— О ком же! Вырядилась в комбинезон. А вы за нею весь день бегаєте!

Гильману стало весело.

— Да она по делу приезжала. Ну и пришлось поговорить, помочь.

Зубаржат помолчала, чертя что-то носком туфли на песчаной дороге. Гильман решился:

— Давай, Зубаржат, я тебя до дому провожу?

— Проводите.

Они некоторое время молча шли рядом. Мысли Гильмана путались, ясным было одно: Зубаржат увидела его с Ниной и приревновала. Но какой он ей дал повод для ревности? Да, она хорошая, славная... Сказать ей сейчас об этом? И о том, что Нина — дочь директора, не ему ровня, да и увидит ли он ее еще когда-нибудь?

Но вместо всего этого Гильман брякнул:

— Сегодня все твои на работу вышли?

Зубаржат фыркнула:

— Вы с девушками только о работе говорите? — взяла его неожиданно под руку, перешла на «ты». — У тебя, Гильман, разве нет других слов для меня? — и смело заглянула в его глаза.

От этой смелости, оттого, что она прижалась к нему бедром, по телу парня пробежала приятная дрожь, перехватило дыхание. Он выдавил, заикаясь:

— Я к-как-то не думал об этом, Зубаржат. Я т-только с-сейчас н-начинаю кое-что понимать.

Зубаржат еще плотнее прильнула к нему, потом остановилась, положила ему на плечи руки.

— Гильман, ты не обидишься, если я тебе что-то скажу?

— Нет...

— Я тебя никому не отдам. И этой русской шоферше.

— Хм...

— Неужели ты не видишь, что я все время о тебе думаю? — Она вдруг положила ему на

грудь голову. — И стараюсь ради тебя, и одеваюсь... А ты?..

От этого признания Гильман опешил совсем. Он сначала робко обнял ее, не зная, что сказать, потом, подчиняясь какому-то сладкому порыву, изо всех сил прижал ее к себе, ощущая своими горячими ладонями под тонким платьем тугое жаркое тело. Девушка, вздрагивая, прижалась к нему, губы их встретились. Поцелуй казался вечным. Но вот она оторвалась, выскользнула из объятий, шепотом попросила:

— Дальше не провожай, дом наш почти рядом.

Гильман, онемевший от ее неожиданного признания и близости, молчал, тяжело дыша. Она кокетливо погрозила ему пальчиком:

— Не забудь полить мои цветы. До завтра! — и быстро пошла к своему дому.

Гильман брел к себе, не замечая дороги, часто останавливался. Как же все это неожиданно получилось! И эти признания, и объятия, и поцелуй... Не будь Зубаржат такой дерзкой, у него бы никогда не хватило смелости начать первым. Проклятая робость! Или это оттого, что на родной земле он до сих пор не прижился, потому и не замечает многого, мало с кем общается...

У ворот его ждала еще одна неожиданность: какая-то фигура преградила ему дорогу.

— Это вы, Тулькусурин Гильман, великий лесничий? — выкрикнула, кривляясь, фигура голосом браконьера Мурзабая.

«Пьян, — понял Гильман, — пришел выяснять отношения».

— Шел бы ты спать, Мурзабай.

— А я и так уснул маленечко, дожидаячи вас, — продолжал кривляться браконьер. — При-

шел сказать, чтобы вы забыли о сегодняшнем случае.

Гильман молчал.

— Я ведь полоумный. Дурачок я! А сегодня к тому же выпивши.

— Ладно, ладно. Идите спать, Мурзабай-агай.

— О! Агай, значит? Имеешь уважение? Молодец! А такого дурака, как я, надо бы просто собакой называть. Да и то, полоумный я, глупый и злой.

Гильману надоела эта болтовня, и он шагнул к воротам, но Мурзабай снова загородил ему дорогу.

— Простите, товарищ лесничий, ненормальному человеку сегодняшние прегрешения.

— Хорошо, хорошо. Завтра поговорим.

Гильман отстранил его, вошел во двор, поднялся на крыльцо, слыша бормотания браконьера.

— Вот и молодец... Красивый парень... добрый умница. А я — дурачок, злой человек.

Лесничий запер дверь, чего раньше не делал не зажигая света, быстро разделся, лег. Надо этого Мурзабая немедленно выгнать. Разве можно таким доверять святое дело — охрану леса и его обитателей!

Он старался прогнать мысли о Мурзабае, сосредоточиться на думах о Зубаржат. Но в голове мелькали образы Нины, и Мурзабая, и Зубаржат... При расставании она что-то сказала... Что?

Он хлопнул себя по лбу, вскочил, пошлепал в коридор, зачерпнул воды. Горшочек хны стоял на подоконнике и ясно был виден в лучах луны.

Гильман осторожно полил цветы, юркнул под простыню и, будто выполнил очень важное, неотложное дело, с улыбкой быстро уснул.

Лесники, бригадиры, мастера каждое утро в восемь часов утра собирались в конторе на планерку. За пятнадцать — двадцать минут Тулькусурин узнавал от них о вчерашней работе, выслушивал просьбы, давал задание на текущий день и отпускал.

И на этот раз лесничий, проходя за свой стол и здороваясь с собравшимися, мысленно давал характеристики тем, кто был сегодня в кабинете. Хотя он и родился здесь, но поначалу многих не знал — сказывалось долгое отсутствие — да и ловил иногда чуть насмешливые взгляды односельчан-подчиненных: «Ну-ка, мальчик, покажи, на что способен, чему научили тебя в академиях».

Вот Янтура Турумтаев. Одногодок покойного отца. Скоро семьдесят, а работу бросать и не думает. Худощавый, слабый на вид, но ладони у него большие, с синеватыми жилами... Спокойный, уравновешенный человек. Знает и любит лесное дело. На такого можно положиться...

Хайри Рафиков. Заведующий лесопилкой. Этот молод, нет еще и тридцати. Непоседливый, деловитый на вид. Недаром его прозвали «огненная блоха». Любит много поговорить, весь начинен идеями. Любое указание клятвенно обещает выполнить и... забывает. Однако цех из месяца в месяц план выполняет, так что у Гильмана пока нет особых причин быть недовольным Хайри... Поговорить с ним о захламленной территории лесопилки. Небось, как всегда, пообещает навести порядок и... тут же забудет!

А вот и Мурзабай Шамов. Ему около шестидесяти, но Мурзабай еще крепок телом, довольно свеж лицом. Лохматые, повисшие над глазами

ми брови, толстые вывернутые губы, чуть кривой горбатый нос... На вид — злой и решительный человек, но после вчерашних встреч Гильман подумал, что Мурзабай скорее труслив, нежели решителен. С тех пор как в прошлом году в лесничестве организовали бригаду охотников, Мурзабай бессменно ее возглавлял. Бригада выполняла план, Мурзабаю прощали склочность и сварливость. Но теперь можно ли оставлять его в этой должности да и вообще в лесничестве?

Сын Мурзабая Гайсар. Этот, в отличие от отца, исполнитель, молчалив, словно хранит какую-то тайну, а худ настолько, что, кажется, согни его пополам, хрустнет, как молодая осинка.

Гайсар закончил десять классов и уже год работает лесником. Что за отношения у них с отцом-браконьером, непонятно.

А что Мурзабай браконьер и просто ворюга — обнаружилось еще зимою. Он не сдал несколько шкурок куницы и норки, отвез их в город и там выгодно сплавил перекупщику. Приехал домой с богатыми покупками, неделю пил, гулял, хвастая перед односельчанами, какой он ловкий и умный хозяин. В маленькой деревне все на виду и всё тайное тут же становится явным. Не удивительно, что сведения о сделке Мурзабая дошли и до лесничего.

Он вызвал охотника и стал его стыдить, но бригадир все отрицал, а когда Гильман перечислил, какие привез тот из города вещи, Мурзабай стал кричать, что все это он купил за свои деньги и, вообще, зачем привязался? Бригада охотников план выполнила, а остальное лесничего не касается. Да и никаких доказательств воровства шкурок у Гильмана нет. Мало ли что ОБС — одна баба сказала! Ты докажи, а потом позорь меня, передового охотника Мурзабая Шамова!

Все верно... Прямых доказательств у лесничего не было, а Шамов действительно ходил в передовых охотниках...

Но вчерашний случай — это ли не доказательство подлости Мурзабая, его бессмысленной жестокости? Правда, Мурзабай может заявить, что нет свидетелей вчерашнего происшествия, но какой же охотник забудет про разбитое ружье! Погорячился вчера Гильман, погорячился... Наверное, за ружье придется платить, но и терпеть больше в лесничестве Мурзабая нельзя.

Обо всем этом думал Тулькусурин, пока его помощник докладывал о сделанном и не сделанном вчера, о задачах на сегодня, а когда тот кончил, Гильман встал, поправил на гимнастерке ремень.

— Что ж, товарищи, проблемы наши не новы. Говорим мы о них почти каждый день, но мало говорить, надо делать. Некоторые наши работники стали путать свое с государственным и распоряжаются на государственных участках как на своих. — При этих словах Мурзабай спрятал рысьи глазки под лохматыми бровями и опустил голову. Но Гильман повел речь не о нем.

— Вот начальник лесопилки Хайри Рафиков. Посмотришь на него — весь день крутится, как белка в колесе, словами и идеями, как горохом, сыплет, а пройдите по территории цеха, там же черт ногу сломит!

Хайри блошино вскочил, фальцетом крикнул:

— Цех план выполняет! И вы...

— Сядь, — спокойно оборвал его Тулькусурин. — План для того и существует, чтобы его выполняли. А почему ты не вывозишь опилки на питомник, не избавишься от мусора, не рассортируешь отходы и не сложишь их в штабеля, как обещал еще весною? Я тоже хорош, поверил, за-

крутился... Три дня срока даю на наведение порядка! И не за счет срывов плана... А вы, товарищи лесники, всех, кто спрашивает дрова, направляйте к Хайри. У него сотни кубометров делового горбыля, комлей берез, хлыстов осин. Все это продать, а попросят, и своим трактором отвезти.

Рафиков засмеялся.

— Никто у нас ничего не купит.

— Это почему же? — удивился лесничий. — Дрова из этих отходов отличные. Выдержанные, сухие.

— Так они же у нас не дровами числятся, а деловой древесиной, — снисходительно пояснил начальник лесопилки.

Тулькусурин растерялся. Он знал огромную разницу цен на дрова и деловую древесину, но считать эти осиновые хлысты, сосновые горбыли, не годящиеся даже на опалубку, эти березовые комли строительным лесом?

— На какое же строительство может пойти весь этот, э... э, мусор?

Рафиков пожал плечами.

— Конечно, ни на какое. Но отходы эти, мусор, как вы, товарищ лесничий, выразились, на балансе у нас в графе «деловой лес». И цена за него, будешь топить — в трубу вылетишь.

— Так что же, пусть гниет? — взорвался Гильман.

— Пусть гниет. Спешем. Так не раз бывало.

Эти слова задела за живое старого Янтуру, до того сидевшего со спокойным видом. На этот раз лицо его покраснело, а шрам на щеке стал лиловым.

— Как можешь ты, Хайри, так спокойно говорить! Спешем... А сколько сил ушло на рубку, трелевку, распиловку этого леса! Сколько денег!

Рафиков посмотрел на него исподлобья.

— Янтура-агай, говорят, когда подковывают коня, кузнецу не мешают. Зачем же ты вмешиваешься не в свое дело? Я пятый год работаю в цехе, и каждое бревно, каждая щепка у меня вот здесь! — он похлопал себя по крепкой шее. — Спрос-то с меня, а с тебя, как с гуся вода...

Гильман решил прекратить препирательство, хлопнул ладонью по столу.

— Хайри! Продавай этот хлам всем желающим по цене дров. Нам надо очистить территорию. А если привяжется ревизия, я отвечу.

Рафиков улыбнулся.

— Спасибо. Только слово к делу не подошьешь.

Тулькусурин прикусил губу, окинул взглядом собравшихся. Он увидел напряженное лицо Янтуры, победную улыбочку Рафикова, прищуренные глаза помощника, чуть приоткрытый рот Гайсара Шамова. Мурзабай сидел с опущенной головой, всем своим видом показывая, что это его не касается.

Гильман решительно выдвинул ящик стола, достал лист бумаги и что-то быстро на нем написал. Протянул Рафикову.

— На. Это можно пришить к делу.

Начальник лесопилки сменил победную улыбку на растерянную. Сложил вчетверо листок и сунул его в нагрудный карман рубахи.

Лесничий вперил взгляд в Мурзабая. Его сын Гайсар сидел рядом, понурился. На секунду Гильману стало жаль парня, но тут же он прогнал эту жалость. Начал спокойно:

— Надеюсь, товарищи, всем вам известно, что произошло вчера у бортьевой Сосны?

Собравшиеся сдержанно загудели. Конечно, о стычке лесничего с бригадиром охотников, об

убитой птице и разбитом ружье знала вся маленькая деревня.

— Теперь скажите, есть ли право у такого человека после этого ходить в лес с ружьем?

— Нет! — выкрикнул Янтура. И тут Мурзабай взбесился. Вскочил, забрызгал слюной.

— А-а! Мстите за давно забытого Тулькусур-ру? Но я за грехи отца не отвечаю!

Гильман от изумления не мог произнести ни слова, а Мурзабай бросился к его столу, оперся руками, приблизив свое перекошенное злобой лицо к лицу Гильмана так, что обдавал его запахом перегара, дикого чеснока и пота.

— Я — советский человек, Гильман Тулькусурин! И закон защитит меня от таких, как ты! Из-за мести ты вчера бросился на меня, разбил мое дорогое ружье... Я в суд на тебя подам!

— Что ты говоришь, отец? Уймись! — крикнул вскочивший Гайсар. Мурзабай крутнулся к нему.

— Пляшешь под их курай, щенок? Вон отсюда!

— Как не стыдно, о... — Гайсар договорить не успел. Мурзабай закатил ему такую оплеуху, что парень дернулся и ударился головой о стену.

Никто не ожидал такого поворота разговора, потому все смешались, а Мурзабай гремел:

— Меня мучаете и мальчишку испортили? Мое терпение лопнуло! В суд поеду! — и, громко топая, вышел...

Только после этого все очнулись. Кто бросился утешать Гайсара, кто стал нервно закуривать, и все кричали, что Мурзабая надо выгнать, за браконьерство и хулагинское поведение бригадира охотников Мурзабая Шамова уволить по статье такой-то КЗоТа...

Гильман писал приказ, а сам все думал о неожиданной выходке Мурзабая. Обвинил его в мести! Да, Гильман знал от деда Бикмурата, что Уелдан, отец Мурзабая, повинен в смерти Тулькусур, но у Гильмана и мысли не было мстить Мурзабаю. До чего же бывает темна и подла душа человеческая!..

Несколько минут после того как приказ был напечатан и вывешен, Гильман сидел размышляя. Потом вздохнул. Надо было работать. Снял трубку телефона, позвонил председателю сельсовета:

— Здравствуйте, товарищ Ханов. Помните, я вам говорил о месячнике покоя? До сенокоса осталось не так уж много времени, пора бы его проводить.

Идея этого месячника принадлежала лесничему и была очень проста: с десятого июня по десятое июля, когда интенсивно увеличивается приплод почти всех зверей и птиц, не пускать в лес не только туристов, грибников, но и ни одной автомашины, ни одного трактора, какая бы нужда в них в эту пору ни была. Пусть хотя бы один месяц в году звери и птицы, занятые своим потомством, проживут спокойно. Лес на глазах пустеет. От грохота тракторов, корчующих пни, трелюющих бревна, от воя и газа автомашин, от нашествия бесчисленных грибников, рыбаков, ягодников, туристов бегут неведь куда пушные зверьки, разлетаются, бросив древние гнездовья, птицы. Медведей взяли под охрану, запретили на них охоту, и теперь топтыгиных развелось столько, что от них не стало житья не только на пасеках и фермах, но и в деревнях. Медведи как-то приспособились к НТР, обнаглели настолько, что в поисках дармового съестного забирались в палатки лесовиков и геологов, утаскивали в лес термосы с горячей пищей.. О птицах не подумал никто, и

они, напуганные грохотом, шумом, людскими голосами, с печальными криками днями кружились над лесом, стоями неслись к Уралу и дальше — в Сибирь, не ведая, что и там их ждет то же самое. Конечно, одним месячником положение не поправишь, да и месячник такой — дело в Каратау не виданное доселе — силами лесничества не проведешь, вот почему лесничий обратился в сельсовет с просьбой созвать сельский сход. Ханов обещал подумать, но что-то тянет, вот и сейчас стал ссылаться на «более важные, неотложные дела», просить недельку пообождать.

Гильман хотел взорваться, но сдержал себя, как можно миролюбивее произнес:

— Всех важных дел, Ханов-агай, никогда не переделаешь, а оттягивать сельский сход больше нельзя.

Ханов несколько мгновений помолчал, потом вздохнул:

— Понимаю тебя, Гильман-кустым¹. Но мне кажется, ты не до конца продумал свое, э...э, мероприятие. Месячник мы будем проводить на территории нашего лесничества, а коснется он всего региона.

— То есть?

— Запретим мы своим людям, машинам, тракторам целый месяц в лес соваться, а придут, скажем, автомашины за бревнами из других районов, их что, назад отсылать? Или из центра какая изыскательная партия припрется, ее куда?

— Все равно никого этот месяц в лес не пускать!

В трубке забулькал смех Ханова:

¹ Кустым — братишка. (*Башкирское приветливое обращение к младшему.*)

— Ах, кустым! Тебе легко рассуждать, а каково мне? Пойдут жалобы в райсовет, в редакции, в столицу... С кого спросят? С тебя, что ли? С меня, с Советской власти!

— Что же делать? — растерялся Гильман. В словах Ханова был резон, а дело, которое казалось Гильману чрезвычайно простым, на поверку выходило необычайно сложным. — Что делать-то?

— А вот что, братишка Тулькусурин. Согласуй-ка ты этот вопрос с руководством района. Будет «добро», и я обеими руками, — сход собрать недолго, а не будет, извиняй.

— Спасибо за совет, Ханов-агай. И прошу вас до начала сенокоса вывезти все дрова для больницы и школы с прошлогодних делянок. Пока не сделаете этого, не рассчитывайте на новые участки. Не дадим.

Ханову не понравился решительный тон лесничего.

— Вы амбицию свою, товарищ Тулькусурин, бросьте! — жестко сказал он. — На старых делянках остались только толстые деревья, которые не срубишь и не погрузишь. Вы нам обязаны отвести новые. Ведь школа и больница не для одного товарища Ханова!

— Не надо этим спекулировать, — отрезал Гильман. — А деревьев, которых нельзя было бы повалить и погрузить, в природе не существует. Нам же эти делянки надо в этом году пахать, чтобы посадить на них сосну.

— А я говорю, у нас сил нет и транспорта, чтобы освоить старые участки, — настаивал председатель сельсовета.

— Есть. И лошади у вас есть, и трактора, и мы, если надо, чем сможем, поможем.

— Значит, вы отказываетесь выделить новые порубки ближе к деревне? — Голос Ханова зазвенел угрожающе.

— Сделайте как положено, мы вам немедленно выделим самые удобные.

— Хорошо же! Я позвоню в лесхоз, я позвоню в райсовет Юлдашбаеву! Я скажу, что из-за вашего ребяческого упрямства школа, больница, сельсовет останутся в зиму без дров! Вы поняли меня?

— Понял. Только зря вы, товарищ Ханов, в чем-то меня обвиняете и спекулируете больницей, школой. Порядок в лесоводстве установила Советская власть, и он для меня — закон.

Ханов бросил трубку.

Да... Нелегко переломить то, что складывалось годами, десятилетиями. Тут, в лесничестве, вовсю процветало подлое правило: рука руку моет. Теперь Гильману приходилось хлебать эту мутную водичку, в которой мыли руки.

Весною, не предупредив заранее, прибыли из двух соседних колхозов автомашины, груженные овсом, крупой, мукой и прочей снедью, чего в лесхозе всегда не хватало. Представители — нагловатые мужики в дубленых полушубках сразу же потребовали делянки поближе к дороге. За это они сулили овес для лесхозовских лошадей, прочее — для работников. Еще представители прозрачно намекали, что было бы хорошо, если бы на участках оказалось побольше неучтенных сосен.

Тулькусурин, сдерживая себя, сказал:

— У меня своего леса нет. А у дороги рубить нечего. Поезжайте на те делянки, что вам назначены и обсчитаны заранее.

— Ишь, петушок! — ухмыльнулись представители. — Ни овес ему не нужен, ни мука...

И пожаловались на строптивного лесничего директору лесхоза Козину. Тот вызвал Гильмана, сесть не предложил, тюкая по столу карандашом, наставительно сказал:

— С колхозами ссориться не советую. Они нас выручают, мы — их. Ты еще молод, со временем и сам поймешь, что все не так просто.

Гильман знал Петра Максимовича Козина еще со времени своей работы в министерстве. Он производил впечатление знающего, культурного и сдержанного руководителя. Но что-то в его поведении, в его манере судить уклончиво о серьезных вещах настораживало. И здесь, в лесничестве, Гильман видел не раз, как строг Козин в отношениях с подчиненными, как мягок с начальством. Теперь вот обнаруживалась еще одна «хозяйская» жилка в характере Петра Максимовича. Нельзя портить отношения с колхозами... А закон нарушать можно?

Через некоторое время на лесопилке вышел из строя вал рамы. Гильман доложил об этом Козину, попросил дать новый. Директор строго отчитал:

— У меня нет завода, выпускающего валы. Сами сломали, сами и доставайте. А план я с вас все равно спрошу.

То же самое произошло и с тросами для трелевки. Старые износились вконец, а новые директор дать отказался.

— Ищите сами. Проявляйте инициативу, — опять жестко посоветовал он.

Проявляйте инициативу! Это значит: ты — мне, я — тебе. То есть я тебе столько-то кубометров леса, а ты мне — вал, тросá, еще там что, в чем хозяйство всегда остро нуждалось. Но делать так означало — воровать, заниматься махинациями. И не столько ответственности боялся

молодой лесничий, сколько бесил его этот дяляческий принцип: ты — мне, я — тебе.

Поневоле яростно думалось: если за лес можно *достать* нужные материалы и тот же овес для лошадей, значит, все это *есть!* И есть в избытке, коли без ущерба для производства можно *это* отдать за столь ныне дефицитный лес. Почему повелось так, что ты с *государственной* бумагой бегаешь по этажам, высунув язык, клянчишь подписи, а какой-то ловкач-толкач, сунув *кому что надо*, преспокойно забирает иной раз тебе принадлежащие фонды. Откуда это *у нас* взялось? Когда повелось? И как эту позорную практику сокрушить? Ясно же, надо начинать с самого себя: не идти на поводу у подлого *правила* «ты — мне, я — тебе», строго соблюдать государственные интересы. Тулькусурин пытается это делать, а Козин...

Эти раздумья и без того ухудшили испорченное еще утром настроение лесничего. Но деваться от них было некуда, вспомнился и разговор с Хановым, и захламленный двор лесопильного цеха, и дурацкое приравнивание отходов к строительным материалам.

Он зашел в бухгалтерию и дал указание выписывать горбыль и прочие обрезки по цене дров. Главбух пыталась было возразить, но он слушать не стал, протянул письменное распоряжение и вышел во двор.

День был прохладнее вчерашнего, потому что по небу плыли, курчавясь, белые облака, но дождем и не пахло. Вздохнул: нужен дождь. Тут его позвали к телефону: Козин лично приказал быть завтра с утра на важном совещании в райцентре. Для этого надо было выехать сегодня, а чтобы выехать: подготовить свой старенький «Урал», благо водительские права Гильман по-

лучил еще учась в академии. Теперь вот они пригодились...

IV

Увлеченный возней с мотоциклом, он не слышал, как скрипнула дверь амбара, который Гильман приспособил под гараж, и лишь когда солнечный луч полоснул по глазам, обернулся.

В дверях стояла Зубаржат. Он подумал, что сегодня, втянутый в водоворот дел, ни разу не вспомнил о ней, устыдился и, чтобы скрыть смущение, наигранно-бодро крикнул:

— Что стоишь, Зубаржат? Мотоцикла испугалась или меня?

— Не испугалась я.

— А чего на планерку не пришла?

Зубаржат ковырнула каблуком резинового сапога песок, усмехнулась:

— А вот тут испугалась... После вчерашнего. Боялась, все на меня глядеть будут.

— Ну-ну, — буркнул смущенно Гильман. — Так уж и все. Никто нас не видел.

— Самой стыдно. Голову я вчера потеряла из-за этой русской...

— Я тоже потерял, — тихо сказал Гильман. — Из-за тебя.

— Да? — К Зубаржат вернулась обычная насмешливость. — То-то вижу, ты до сих пор ее не нашел.

Гильман уставился на нее непонимающе. Зубаржат подошла ближе, присела на заднее сиденье мотоцикла.

— Чего на питомник не заглянул?

— А что, у тебя ко мне дело какое?

— Дело... — Зубаржат надула и без того пухленькие губки. — У тебя все дела да дела, а мне хоть бы издалека хотелось тебя увидеть.

Гильману приятны были ее слова, но ему казалось, что слышит их не он один, а все люди во дворе и даже в конторе, и потому он пробормотал:

— Работы много, Зубаржат... Да и неприятности всякие (сказать ей или нет о вчерашней встрече с Мурзабаем, о сегодняшней стычке с ним на оперативке? Поди, знает уже).

Он посмотрел в потухшие глаза девушки, развел руками:

— Вот в райцентр ехать надо... Я тебе оттуда... — Гильман чуть не ляпнул «привезу подарок», но вовремя сообразил, что подарками успокаивают малых детей, а не взрослых девушек, таких прямодушных и резких, как Зубаржат. Вот и сейчас она подтрунила:

— Что ты мне? Петушка на палочке привезешь?

— Ладно, когда вернусь, поговорим. Слух есть, к нам на днях министр приезжает. Ты уж, пожалуйста, в питомнике порядок наведи.

— А у нас порядок. Только вот дождь что-то долго собирается, а нейдет. Завтра будем бочками возить, польем самые слабые всходы.

— Правильно! — обрадовался Гильман и снова подивился проницательности Зубаржат: именно это он хотел ей порекомендовать! Дождь-то будет или нет, бабушка надвое сказала, а это хотя дело и трудное — воду из речки бочками возить — но верное. Давно бы в питомнике надо пробурить скважину... И вздрогнул, услышав:

— Болтали, болтали, что скоро у нас будет колонка, а ее и бить до сих пор не начали.

— На этот раз не вернусь из района, не решив этот вопрос, — пылко заверил лесничий.

— И для моих цветов из той колонки воды хватит, — плутовато улыбнулась девушка. — Не завяли еще?

— Что ты! Я их и вчера ночью поливал, и сегодня утром!.. А когда я на них гляжу, я тебя, Зубаржат, вижу! — выпалил Гильман и сам подивился правде сказанного и складности своей речи. Мелькнуло: не такие ли девушки, как Зубаржат, из обыкновенных мужчин делают поэтов?

Лицо девушки при последних словах Гильмана засветилось еще сильнее. Она поднялась с сиденья, протянула руку:

— До скорого свидания. Вернись живым-здоровым. — Она было вышла, но тут же возвратилась. — Дом твой открытым останется?

— Как всегда... Только вот боюсь, чтобы, пока буду отсутствовать, мое сокровище не украли.

Девушка поняла, что говорит он о ней, счастливо засмеялась.

— Об этом можешь не беспокоиться. А к твоему приезду я у тебя уберу.

...Около четырех часов пополудни Гильман уже был в райцентре. Сначала заехал в ремонтно-монтажное строительное управление. Начальник встретил его чуть ли не с распростертыми объятиями, но, когда лесничий упрекнул его за затяжку бурения скважины, скис:

— Клянусь, не успеваю везде, Гильман Ильгамович. Да и не были бы вы у черта на куличках, давно бы пробурили. Хоть ночью, хоть после работы... Клянусь, кустым.

— Во-первых, не стоит клясться по любому поводу, дружище, — оборвал его Тулькусурин. — Во-вторых, скважина позволит нам оросить более десяти гектаров «школки», которая пойдет на

восстановление леса. А кто его берет у нас больше всех? Да ваше же управление! Что же вы о будущем не думаете? Или после вас хоть потоп, хоть пожар?

Начальник промокнул вспотевший лоб:

— Не говорите так, Гильман Ильгамович... Сегодня же пошлю к вам своих людей...

— Сегодня все равно не успеете, а завтра не забудьте. Если обманете, ни куба леса не дам! Пусть хоть какие, хоть чьи приказы!

— Не круто ли, Гильман Ильгамович? Нам ведь тоже план выполнять надо.

— Сегодня вы план выполните. А завтра, послезавтра? О детях наших, о внуках думаете?

Начальник управления почесал багровый затылок:

— Ладно! Пришлю бурильщиков на субботу и воскресенье. Считай, ты победил.

— В общенародном деле победителей и побежденных быть не должно, — сухо сказал Гильман и, не попрощавшись, вышел...

Во дворе райпромкомбината он увидел Нину Козину, которая стояла у ворот возле своей машины. Почему-то робости перед ней он теперь не испытывал, с улыбкой крикнул:

— Эй, грозный шофер, как дела?

— А-а, начальник-бюрократ появился? — пропела девушка. — Ну, здравствуй. На совещание, что ли?

Гильман пожал плечами:

— Срочно вызвал Петр Максимович.

— Тогда точно на совещание, — кивнула Нина. — Мой батюшка именно в совещаниях да заседаниях находит смысл жизни и ее красоту.

— Скажете тоже, — слабо запротестовал Гильман. И перевел разговор. — В наших краях когда снова будете?

Нина наклонила головку, короткие рыжие волосы упали, закрыв пол-лица (на этот раз она была без беретки).

— А тебе очень хочется меня там видеть? Мне, честно говоря, не хочется опять весь день торчать под солнцем, пока ваше сиятельство позволяют взять эти разнесчастные доски, да еще сами и погрузят.

Гильмана смутила ее насмешка, и он, не найдя, что ответить, с места рванул мотоцикл...

— Смотри, не выпади! — донесся до него хохот девушки...

В конторе Козина не было.

— Министр, Габит Салихович Муратов приехал, уволок куда-то Петра Максимовича, — пояснил главный лесничий Ражапов. Он имел высшее образование, специалистом был, как убедился Гильман, толковым, а вот, хотя давно уже и седина в курчавых волосах, так и остался «вечным» лесничим. Возможно, сказывались отношения с Козиным. Гильман слышал, что Ражапов открыто выступал против массовых вырубок, ратовал за скорейшее восстановление леса, Козин же, на словах соглашаясь с ним, исповедовал «железный» принцип: план любой ценой. Мало того! Козин, несмотря на протесты главного лесничего, охотно брал «повышенные обязательства», а так как планирование было «от достигнутого» (учитывалось и выполнение этих самых «повышенных» обязательств), задания на вырубки год от года катастрофически росли. «Уйду я куда-нибудь, — тоскливо признался однажды Гильману Ражапов. — Не могу видеть, как мы своими же руками сук под собою рубим».

— Завтра министр проводит совещание, — тихо говорил между тем главный лесничий. — Намекнул, что будем работать по-новому.

— Как это? — заинтересовался Тулькусурин.

Ражалов пожал плечами:

— Точно не знаю, но уже сейчас вижу, новшество Козину не понравилось.

«Не идет ли речь об эксперименте с лесохозяйственными хозяйствами? — подумал Гильман. — Два года тому назад его начали в двух лесхозах и Козин поддержал эксперимент, даже выступил в республиканской газете со статьей о пользе этого новшества. А уж когда эксперимент расхвалили в центральной печати и в журнале «Лесное хозяйство», где его авторами были названы Муратов и Козин, Петр Максимович совсем заважничал, клятвенно обещал ввести новую систему и в других лесничествах, но почему-то не торопился.

Муратов же — Гильман это хорошо знал — не будет проводить эксперимент ради эксперимента, чтобы прослыть новатором. Он сто раз отмерит, проверит, посоветуется, а потом отрежет. Так было, когда Муратов внедрял идею комплексного ведения лесоводства и охотоводства. Прочитав его статью в центральной печати, преподаватель академии профессор Гарин, любимец студентов, одну свою лекцию целиком посвятил новшеству Муратова. Возможно, именно эта пылкая лекция, в которой седой профессор не жалел для Муратова комплиментов, и заставила Тулькусурина недолго задерживаться на престижном месте в министерстве... А ведь когда он пришел за распределением в министерство лесного хозяйства Башкирии и Муратов предложил ему на выбор: либо ехать в любое лесничество, либо остаться здесь, под его, Муратова, непосредственным началом, Гильман, не задумываясь, ответил: «Останусь здесь». Ему было приятно приглашение министра, да и работа с ним, человеком, о котором с такой

теплотой отозвался любимый профессор, казалась ему большим счастьем... Но через два года он понял, что может и сам затеряться, как специалист, в бумажном потоке, и мечты своей студенческой юности — стать настоящим лесоводом — не исполнить. Понял его и Муратов, потому с такой легкостью отпустил...

Теперь, вот уже почти год, они не встречались и Гильман заволновался, узнав о приезде Габита Салиховича.

Сославшись на болезнь жены, главный лесничий ушел, посоветовав Тулькусурину подождать Козина в его же кабинете.

Гильман просмотрел все газеты, журналы, лежащие на столах директора, изучил его библиотеку в застекленных шкафах, а Петра Максимовича все не было.

Неожиданно зазвонил телефон. Гильман снял трубку и тотчас же услышал чуть капризный знакомый голосок:

— Папа, почему домой не идешь? Мы с мамой уже собрались ужинать.

— А готов ли ужин? — подражая голосу Козина, решил разыграть Нину Гильман. Но обман не удался: видимо, Нина очень хорошо знала все интонации голоса отца.

— Кто это там меня разыгрывает? — резко спросила она. — И где мой отец?

— А разве директор ваш отец? То-то он меня крепко взгрел за то, что вам долго не отпускали лес.

— Ха-ха-ха! — слышалось в трубке. — Это вы, батыр из Каратау? Черный, смуглый, грозный лесник? Что вы там делаете?

— Караулю контору.

— Ну тогда вора́м ни за что туда не проник-

нута! Так же, товарищ лесничий? Кстати, как ваше имя?

— Мы, батыры, девушкам по телефону имена не называем. Хочешь узнать (Гильман решил перейти на «ты», тем более что Нина давно это сделала), — приезжай к нам, в Каратау, или домой пригласи.

— Ишь какой! Медведь медведем, а туда же...

— Почему это медведь? — Гильман сделал вид, что обиделся.

— А ты еще и обидчивый? Приходи, накормлю легкими. Как говорят у вас, башкиров: обидчивых надо кормить легкими, они перестанут обижаться. Так как же?

— Так, так... Сейчас приду на ужин.

— Но я не ждала тебя сегодня и легких не сварила. Заходи как-нибудь в другой раз, а теперь скажи, где отец?

— Должно быть, с министром сидят в райкоме, я сам его жду.

— Жди, товарищ медведь... Но учти, я не пугливая, даже медведей не боюсь! — В трубке слышался веселый смех, потом щелкнул отбой.

Гильман тоже положил трубку и вдруг поймал себя на том, что на его лице застыла глуповатая улыбка... От чего вдруг стало ему так хорошо? Почему поднялось настроение, да так, что захотелось тут же вскочить в седло мотоцикла и во все его лошадиные силы гнать по широкой, неоглядной степи.

Гильман даже сбежал к своему железному коньку, хотел было завести, но во двор въехал «газик», из кабины вышел директор. Лицо его показалось лесничему недовольным.

— Прибыл? — буркнул Козин. — А мы в райкоме задержались. Слыхал, кумир твой, Габит Салихович, приехал?

— Слышал.

— Н-да... Ворох новых идей привез. Ну, пошли ко мне в кабинет.

Несмотря на свои пятьдесят с лишком лет Козин выглядел молодо — сказывалось ежедневное занятие спортом. Да и в его каштановой шевелюре не было ни одного седого волоса. Был он сухощав, крепок телом и тверд на ногу. Вот и сейчас он поднимался, шагая сразу через две ступеньки.

В кабинете сели друг против друга. Козин по обыкновению зажал между пальцами карандаш, потюкал им по столу.

— Ну, выполнишь план к пятнадцатому, как обещал?

— План-то выполняется, Петр Максимович... Меня другое беспокоит.

— Гм... Может, помощь моя нужна? Говори.

Тулькусурин кратко пересказал ему разговор с председателем сельсовета Хановым о «месячнике покоя», о том, что надо бы в план третьего квартала включить сбор желудей для будущих посадок, о том, что всякие отходы распиловки числятся у них как строевой лес, а их следовало бы продать по цене дров...

Козин слушал, не перебивая, а когда лесничий кончил, вскинул красивые брови.

— Все? Н-да... Интересный ты человек, Тулькусурин. Мыслишь вроде бы масштабно, а на самом деле дальше своего носа не видишь. Ну, допустим, проведешь ты этот самый месячник покоя. А план? А пахать под посадки сосны? А заготовки бревен для досок, дров? Наконец, ваши люди и техника, выходит, целый месяц отдыхать будут? Что-то вроде еще одного отпуска? Так дело не пойдет.

— Петр Максимович! — Гильман приложил руки к груди. — Да никто не будет отдыхать! Ни люди, ни техника. На этот период составлен специальный план работы. Он же у вас!

— Видел я твой план и вот что тебе скажу: за то, что я разводил зверей и птиц, никто мне спасибо не скажет. А вот за то, что сорвется план, самое малое — выговор припечатает! — И, видя, что Тулькусурин порывается возразить, поднял ладони перед собой. — Погоди! Я тебя не перебивал... Вот ты задумал дуб сеять. Что ж, дерево это могучее, нашей промышленности нужное. Но вспомни, сколько он растет до толщины тридцать — сорок сантиметров? Сто пятьдесят лет! Значит, от него не только нам, но и нашим детям никакой пользы! А если посеешь сосну, говоря языком агрономов, два урожая собрать сможешь.

Тулькусурин знал упрямый характер Козина, но то, что он сейчас услышал, возмутило его до глубины души.

— Петр Максимович! Мы должны думать не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем!

— Ишь ты, — иронически улыбнулся директор. — Красиво говоришь, только Тимирязев в свое время сказал еще лучше. Помнишь: «Лесник по специальности своей в определенной мере человек завтрашнего дня, он служит во имя будущих поколений».

— Золотые слова!

— Золотые. Только ты, Тулькусурин, не забывай и слова Владимира Ильича Ленина, что инициатива превращается в большую силу только тогда, когда находит поддержку всего народа.

— Но, скажите, Петр Максимович, как можно, не придав инициативу гласности, не испытав ее, узнать, находит она поддержку в народе или нет?

Секунду Козин глядел на него в упор, сощурив глаза, потом хлопнул Гильмана по плечу, расхохотался:

— Люблю людей, которые так вот, как ты, упорно отстаивают свои взгляды! Однако нынче, товарищ Тулькусурин, не до твоих новшеств. Вот приехал твой кумир, — опять нажал он на это слово, — Габит Салихович, грандиозное дело предлагает. Только... — Козин запнулся, поглядел на часы. — Ого!

— А что это за дело, Петр Максимович? — загорелся Гильман.

— Да... в двух словах не расскажешь. Устал я и есть хочу, как собака. Слушай, ты где остановился? Ясно. Пойдем ко мне, поужинаем, поговорим о министерском прожекте, переночуешь у меня.

— Да неудобно как-то, Петр Максимович, — вяло запротестовал Гильман, вспомнив недавний телефонный разговор с Ниной.

— Неудобно, Гильман Ильгамович, знаешь, что делать? Против ветра плевать. Рискуешь сам быть оплеванным, — говоря это, Козин вытащил из стола какую-то палку, поднялся.

— Айда!

▼

Муратов выехал из Уфы на машине первого секретаря Иманкуловского райкома партии Никиты Баровича Саюшева. Друзья давно не виделись, и хотелось за неблизкий путь поговорить, когда в пути хорошая беседа, самая длинная дорога покажется с заячий хвост.

Непростые отношения сложились у Муратова и Саюшева, не сразу получилась эта дружба.

Учась на факультете лесного хозяйства в сельскохозяйственном институте, Габит Муратов познакомился со студенткой медицинского института Рамилей. Все привлекало Габита в этой девушке: изумительно чистое смуглое лицо с милой, когда она улыбалась, ямочкой на щеке, черные, как ночь, глаза, точеная фигурка, застенчивость, рассудительность, радовало и то, что она родилась в Каратау — неподалеку от родины Габита. Он никогда не признавался ей в любви, и она не клялась ему в вечной верности. Такие признания казались Габиту не только старомодными, но и попросту ненужными. «Сердце должно чувствовать сердце», — где-то прочитал он и был уверен, что Рамиля чувствовала его сердце, как он чувствует ее.

После окончания института Муратова призвали в армию. И опять то ли по застенчивости, то ли следуя своим принципам — не связывать никого никакими клятвами, Габит не просил девушку ждать его, писать ему письма. Он даже не поцеловал ее на прощание! Сначала она писала ему. Письма были холодновато-деловыми: готовится к выпускным экзаменам, ходит на курсы зубных техников, бывает в кино, театре. Габит скупно писал ей об армейских буднях, о природе тех мест, где служил. Вскоре письма стали приходить реже и реже, потом совсем перестали. Габит не знал, что и думать, писал родным, знакомым. Но те хранили загадочное молчание. Наконец, товарищ по учебе ответил, что Рамиля вышла замуж за Никиту Саюшева, слушателя высшей партийной школы. Муратов немного знал Саюшева. Никита был крепок, приземист, не красавец, не говорун да к тому же на десять лет старше Рамили. Что она в нем нашла, Габит понять не мог. Но разве кто-нибудь сможет понять женскую душу? Возможно, в выборе Рамили было

виновато не только обаяние Саюшева (хотя в чем оно проявлялось, Габит решительно не понимал), но и что-то другое? Хотя бы сдержанное поведение Габита, когда они встречались? Но ведь пытаешься поцеловать, говорят — нахал, не проявляешь прыти, фыркают — валух. Вот и пойми женщин!

По служебным делам работнику министерства, а потом и министру Муратову приходилось часто встречаться с секретарем большого района Саюшевым. Разговаривали они подчеркнуто деловито, сухо, о семейной жизни не осведомлялись — Муратов женился на маленькой, тихой Мастуре, которая за пять лет совместной жизни родила ему четырех детей, — но потом лед все-таки сломался. Муратов, видя, что Саюшев деликатный, умный человек, проникся к нему симпатией, да и старая рана будто бы зарубцевалась. Однажды он пригласил Саюшева к себе домой поужинать, познакомил с тихой милой Мاستурой, со своими горластыми наследниками.

С умилением и завистью — своих детей у Саюшева не было — наблюдал Никита Барович за проделками трех сыновей Муратова (четвертая, девочка, была еще в пеленках), тоскливо вспоминая свою тихую, как бы нежилую, квартиру. Будто бы и любят они с Рамилей друг друга и уважают, но нет детей, и, как говорится, один угол жизни у них отломан...

За разговорами, а поговорить было о чем, почти и не заметили, как подъехали к дому Саюшева. Никита Барович и слышать не хотел о какой-то гостинице, где Муратов намеревался заночевать. Он буквально выволок его из автомашины, подтолкнул к калитке. Сердце Муратова сжалось в тугий теплый комок, во рту пересохло. Ведь Рамилю он не видел с институтских времен, вре-

мен их встреч. И когда у порога встала она, как показалось Муратову, еще более стройная и обаятельная, он даже вздрогнул... Она первая протянула красивую, как у пианистки, ладонь. Улыбнулась непринужденно, глядя чуть прищурившись прямо в глаза гостю, отчего у Муратова в душе шевельнулось что-то тяжелое, горячее.

— Здравствуйте, товарищ министр, — певуче проговорила она. — Не знала, что к нам такой высокий гость, извините, не готовилась встречать. — И строго мужу: — Мог бы позвонить, предупредить. — И, покачивая крутыми бедрами, прошла в комнату. — Садитесь за стол, сейчас я чай согрею.

«Не предупредил! — передразнил про себя жену Саюшев. — Небось, Мастуре и на ум бы не пришло упрекать Габита».

«Не очень-то она танцует перед Никитой, — думал между тем Муратов. — Все та же гордая Рамиля».

Пока ожидали ужина, говорили о том о сем, но та откровенность разговора, что была в машине, пропала...

Когда пили чай, Муратов уронил ложечку с вареньем. Извинился, нагнулся поднять и опрокинул свою чашку. Смутился вконец. А Рамиля мило улыбнулась.

— Товарищ министр не привык сидеть за сельским столом.

Муратов деланно засмеялся, Саюшев фыркнул.

Не раз Муратов с каким-то мальчишеским злорадством думал, что его первая любовь Рамиля теперь, когда он стал министром, заламывает руки и клянет себя за то, что не дождалась его из армии. Он потому и избегал с нею встреч, потому и не очень-то хотел (хотя мечтал, мечтал

же видеть ее!) идти к Саюшевым в гости, что боялся смутить ее, увидеть виноватые глаза... Ничуть не бывало! Вот сидит она, красивая, спокойная, смотрит прямо, непринужденно шутит... Значит, ничего не осталось в ее сердце? А может, ничего и не было? Ах, да к чему все это!

Но червячок уязвленного мужского самолюбия точил его, и он уже проклинал себя за то, что поддался нажиму Никиты, зашел к ним...

К счастью, надо было идти в райком, где их ждали Козин и председатель исполкома.

Муратов неловко отклонялся...

Разговор в райкоме получился тяжелый. Министр попросил секретаря райкома не давить на председателя райисполкома и директора лесхоза, хотелось слышать их собственное мнение о перестройке работы в лесном хозяйстве. Но председатель и Козин хмыкали, что-то мямлили — мы, мол, как все, однако Муратов видел, что они не очень-то разделяют его идеи и даже, пожалуй, сговорились вести себя вот так: не соглашаться и не отвергать...

Когда вышли на улицу, Саюшев сказал:

— Напрасно, Габит Салихович, ты попросил меня не вмешиваться. Ведь фактически мы не выработали единой стратегии. Как-то поведут они себя на завтрашнем совещании?

Муратов взял Саюшева за локоть.

— С одной стороны, Никита Барович, ты прав — единая стратегия нужна. С другой же — не слишком ли мы усердствуем, причесывая все мнения под одну гребенку? Сколько бед было от этого усердия, сам знаешь. Если завтра и председатель, и директор выскажут мнение, идентичное нашему, совещание пройдет гладко. Но это ли надо для пользы дела? Козин, конечно, мужик с характером, мнит себя здесь чуть ли не

вершителем судеб района, республики даже. Я бы мог его осадить, но зачем? Чтобы стал он хорошо смазанным ремнем? Пусть завтра на людях скажет свое отношение к перестройке, других послушает. А вдруг и мы не все продумали, не все рассчитали? Если же нас поддержат, посмотрим, как будет Козин работать в новых условиях.

— Я понял вас, Габит Салихович. Но ведь перестройка не только наше с вами да Козина дело. Это дело общенародное, одобренное обкомом и обязательное для всех. Задача райкома и моя, значит, — претворять его в жизнь, строго следить за его исполнением. Допускать фрондерство я не собираюсь.

— Да не об этом ведь речь, Никита Барович... Кстати, ты верно сказал: перестройка, в том числе и мышления, касается всех нас. И тебя, — Муратов хохотнул, — тоже.

— Понимаю... Ну, что, пойдем ко мне?

Этого приглашения Муратов боялся больше всего, потому поспешил отказаться.

— У тебя мы проболтаем до утра, а мне надо к завтрашнему совещанию подготовиться. Да и тебе тоже.

— И то верно, — кисло согласился Саюшев. — Пойдем, провожу тебя в гостиницу. В прошлом году построили, «люксов» нету, но, думаю, тебе будет и в одноместном номере уютно...

Когда он возвратился домой, Рамиля округлила глаза:

— А где же наш гость? Я тут кое-что успела вкусненькое на ужин приготовить.

Ревность кольнула сердце Саюшева. Но тут же он досадливо поморщился: «Что это я? Сдурел к старости?» Сказал просто:

— Ты же знаешь, Рамиля, крупное начальство не останавливается ночевать на квартире руководителя района. Неэтично.

Но эти слова Рамилю не убедили.

— Муратов не твой начальник, а твой друг. Ты, когда бываешь в Уфе, сам говорил, ночуешь у них, — и, резко повернувшись, ушла на кухню.

Знакомая черная кошка опять царапнула сердце Саюшева: «Не может забыть давние встречи с ним».

Чтобы отвлечься, он лег на диван, стал просматривать газеты. Но чтение не шло. Вспомнилась сегодняшняя нескладная беседа в райкоме... Козин... Что он за человек, Козин? Крепкий хозяйственник, всегда готов выполнить указания райкома, однако и своим мнением дорожит. Не так-то просто бывает его убедить в чем-то. Непонятным казалось Саюшеву, что такой деятельный и умный человек, как Козин, не хочет продвигаться по служебной лестнице.

Два года назад потребовался заместитель председателя райисполкома. Когда с председателем райисполкома Юлдашбаевым они обсуждали подходящие кандидатуры, всплыла и фамилия Козина. В этом был большой резон — половину территории района покрывали леса, а лесное хозяйство было как раз в ведении заместителя. Кто же, если не Козин, знает это дело! На его же место можно было порекомендовать Ражапова. Засиделся в главных лесничих.

Но Козин наотрез отказался от повышения.

— Сами знаете, Никита Барович, в этом году мы переходим на хозрасчет. А Ражапов последнее время болеет и болеет. Как же брошу в такую сложную пору коллектив, с которым проработал семь лет? Что обо мне люди скажут: зава-

рил кашу, а ведь все-таки я ее заварил, а сам наверх, на теплое местечко?

— Да какое же оно «теплое», Петр Максимович? — пробовал урезонить его Саюшев. — Вы ведь и на новой должности будете руководить лесным хозяйством. Только не в масштабе лес-промхоза, а всего района!

Козин тяжело вздохнул, сказал с видом человека, попавшего в трудное положение:

— За доверие, Никита Барович, спасибо. Я понимаю, что должность мне доверяется ответственная, но потому и... отказываюсь. Боюсь не справлюсь. Нет у меня опыта для такого масштаба, да и годы...

Саюшев поглядел на его моложавое лицо, крепкую фигуру, усмехнулся.

— Прибедняешься, Петр Максимович. Тоже мне пенсионер! Да ты хоть сейчас жеребца-трехлетку объездишь!

— Трехлетку-то, может, и объезжу, а на новом месте, боюсь, из седла вылечу.

Нет, что-то тут было не так... Что-то не так. Темнил Козин. Но почему? Однако и насильно заставляя, обязывать принять новую должность Саюшев не собирался. Знал, толку из такого работника не будет. Потому поднялся, пожал Козину руку.

— Жаль, что не хочешь. Но за откровенность спасибо.

А сам подумал: «Откровенность?» Потом, поразмыслив, понял причину этой «откровенности». Да ведь у себя в лесхозе Козин царь и бог! И не он кому-то кланяется, а ему! Зачем же менять насиженное место на малооплачиваемый, не очень-то самостоятельный пост зама предрика! Вот оно что! Да, а как же с партийной этикой? Но попробуй докажи вот такому Козину, что

поступает он не по-партийному, отказываясь от нового, очень нужного сейчас району поста. Не потому ли он вилял и сегодня, когда Муратов заговорил об объединении? Боится, что перестанет быть безраздельным хозяином в лесу? Так, так... Что ж, посмотрим, как он поведет себя завтра на совещании. А пока пора и поужинать.

— Рамиля! — крикнул он в сторону кухни. — Поесть дашь что-нибудь?

В ответ ему было молчание.

VI

Но Саюшев знал не все. Не знал он, например, о разговоре Козина с председателем райисполкома Юлдашбаевым. Тот, как только узнал об отказе Козина пойти к нему в замы, позвонил в лесхоз.

— Ты что, Петр Максимович, испугался, что не найдешь со мною общего языка?

— Ну что вы, Барый Максютрович! — пожурил Козин. — Мы с вами всегда находили общий язык. Разве я хоть раз отказывал вам, когда вы о чем-либо просили? — и, засмеявшись, положил трубку.

Юлдашбаев минуту размышлял. Потом до него дошло. Грохнул по столу кулаком так, что телефон жалобно тенькнул. Ну Козин, ну нахал! погоди же, я тебе!.. А что он ему? За что? Вот опять надо просить Козина, чтобы отпустил колхозу «Красный батыр» леса сверх лимита. Упрется, ткнет носом в инструкции и не даст. Подчиняется-то он все-таки, что ни говори, не райисполкому, а своему министерству. И что за порядки такие! Вся земля принадлежит Советам, значит, и лес, а попробуй спроси, потребуй с такого хозяй-

чика, как Козин. Нет, не требовать приходится, а кланчить, заискивать, унижаться. И кому? Советской власти! Сколько говорим о расширении роли Советов, а все пока остается на месте. А пока... пока с Козиным ссориться не следует. Да, если разобраться здраво, будь на его месте Юлдашбаев, он тоже навряд ли пошел бы к Козину в заместители. Вообще-то Козин мужик жизнью тертый-битый. Барый Максютрович хорошо знал его биографию. Но многого и он не знал.

Воспитывался Петр Максимович в детском доме на Украине — туда вывезли из голодного Поволжья детей-сирот. Он не помнил своих родителей, братьев и сестер, погибших в голодовку. Едва помнил себя, маленького, почерневшего от недоедания, со вздувшимся животом, опухшими ножками — тяжким, голодным был 1933 год.

На всю жизнь запал ему в память случай, который во многом определил его дальнейшую судьбу. Длинный Борька приказал малолеткам ползти в богатый сад за яблоками, пригрозив: «Если вернетесь пустыми, будете ночевать в туалете».

Яблоки были еще не спелые, потому пришлось взбираться на деревья, чтобы наполнить прихваченные с собою наволочки. Увлечшись, Петя вскарабкался почти на самую верхушку. Вдруг хрустнул сук и он, царапая лицо о ветки, полетел вниз. Когда грохнулся о землю, острая боль пронзила все тело. Сознания не потерял, но от боли громко вскрикнул. Залаяла собака, в доме засветился огонь.

— Тикай, ребята! — крикнул кто-то из малолеток, и все, как воробьиная стая, кинулись на забор. Петька тоже побежал со всеми, придерживая левой рукой поломанную правую. Он повис одной рукой на заборе, хныча от боли и страха,

и в это время здоровенный мужик выскочил из сада и с криком: «Попался!» — схватил его за переломанную руку.

...Очнулся Петька в больнице. Рука была закована в тяжелый гипс. Но нянечки ему улыбались, хорошо кормили, никто не обижал. Понравилось сироте в больнице!

Дня через два вместе с воспитателем детского дома пришел милиционер. На вопросы, с кем он лазил за яблоками, Петька, конечно же, ответил, что один. Милиционер попросил рассказать, как хозяин сада повредил ему руку. Петька чисто-сердечно признался: руку он сломал, упав с яблони, а что было потом, не помнит...

С неохотой уходил Петька в неласковый детский дом из уютной больницы. А в детском доме, в комнате воспитателей, ожидал его незнакомый усатый дядька.

— Я к тебе, хлопче, прийшов спасибо сказаты, — поклонился дядька, — шо не наклепав на менэ. И еще, — дядька кашлянул в здоровенный кулак, — хочу тэбэ до сэбэ забраты. Погостюваты. Пийдешь?

Конечно, Петька пошел. Приняли его ласково, искупали в бане, накормили украинским борщом с курицей, варениками с медом и насыпали в торбу целое ведро спелых-преспелых яблок...

В разговоре с хозяевами Петька пожаловался на длинного Борьку, который заставил их полезть в сад к таким хорошим людям. Мальчик все поглядывал на неправильно сросшуюся руку, и ненависть к проклятому Борьке переполняла его.

— Эх, был бы я постарше да посильнее, я бы этому Борьке! — сжимал он кулачки.

— Ничого, ничого, хлопче, — гладил его по голове хозяин, — попадется вин рано ли поздно. А ты завсегда говори правду. Запомни, хлопче,

в правде — сила... А кривда она рано ли поздно выплывэ. Борьку ж того я в вашем доме бачив. Ось, сукин сын! Через него и ты пострадал, и мэнэ, кабы не ты, в тюрьму законопатили б.

— Я ему отомщу! — пылко пообещал Петька.

— Гей, хлопче! Месть худое дело. Его наказания треба...

А через несколько дней воровливый Борька еле доплелся до детдома. Рубашка висела на нем кровавыми клочьями. Вся спина была в багрово-лиловых полосах, левый глаз заплыл огромным синяком.

Добрый ли хозяин попотчевал воришку или кто другой, в детдоме так и не узнали, потому что через несколько дней парнишка исчез, ударился в бега.

Но Петька твердо верил, что наказал ненавистного Борьку тот самый хозяин, и усвоил: со своими обидчиками, с теми, кто сильнее тебя, можно расправляться и чужими руками...

На фронт Петра Козина не взяли из-за криво сросшейся руки. Призвали со второго курса лесного техникума в трудовую армию и назначили писарем в штаб батальона.

Начальник штаба батальона лейтенант с бельмом на глазу был придиричивым командиром. Как-то он уловил запах спиртного от возвратившегося из увольнения Козина и тут же засадил его на гауптвахту.

Но в батальоне ни для кого не была секретом слабость лейтенанта: несмотря на свое бельмо, он был отчаянный женолюб. Козин заметил, что ефрейтор, вестовой начальника штаба, часто носит по адресам, указанным лейтенантом, записки, а то и какие-то пакеты. Вызвал ефрейтора на откровенный разговор.

— Открой мне секрет, Егор. Почему это бабы нашего бельмастого так любят?

— Они не его любят. Они... А! Надоело мне все это! — признался в сердцах ефрейтор. — При-тащишь колбасу, чай, сахар какой-либо мамзели, а ее дома нету. Ну, ждешь час, два... Придешь в часть, а он волком: где шлялся? Я тебя на гу-бу! Я тебе три наряда вне очереди! А сам на другой день опять посылает к другой мамзели. И снова: сахар, масло, тушенка, колбаса.

— Ну, никто, положим, не запретит лейтенанту отдавать любовницам свой паек, — подзадо-рил простодушного вестового писарь.

— Свой паек? — ефрейтор посмотрел на Козина иронически. — Да на столько баб даже генеральского пайка не хватит! От нас он отрывает, у нас крадет! А мне, веришь, стыдно таскать этим б... ворованное у своих же ребят.

— Так не таскай, — равнодушно предложил Козин.

— А толку-то? Меня он куда-либо на лесоповал упечет, другой таскать будет... Вот если бы от него избавиться...

— Так это же просто, — хлопнул по плечу ефрейтора Козин. — Судьба лейтенанта в твоих руках, Егор. — И, видя, что недогадливый вестовой даже рот разинул, продолжил, снизив тон: — Ты, когда он что-то прикажет тебе отнести к его б..., вывали это на стол комбату. А батя наш, ох, — Козин зажмурился, — строг! Три шкуры с вора спустит, погоны сорвет.

— Верно... Только, Петька, это предательством пахивает.

— Чудило! Пре-да-тель-ством! — передразнил его Козин. — Да тебе все начальство, все солдаты спасибо скажут! Ты же вора разоблачишь! Люди,

понимаешь, на фронте воюют, а он в тылу воюет.

Все вышло, как и предсказывал Козин. Ефрейтор оказался сильнее начальника штаба...

Когда кончилась война, Козин возвратился в родные места, в Уфу. Он поступил на работу в лесное управление. Специалистов не хватало, у Козина было за плечами два года учебы в лесном техникуме. Вот и направили его лесничим в отдаленный район, напутствуя: «Там води себя по-хозяйски, на тебя надежда. А техникум можно закончить и заочно».

Он успешно закончил техникум, быстро вырос до главного лесничего, считался специалистом толковым, человеком хотя и принципиальным, но сговорчивым. На это были основания.

Лесхоз, где он работал, располагался не в районном центре, а в большой лесной деревне. Была там больница, средняя школа, клуб, куда он ходил по вечерам. За короткое время Козин не только хорошо выучил башкирский язык, но и научился петь под гармонику башкирские песни, плясать национальные танцы. Местные девушки вздыхали по нем, но он, быстро заводя знакомства, так же быстро их и прекращал, то ли не находя среди местных красавиц себе ровню, то ли потому, что сам не знал тепла семейного очага и боялся зажигать свой.

Как бы то ни было, а не женился Козин долго. Однажды зимою поехал он по делам в соседнее лесничество. Накануне пробушевал буран, дорога была в переметах, но запряженная в легкую кошевку игренева лошадь бежала веселой рысью. Когда под тяжестью снега и наледи с треском рушились ветви деревьев, игренева всхрапывала, прыдала ушами, на мгновение будто спотыкалась, доставая мордой почти до снега,

потом распрямлялась и продолжала свой веселый бег.

Козин спешил. Зимний день короток. Ушастое от холода солнце стремилось поскорее спрятаться, отогреться среди деревьев. Но Козину в тулупе и лисьем малахе было тепло. Он рассеянно поглядывал по сторонам, изредка по привычке почмокивая губами да подергивая вожжи.

На полпути он нагнал женщину. Лишь услышав за собою храп коня, женщина сошла на обочину, обернулась. Козину бросились в глаза ее покрасневшие щеки и яркие голубые глаза, едва видневшиеся из-под заиндевевшего от дыхания пухового платка. Он натянул вожжи.

— Здравствуйте. Куда это вы пешком по такому морозу?

— В Кургашлы, — сказала она, перекладывая из руки в руку объемистую сумку.

Судя по лицу и выговору, это была русская. И прехорошенькая!

— Нам по пути, садитесь, — подвинулся Козин.

Путница радостно улыбнулась.

— Мой отец, когда вот так неожиданно кто-то его выручал, говорил: «А бог есть».

Козин тоже улыбнулся, принял от нее сумку, подал руку. Она удобно устроилась рядом, сумку устроила между ног. Поехали.

— Сама-то, небось, в бога совсем не веришь? — спросил Козин, чтобы завести разговор. Девушка обернулась к нему.

— А вы верите, товарищ главный лесничий? Козин от неожиданности натянул вожжи.

— Откуда вы меня знаете?

— Ну, вот, живя в лесу да не зная царя леса! — приятно рассмеялась попутчица.

Захохотал и Козин.

— Это вы меня так величаете за то, что я вас решил подвезти?

— Вы тут действительно царь и даже бог, — серьезно сказала девушка.

— Ну, ну, — похохатывал Козин. — А я-то, дурень, столько времени здесь прожил и не знал об этом.

Девушка промолчала...

Знал, знал об этом Козин. Советская власть далеко, директор высоко, как говорится, живем в лесу, молимся колесу. И казнил здесь Козин своей рукой и миловал. Но, оказывается, знали об этом и другие. Ну, что ж. Это даже и хорошо.

— А вы действительно в Кургашлах живете? — раздувал Козин потухший костерок разговора.

— Не верите, что ли?

— Да не встречал я вас там раньше.

— Наверное, не обращали внимания.

— На такую-то красавицу и не обратил бы? — игриво сказал Козин.

Девушка на комплимент не ответила. И вообще, сведенья от нее приходилось вытягивать чуть ли не клещами. И все же дотошный главный лесничий узнал, что она закончила педучилище, работала в этих местах преподавателем русского языка, в прошлом году поступила на биофак и теперь возвращается, сдав зимнюю сессию. Заочница, значит.

— Знакомое дело, — кивнул Козин. — Бывало, перед сессией ночей не спишь, все конспекты чужие, учебники штудируешь. А утром — каша в голове, — он засмеялся. Девушка повернулась к нему, обдала удивленным взглядом чистых-пречистых голубых глаз, и от этой чистоты и наивности Козин будто захлебнулся. Спросила:

— И вам пришлось учиться заочно?

Козин еще никак не мог оправиться от этого взгляда, потому прикрикнул на и без того резво бежавшую лошадку:

— Но-о! Обленилась...

Он и хотел и почему-то боялся снова встретиться с этими по-детски чистыми голубыми глазами. Сказал, глядя перед собой:

— Война многие наши планы порушила, прервала и мою очную учебу. Ну, а после войны стыдно было с мальчишками за одним столом сидеть. Пришлось работать и учиться... Но я не жалею. Работая, опыт приобрел, думаю, народу своему смогу что-то доброе сделать. — И пояснил: — Я ведь родился в этих местах. А вы как здесь очутились?

Он невольно обернулся к ней и встретился с ее взглядом. Вожжи чуть не выпали из его рук.

— Учителей русского языка не хватает. Тоже последствие войны... Но я не жалуюсь, что послали меня в эту глушь. Здесь живет трудолюбивый, сметливый, веселый, хорошей души народ. Башкирские дети, конечно, русский язык знают плоховато, но тем интереснее их учить.

— Как же они вас величают?

— Галина Сергеевна. А старуха, у которой я квартирую, дала мне башкирское имя Галия, — Галина Сергеевна улыбнулась, и Козин с замиранием сердца увидел на ее щеках милые ямочки.

— Ну, а меня вы, конечно, знаете... Козин... Петр Максимович.

День клонился к вечеру. Выпавший накануне снег был свеж и чист, он весело и щедро сеял повсюду лучи заходящего солнца, потому было светло. Вокруг стояла благостная тишина, нарушаемая лишь скрипом полозьев да пофыркиванием бодрой лошадки. Дорога то карабкалась в гору, то легко скользила под уклон. Ехать было

бы еще приятней, если бы попутчица не молчала. Но почему-то теперь, после знакомства, она на вопросы Козина отвечала односложно, а то и вовсе не отвечала. Придерживая у горла рукой в теплой варежке меховой воротник пальто, она сосредоточенно глядела на дорогу.

И все-таки, когда показались за бугром дымки, а потом, в ложине, и сама деревня, Козин пожалел, что пора расставаться. Чтобы оттянуть эту минуту, он спросил:

— Где вы живете, Галина Сергеевна?

— Рядом со школой... Да, спасибо вам, я тут сама доберусь.

— Э, нет, — покачал головою Козин. — Так у нас не делается.

Он подвез ее к небольшому деревянному дому, помог выгрузить тяжелую, набитую книгами сумку. Когда прощались, мелькнуло: не предложить ли ей встретиться? Но тут же понял, что с головою выдаст себя, и, дернув вожжи, покатил к дому местного старика-лесничего... Изредка он кидал взгляды на пустое, еще не остывшее место, на ровно вдавленное сено, которое он захватил и коню, и для мягкости, и чувствовал, что образовалась пустота не только в кошевке, но и где-то в его душе. Ноющая, как рана. Но сердце гнало тугими толчками кровь, и, когда он в который раз представлял пронзительно-голубые глаза Галины, становилось жарко и шумело в ушах.

Он не понимал, что за ужином говорил ему обремененный своими заботами лесничий, лишь мычал и поддакивал, не замечал, что ел да и вкуса не чувствовал. Сославшись на усталость, отказался глядеть телевизор, свалился в постель, мечтал, чтобы она ему приснилась.

А приснилось ему какое-то странное совещание, на котором все кричали: «Козина — в мини-

стры! Козина — в министры!» Еще снился красивый ледоход, а по берегам, по пояс в снегу — рыжие смеющиеся подсолнухи...

Утром, запрягая лошадь, он спросил старика лесничего:

— Вчера я вашу учительницу Галину Сергеевну подвозил. Знаете такую?

— А как же! Очень хорошая девушка. Живет на квартире у бабки Сакины. Вон их дом, — показал лесничий кнутовищем вдоль улицы. — Напротив школы.

Козин засмеялся:

— Вы мне и дорогу указываете, агай? Я ведь не спрашивал, где она живет.

— Ге, товарищ главный лесничий. Дорога туда, где есть девушка, травой не зарастает и снегом не засыпается! Вы ведь парень еще? Глядишь, — старик подмигнул, — я сватом вашим буду. — И повторил, цокая языком и покачивая из стороны в сторону головой. — Хорошая девушка Галина Сергеевна.

— Ладно, — засмеялся Козин. — На свадьбу, может, и приглашу, а насчет сватов... — он дернул вожжи. — Но-о!

Он вдруг понял, что не может вот так уехать, не повидав Галину. Пожалуй, признался он себе, в этой решительности сыграли роль и похвалы учительнице старого лесничего. Пустив игреневую чуть ли не вскачь, он осадил ее у дома, где квартировала поразившая его сердце вчерашняя попутчица.

Козин специально не надел поверх кожаного пальто тулуп, чтоб не казаться неуклюжим, пожалел даже, что не в хромовых сапогах, а в валенках...

Он постучал согнутым пальцем в дверь и, не дожидаясь ответа, толкнул ее, прошел через длин-

ные сени, постучал во вторую дверь и снова, не дожидаясь приглашения, вошел. Клубы морозного пара, как продрогшие пушистые котята, шмыгнули вместе с ним в комнату, покатались под стол, за которым при лампе сидела над стопой тетрадок Галя, под старенькой буфет, под широкие деревянные нары, где, укрытая лоскутным одеялом, лежала желтолицая старуха.

— Здравствуйте, — бодро сказал Козин. — Не ждали?

Учительница поднялась (на лице изумление) и, будто не зная куда девать руки, зябко потерла ладошки, потом сунула их под пуховый платок, накинутый на плечи.

— Да, признаться... — начала было она и запнулась. Вытащила из-под стола еще одну табуретку.

— Проходите, Петр Максимович, садитесь.

— Может, помешал? — спросил Козин, однако прошел, сел, снял шапку, пятерней поправил густые каштановые волосы.

— Что вы! Что вы! — замахала руками Галя. Она быстро собрала тетради и книги. — Урок у меня только послезавтра, это я просто соскучилась за время сессии по ученическим тетрадкам... Хотите чаю? У нас самовар еще не остыл. — Она, не дожидаясь ответа, бросилась на кухню. Козин взглядом проводил ее ловкую, одетую в строгое коричневое платье фигурку, одновременно примечая обстановку в комнате.

Здесь царила учительская чистота и аккуратность. Мебель, конечно, не богатая — железная никелированная койка, застеленная кружевным покрывалом, старый книжный шкаф, где за стеклами сверкали корешки каких-то книг, стол, накрытый льняной скатертью, деревянные нары.

Старуха вдруг поднялась с них, села и уставилась на Козина.

Галина ставила на стол сахарницу, вазочку с вареньем, тарелочку явно городских баранок... Пальцы ее подрагивали. Это Козин наблюдал с удовольствием. Он видел, что учительница растеряна и в то же время, судя по ее покрасневшему лицу, по глазам, в которых метались голубые искры, рада этому неожиданному вторжению...

Наконец, поставив две большие чашки крепко заваренного чая, она села, подвинула Козину варенье из жимолости.

— Угощайтесь, Петр Максимович. Может, хоть так отплачу вам за вашу доброту.

Козин, хлебнув из чашки, зажмурился, — чай был действительно ароматен, наверное, в заварке не обошлось без местных целебных трав, — поцокал языком:

— Ай да чай!

— Это бабушкин сбор, — кивнула Галина на старуху-истукана. Та ничего так и не промолвила. Девушка пояснила:

— Глухая она и по-русски почти не понимает. Послушали бы вы, как мы с нею объясняемся, — она опустила голову, заулыбалась, и опять на ее щеках вспыхнули ямочки. Козину показалось, что сердце его вот-вот лопнет от переполнившего счастья. Его понесло.

— Да я вас, Галина Сергеевна, согласен всю жизнь возить бесплатно! Я, когда вас рассмотрел...

— Ах! — вскрикнула девушка, всплеснув руками, и от этого «ах» Козин запнулся, протрезвел. — Что же вы в пальто, Петр Максимович! Снимайте, вешайте вот сюда, — показала она на вешалку в углу. Но сама протянула руки, и когда Козин, отдавая пальто, нечаянно их коснулся, то

ему почудилось, что его ударило электрическим током. «Да что же это со мною? — радостно-тревожно думал он. — Это, наверное, и есть любовь? Пожалуй, в ее глазах я круглый дурак. В кино и в книжках влюбленные похожи на идиотов... Спокойно, спокойно. Надо взять себя в руки».

Помешивая чай, он расспрашивал:

— Трудно приходится, Галина Сергеевна, в этой глуши? Да и скучно, небось?

— Все бывает, — просто сказала она. — И тоска иной раз и... Но я стараюсь не поддаваться. Днем — в школе, а по вечерам хожу к отстающим на дом, занимаюсь с ними русским языком. Все время на людях, с людьми...

— А я, знаете, Галя, сегодня вас во сне видел, — зачем-то соврал Козин.

Девушка вздрогнула, ресницы взлетели вверх-вниз, потупились. Но женское любопытство перебило смущение:

— Как видели?

— Хорошо... В белом платье.

— Ох, это к болезни! Вот если бы в розовом.

«А, черт! — ругнул себя Козин. — Надо бы сказать в розовом».

— Да неужели вы, современная женщина, в сны верите? — засмеялся он. — И еще учтите: большинство людей видят черно-белые сны. А если бы я вас увидел в черном платье?

Галина махнула ложечкой:

— Да не верю я в сны. Так ляпнула, по привычке.

Козин поднялся.

— Спасибо за чай, пора мне.

Пока он надевал и застегивал пальто, Галина стояла будто виноватая, спрятав руки под шалью, на груди.

Он протянул ей руку, и она, выпростав из-под шали свою ладошку, несмело вложила ее в широченную ладонь Козина.

— До свиданья, Галя, — сказал с чувством Петр Максимович. — Теперь я полечу, как на крыльях.

Девушка подняла на него взгляд, и теперь холодно и трезво, но с радостью и спокойным удовлетворением Козин прочитал то, что хотел прочитать...

Через месяц Галина и Петр зарегистрировались и сыграли скромную свадьбу...

Детей почему-то четыре года не было. Нина родилась, когда Козину перевалило за тридцать...

VII

Козин жил неподалеку от конторы в нарядном бревенчатом доме, крытом оцинкованным железом и обшитом стругаными досками. Каждую весну доски красили огненно-рыжей охрой, ставни широких окон голубой, цвета хозяйкиных глаз, краской, резные наличники — ослепительными белилами, потому уютный, не очень большой дом директора и казался таким веселым, задиристым, вроде симпатичного петушка.

К тому же дом со всех сторон, не считая улицы, утопал среди фруктовых деревьев. Петр Максимович сам их сажал когда-то, очень ими гордился и всегда пользовался случаем показать сад гостям. Вот и сейчас он потащил Ильгاما в глубь двора, на ходу поясняя, где какой сорт яблонь, груш, слив. Среди сада был небольшой, тщательно ухоженный огород. Тут проглядывали и плети огурцов, и грядки салатов, капусты, моркови, свеклы. Вдоль заборов топорщились ветки мали-

ны, кудрявились еще зеленые гроздья смородины, зелеными ежами — кусты крыжовника. Увидев на грядках клубники красные крупные ягоды, Гильман искренне удивился.

— Впервые вижу так рано созревшую клубнику на нашей земле. Как вам это удалось?

Козин, сияя, как мальчишка, потер руки:

— Секрет. Секрет. Я да моя хозяйка знаем, если ты ей понравишься, откроет. Да ты не стесняйся, рви которые на тебя смотрят.

И сам подавая пример, нагнулся, кинул одну за другой несколько ягод в рот. Жуя, быстро говорил:

— Сад — мое прибежище после работы. Придешь, в голове кавардак, на сердце — камень, устал, как черт, а возьмешь лопату или грабли, повкалываешь — и куда чего делось! Самая великая радость — работать на себя.

Гильман не успел поразмыслить над этими словами — он тоже, присев на корточки, аккуратно уничтожал чудо-ягоду, — как послышался знакомый насмешливый голос:

— Поберегите животы! Ягоды-то еще незрелые!

— А, Ниночка, — поднялся Козин, — вот, встречай гостя.

— А, грозный лесничий прекрасного Каратау, товарищ Тулкусурин? Все-таки напросился в гости?

Ильгам развел руками, а Козин полуобнял его.

— Он не напрашивался, он отказывался, — и погрозил дочке пальцем. — А ты, сорока, будь поучтивее. Вот обидится наш гость и уйдет.

— Никуда он не уйдет, раз пришел, — отрезала девушка и незаметно для отца показала Гильману розовый язычок. — Прошу к столу, ку-



шать подано! Однако прежде, товарищ лесничий, не желаете ли умыться? На вас пыль дальней и трудной дороги. Вот там колонка, мыло. Полотенце я сейчас принесу.

Раздевшись до пояса, Гильман с удовольствием ополоснулся ледяной водой из артезиана, согнал ладонями влагу с тела, выпрямился. Перед ним стояла Нина с полотенцем на руках. Она каким-то образом сумела за эти минуты переменить платье — была теперь в цветастом сарафане с глубоким прямым вырезом, и парень безуспешно старался не смотреть на ослепительно белые по контрасту с загорелой шеей и плечами половинки крепких, не испорченных лифчиком грудей, на кудрявые рыжеватые волоски под мышками, когда она поднимала руки, набрасывая ему на шею полотенце.

Наверное, вид у него был глуповатый, поскольку дерзкая девушка спросила:

— Чего уставился, товарищ начальник? Не узнаешь?

— Какая-то ты не такая, — выдавил он против своей воли.

— Ты думал, я и сплю в шоферском комбине-зоне?

Гильман молча вытирался.

— А, знаешь, я почему-то чувствовала, что ты сегодня придешь. Не веришь? Вот, ей-богу!

Гильман совсем обалдел, спасибо, она перевела разговор на другую тему.

— Бригадир хвастался нашим садом-огородом?

— Какой бригадир?

— Петр свет Максимович. Это он на работе директор, а тут, в саду, в огороде, — бригадир. Мы с мамой работаем под его умным и чутким руководством. Ну, айда в залу!

Она увлекла Гильмана за руку. У двери, ведущей, вероятно, в гостиную, их встретила миловидная голубоглазая женщина, очень схожая с Ниной.

— Галина Сергеевна, — представилась хозяйка мягким грудным голосом. Гильмана поразила небесная голубизна ее глаз. Он хотел назвать себя, но Нина его опередила:

— А это — Гильман Тулькусурин, грозный лесничий Каратау. По вине товарища Тулькусурина я тогда возвратилась из рейса лишь ночью.

Гильман хотел было запротестовать, Галина Сергеевна тоже собрала вместе как для взмаха черные брови-крылья и открыла рот, но Нина продолжала:

— Впрочем, если бы не его оттаявшее сердце, я бы тогда совсем не ночевала дома. Ну, к столу, к столу, — и потащила Гильмана в большую комнату, посреди которой стоял стол, уставленный яствами.

Гильман с первого взгляда оценил изящество и простоту убранства этой «залы». Никакого хрустала, позолот, цветков в дурацких горшках — лишь в самом углу в маленькой зеленой кадке — деревце комнатного лимона с маленькими, чуть желтыми плодами, на полу большой недорогой ковер, в другом углу — телевизор далеко не последней марки, вдоль стен — застекленные полки с книгами.

Появился, вытирая шею маленьким полотенцем, Козин, прогудел:

— Нут-ка, нут-ка, чем нас тут потчевать собираются?

Петр Максимович с шумом втянул в себя воздух:

— Вкусно пахнет и чую родимый русский дух! Ах, мать, — балагурил он, берясь за горлышко

пузатого графинчика, где в прозрачной жидкости плавали какие-то травки, — люблю тебя за это.

— Ну, если только за это, тогда дело плохо, — усмехнулась будто бы обиженно Галина Сергеевна.

— Не только, не только, — продолжал хозяин, разливая водку в крохотные рюмочки. — Ну, за все хорошее.

Нина к своей рюмке не притронулась, Галина Сергеевна чуть пригубила, а мужчины хватили одним глотком.

— А! — крикнул Петр Максимович, подхватил вилкой маринованный грибок, захрустел.

— Сынка, я тебе, кажется, говорил, в мае проводили в армию, Галина Сергеевна преподает в школе русский язык, а эта девушка — джигит, — потрепал он дочь по плечу, — подала заявление в сельхозинститут.

Но Нина и шутку, и сообщение отца приняла хмуро, досадливо сбросила его руку, принесла поднос с чаем и сладостями и, не попрощавшись, ушла к себе.

— Надо к экзаменам готовиться, — вздохнула Галина Сергеевна, пытаясь сгладить выходку дочери.

— Как говорится, не могу надивиться на свою дочь, — чуть ли не пропел хозяин, наливая себе и гостю. Чокнулся, выпил, зажевал свежим огурчиком. — Без нашего с матерью ведома закончила курсы шоферов, теперь вот в институт собирается поступать. И, думаешь, на какой фак? Биологии? Агрономии? Планово-экономический? — потрясал вилкой Петр Максимович. — Не угадал! — стукнул ею о стол. И, отбивая такт, протянул: — Ме-ха-ни-за-ции! Девичье ли это дело всякие железки?

— Ах, Петя, — вздохнула жена. — Сейчас и не поймешь, что девичье, а что не девичье. Было бы по душе.

— Так-то оно так, — задумчиво проговорил Козин, прихлебывая чай. — Только...

Он быстро допил свою чашку, встал.

— Айда, Гильман Ильгамович, на улицу, воздухом подышим.

Уже смеркалось, но духота стояла прежняя. На западе края редких туч кровенели рваной каймою, а над головами небо было цвета вылинявшей, подсиненной рубахи. Они сели на скамейку под яблонями, Козин достал трубку, набил ее из маленького, шитого бисером кисета. Раскурил, пыхнул. Дымок повис сизым облачком.

— Засуха, — проговорил Петр Максимович. — Плохо дело. Коли она протянется недели две-три, жди нашествия всяких листожорных гусениц. Пропадут леса, если сейчас не принять самые строгие меры. Вот о чем думать надо, — Козин зло пыхнул трубкой, — а не прожектами заниматься.

Гильман насторожился, решив, что директор начнет опять нападать на его «месячник покоя», но Козин как будто продолжал с кем-то прерванный спор.

— Новшество, новшество, дорогу ему, дороге! А не хотят взвесить: всегда ли новое лучше старого? Как думаешь, Гильман Ильгамович?

Тулькусурин понял, что Козин продолжает свой спор с Муратовым, но существа этого самого «новшества» он до сих пор не знал, поэтому довольно резко ответил:

— Понимать иносказание, Петр Максимович, я не мастак. И вы, и Ражапов говорите «новшество, новшество», а в чем его суть, я и представить не могу.

— Потерпи, узнаешь. А чтобы не забыть, запомни: министр велел на завтрашнее совещание пригласить всех техников, мастеров, бригадиров, лесников. Так что с утра пораньше позвони своим, пусть едут. — Козин выколотил о каблук трубку, вдавил пепел в землю, криво усмехнулся: — Опо-ру в народе ищет, гласности жаждет. А то, что сотни людей от работы оторвет, ему наплевать!

— Да в чем дело-то! — почти выкрикнул Гильман. — Что Муратов предлагает?

— Твой кумир-то? — Козин оперся кулаками о колени. — Вредное он дело предлагает! Создать для руководства лесхозами суперобъединение, одно на три-четыре района. Этакие миниглавки! Ты-то, конечно, не помнишь, а мы на своей шкуре испытали увлечение гигантоманией. В начале шестидесятых годов Хрущев носился с идеей межрайонных объединений, и все кричали «ура!» Все хлопали. А когда укрупнили колхозы, совхозы, районы, оказалось, что они из-за огромных размеров почти неуправляемы. До сих пор разукрупняем! Так нет же, урок не всем пошел впрок.

— Но ведь, насколько я понял, — осторожно начал Гильман, — лесхозы не объединяются.

— Зато начальства становится больше! Если, скажем, возникнет у меня какой-либо вопрос, я должен сначала пробовать решить его на уровне этого самого миниглавка, то бишь объединения, а не решу, только тогда — в министерство. Из опыта своего скажу, еще никогда такое ступенчато-переступенчатое руководство никакой пользы не приносило. Только плодило бюрократов!

— А по-моему, Петр Максимович, создание головного предприятия позволит многие вопросы решать на месте, а не ехать по каждому пустяку в Уфу.

Козин посмотрел на него иронически.

— Верный ученик намерен подпевать учителю?

Гильман пожал плечами, попробовал отшутиться:

— Что ж тут зазорного, если песня по душе? — положение гостя не позволяло быть ему резким.

Козин насупился.

— Значит, ты предложение министра полностью разделяешь?

Гильман чистосердечно признался:

— Не знаю, так как толком не представляю, что это за предложение.

— Не представляешь, не представляешь, — засопел директор и снова начал набивать трубку. — Эх, молодежь, молодежь, — он покачал головой, чиркнул спичкой, раскуривая. — Чуть куда ветер дунет, гнетесь, как тростинки: свежий ветер! Новый опыт! М... м. — Козин наконец раскурил трубку, окутался клубами дыма. — Да ведь тебя поставили хозяином над более чем ста тысячами гектаров не для того, чтобы нос по ветру держал и опыты всякие ставил. Ты лес расти, лес вали, план давай! Страна строится! Страна без бумаги задыхается! А вы: новшество! Эксперимент! — Козин затаился, похоже, немного успокоился: — Ты, может, сошлешься на опыт Прибалтики: там-де полным ходом идет специализация и перестройка лесного хозяйства. Да, газеты поднимают на щит их опыт. Но ведь, милый ты мой, ко всякому делу надо подходить, исходя из местных условий! Скажем, если соединить леса трех-четырех лесничеств Литвы, и то там деревьев столько не будет, сколько в одном твоём!

Козин положил потухшую трубку на лавку, вытер широкий лоб большим клетчатым платком.

— Уф, как подумаю, что нас ожидает, если это бредовое нов-шест-во обретет жизнь, пот прошибает!

— Может, это оттого, — осторожно сказал Гильман, — что обожглись в те годы?

— Да нет. Лесхозов ведь тогдашняя лихорадка укрупнений не коснулась. А теперь вот видишь, кое-кого и у нас залихорадило...

Директор доверительно положил руку на колено лесничего.

— Гильман Ильгамович, дорогой... Поверь, добра от этого не будет! Ты человек умный, достаточно опытный... Я знаю, ты преклоняешься перед Муратовым, я тоже его уважаю, но, поверь, и кумиры ошибаются. Сколько их было на моей жизни! — Козин покрутил головой. — Сначала аллилуйя пели, на пьедестал подсаживали, а потом веревками с пьедестала стаскивали.

— К чему вы все это, Петр Максимович?

— К тому, чтобы ты не повторял чужих ошибок! — Козин больно сжал его колено. — Нам завтра надо держаться вместе.

Тулькусурин прикусил губу. Вот оно что! Вот почему директор срочно вызвал его, пригласил поужинать... Единомышленников вербует!

— Ну, что скажешь?

— Петр Максимович, но ведь коли министерство начало эту перестройку, то к нашим голосам оно не очень прислушается.

— Э, молод ты, неопытен... Думаешь, в других лесхозах муратовские прожекты встречают с распростертыми объятиями? Как бы не так! Я-то уж знаю! Представь: мы не согласны, другие, третьи и сам же Габит Салихович похерит свою эту самую «перестройку».

— Я Габита Салиховича хорошо знаю, — возразил Гильман, — он, не отмерив семь раз, не

отрежет. А если за что-то возьмется, пока не сделает, не отступит.

— Старый дурак я! — постучал себя кулаком по лбу Козин. — Зачем с тобою завел этот разговор! Ведь Муратов для тебя не просто кумир. Он для тебя — бог!

— Я себе ни кумиров, ни богов, Петр Максимович, не творю, — твердо сказал Тулькусурин. — Но, вспомните, кто, как не Муратов, подал идею совместного ведения лесного и охотничьего хозяйств? И получилось! А сколько было противников?

— Только не я! — Козин поднял перед собою ладони, как бы защищаясь. — Я первый поддерживал его предложение. Уж полезное от вредного, поверь, отличить могу.

Директор снова выбил о каблук трубку, пососал ею, прочищая, сунул в карман.

— И вот что я тебе скажу откровенно, товарищ Тулькусурин, я не смогу работать с людьми, тянущими воз от столбовой дороги в сторону. Понял? А теперь айда спать. День завтра будет трудным.

Он круто повернулся и, не оборачиваясь, пошел в дом, а Гильман застыл, размышляя. Пугает Петр Максимович освобождением от работы? Чего-чего, а этого Гильман не ожидал. Ему не хотелось идти в дом, под одну крышу с человеком, который опустился до самого низкопробного шантажа, но из коридора донесся бас хозяина:

— Нина, постели гостю, — и его удаляющиеся шаги.

Нина вышла на освещенное крыльцо. В халатике, расписанном крупными цветами, она была прелестна.

— Эй, грозный лесничий! Ты что, всю ночь решил караулить своего железного коня или гнать его в ночное? Заходи в дом!

Гильману стало как-то сладостно-беспокойно и от ее вида, и от ее звонко-насмешливого голоса. Сдерживая волнение, он поднялся на крыльцо, стал перед девушкой. Та без смущения, чуть улыбаясь, глядела ему прямо в глаза.

— Знаешь, Нина, — волнуясь и запинаясь, начал Гильман, — когда ты уехала на ночь глядя, мне мерещилось бог знает что.

— Что же именно?

— Да что машина поломалась и сидишь ты одна в глухом лесу, а вокруг бродят медведи.

Нина фыркнула.

— Я же говорила, что медведей не боюсь, а машина у хорошего шофера должна ходить без поломок... Но за беспокойство спасибо. Хоть один начальник пожалел бедный шоферский народ.

Она, взяв пальчиками полы халата, присела, потом шмыгнула на веранду.

Глядя, как она быстро и ловко стелит ему постель, Гильман поймал себя на мысли, что любит ее, что она затмила грубоватую, хотя и милую, Зубаржат.

— Пожалте почивать, товарищ начальник, — Нина сделала жест рукою в сторону дивана. — Спокойной ночи.

Гильман лег, устроился поудобнее, смежил глаза, но сон, конечно, не шел. События этого дня будоражили воображение... Вдруг Нина опять появилась на веранде, подошла на цыпочках к его дивану, шепотом спросила:

— Ты еще не спишь?

— Нет.

— Может, тебе холодно? Принести теплое одеяло?

У Гильмана на языке уже вертелся замысловатый комплимент вроде: «Я согрет твоим взглядом», но он вовремя сдержался, сказал только:

— Ну что ты!

— Тогда спи. Спокойной ночи.

Но она почему-то не уходила. Скрестив руки на груди, она стояла так близко, что Гильман слышал ее дыхание, ощущал пьянящий запах ее тела.

— Знаешь, — совсем тихо прошептала девушка, — я была почему-то уверена, что сегодня тебя встречу. Ну, спи.

Она, чуть скрипнув дверью, пропала, а Гильман, приподнявшись на локте, долго смотрел на темный четырехугольник двери, за которой исчезла Нина, зная, что она больше не появится, и все-таки ожидая ее...

Забылся Гильман лишь под утро, а когда очнулся, в окно веранды сочился рассвет.

С Козиным встречаться не хотелось, а Нину он почему-то стеснялся видеть. Чтобы не разбудить хозяев, Гильман осторожно оделся, выскользнул наружу, тихонько омыл под колонкой лицо, вытерся носовым платком. Воровато оглянувшись, сорвал краснобокое яблоко, пожевал, морщась, и пошел в районный узел связи...

Было уже шесть утра, когда он дозвонился до лесничества, приказал сторожу немедленно оповестить специалистов, чтобы срочно явились в райцентр на совещание.

Девушка-телефонистка, узнав его, прощепетала:

— Между прочим, товарищ Тулькусурин, вам на участок ночью звонил председатель исполкома товарищ Юлдашбаев.

— Зачем? — удивился Гильман.

Девушка пожала плечиками, сказала с капризным сожалением:

— Мне он не докладывал.

«Надо зайти в райисполком, заодно поговорить и о месячнике», — решил лесничий.

Он еще побродил по центру, позавтракал в кафе, купил свежих газет и в половине девятого поднялся по райисполкомовской лестнице.

Секретарши в приемной не было, она, Гильман знал, обычно приходила к девяти часам, поэтому он, постучавшись, толкнул обитую черным кожаным материалом дверь. И растерялся. У Юлдашбаева сидел первый секретарь райкома партии Саюшев.

— Здравствуйте!.. Извините... — Гильман попятился, — я потом зайду.

Но Юлдашбаев встал из-за стола, картинно раскинул руки:

— А, прячущийся лесничий пришел! Ни дома тебя нету, ни, как говорится, на поле, то бишь в лесу. Проходи, садись.

Гильман нерешительно топтался у двери, видя, как с нескрываемым интересом смотрит на него Саюшев.

— Никита Барович, это один из наших лучших лесничих Гильман Ильгамович Тулкусурин.

Секретарь райкома встал, крепко пожал руку:

— Слышал, слышал. Жаль, не довелось познакомиться раньше.

— Между прочим, закончил Ленинградскую лесную академию, — с гордостью продолжал предрик, — сбежал из министерства к нам!

— Вот как? — в глазах Саюшева мелькнуло одобрительное удивление.

— Гильман — внук знаменитого батыра Тулкусуры! — закончил Юлдашбаев.

— Вот уж не знал, что у легендарного Туль-

кусуры есть внук, — развел руками Никита Барович.

— Многое проходит мимо наших глаз и забот, — вздохнул Юлдашбаев.

— А главное, — подхватил секретарь райкома, — судьбы человеческие, человеческая жизнь! Вот пример: живем в лесу, а лесничих не знаем, — горько покачал головою Саюшев.

— Правильному слову — возразить нечего, — поддакнул председатель райисполкома. Вздохнул, придвинул к себе какие-то бумаги. — Посиди несколько минут, Гильман Ильгамович, мы сейчас кончим.

Гильман взял «Блокнот агитатора» и стал его сосредоточенно изучать.

— Так вот, Никита Барович, — продолжал прерванный разговор Юлдашбаев, — удобрения мы за две-три недели вывезем. Но для этого придется занять почти весь транспорт. А кирпич на строительство комплекса? С понедельника там все работы станут, если не подвезем кирпич.

Саюшев, потирая подбородок, протянул:

— Да-а... Комплекс надо сдать до «белых мух», а то поморозим, к шайтану, скотину. Вон сколько племенных нетелей навезли! Поспешили явно... Да... а... — И вдруг он оживился: — А что если завтрашнюю субботу сделаем ударной? Попросим лесхоз, промкомбинат, РМСУ, другие организации выделить на полдня машины, трактора с тележками на вывозку кирпича? Как думаешь, Барый Максютрович, пойдут нам люди навстречу?

Юлдашбаев вздохнул.

— Ну, кое-кто, конечно, ныть начнет...

— Нытики нам не нужны! — резко оборвал Саюшев. — Обзвони сегодня всех и попроси от имени исполкома и райкома партии.

Саюшев поднялся:

— Не буду вам мешать.

Встал и Гильман, сказал, волнуясь:

— Никита Барович, может, и вы послушаете?

Саюшев вопросительно посмотрел на Юлдашбаева. Тот развел руками:

— Товарищ Тулькусурин давно просился на прием, знать, у него что-то важное. Давай слушаем.

Гильман, понимая, что у руководителей района впереди совещание, коротко, но четко изложил свою идею проведения «месячника покоя».

— Любопытная идея, — одобрил Саюшев, а предрика поинтересовался:

— В сельсовете об этом знают?

Лесничий вздохнул:

— Знают... Потому к вам и пришел.

— Ясно! — хлопнул ладонью по столу Юлдашбаев. — А что Козин?

— Петр Максимович руками и ногами против. Убежден, что мы будем весь месяц бездельничать. А у нас помимо работы в лесу дело — во, — чиркнул себя Гильман ребром ладони по горлу.

— А что, Никита Барович, — прищурил и без того узкие глазки Юлдашбаев, — Козина я понимаю, но Тулькусурин предлагает дело.

— И хорошее дело! — подхватил секретарь райкома. — Этот, ну, карантин, что ли, вы намереваетесь проводить ежегодно?

— Хотелось бы.

— Очень хорошо! Барый Максютрович, скажите Козину, чтобы не мешал товарищу Тулькусурину. Пусть лучше подумает, как бы провести такие месячники в других лесничествах района... И вот еще что. Надо дать в районной газете статью и объявление об этом месячнике, а то, не

ведая о нем, будут по привычке всякие организации слать в Каратау машины и людей.

Саюшев крепко пожал Гильману руку, сказал, глядя прямо в глаза:

— Рад был познакомиться. Коль возникнет нужда, заходите.

Он вышел, а Юлдашбаев подмигнул Тулькусурину:

— Видал? Первый на тебя глаз положил. Теперь в гору пойдешь!

Гильман пожал плечами:

— Я и не думаю об этом, Барый Максютovich.

В это время в кабинет вошел Муратов. Увидев Гильмана, засветился улыбкой, протянул обе руки:

— Здравствуй, Гильман Ильгамович! Живой-здоровый? — и протянул руку Юлдашбаеву. — Учишь молодежь уму-разуму?

Тот пожал ладонь министра как-то вальяжно, даже не встав с кресла.

— Научишь тут... Он, — мотнул головой в сторону лесничего, — сам нас, стариков, только что учил.

— Вот как? — министр сел, обратился к Гильману. — Хочу и я поучиться.

Гильман сжато изложил свои планы проведения «месячника покоя».

— Молодец! — возликовал Муратов, хлопнув Гильмана мощной ладонью по плечу. — Хотя такое давно делается в некоторых зарубежных странах, я сам хотел у нас внедрить, а ты меня опередил. Молодец! Как привыкаешь на новом месте?

— Да какое же оно новое! — каркнул Юлдашбаев. — Уже год, считай, здесь.

— Воюешь с Козиным? — допытывался министр. — А как там старый Бикмурат? Давненько я его не видел.

Гильман рассказал, ничего не утаивая, и об отношениях с Козиным, и о деде Бикмуре, поделился своими заботами по перестройке работы лесничества. Муратов и Юлдашбаев дали много дельных советов по проведению «месячника покая». Гильман со стыдом понял, что готовил его поверхностно, что неизбежны противодействия и накладки, и чем меньше их будет, тем больше пользы принесет этот неслыханный в Башкирии месячный праздник для зверей и птиц.

Поднявшись, Муратов пообещал:

— Если время будет, приеду к тебе в Каратау. Там договорим.

Гильман вышел из кабинета в приподнятом настроении.

VIII

Хотя до начала совещания было еще около часа, и перед лесхозом, и в конторе кишел народ. Все оживленно переговаривались, а работники конторы буквально бегали по тесным коридорам... Прибыли и каратауские, не было видно лишь Зубаржат. Как бригадир лесопитомника, она должна была непременно присутствовать здесь, но почему-то не приехала. Вон не посчитался с годами и расстоянием даже старик Янтура. Стоит, выпятив грудь, воинственно закрутив усы.

Старика заметил подъехавший Муратов:

— Здравствуйте, дорогой Янтура-агай, — протянул ему руки министр, — как поживаете?

Янтура браво крутнул ус:

— Не сдаемся! А усы ведут себя как надо: когда сам сержусь, топорщатся, когда старуха ругает — повисают.

Муратов засмеялся:

— А как поживают твои медведи, лоси?

— У них жизнь полегче нашей: дашь — едят, не дашь — самого съедят, — и засмеялся вместе с министром, утирая уголки глаз согнутым корявым пальцем. — Только я, министр-кустым, уже не там. Передал вольер сыну Ишмурзе, а сам опять в лесники подался.

— Молодец, Янтура-агай! Вижу, старость тебя не берет.

— Гей, нельзя мне стареть! — Янтура обнажил ровные белые зубы. — Я еще и глотку, и проволоку перегрызу. Иной раз мастерю что-либо да и вместо плоскогубцев зубами воспользуюсь, так отец шипит: «Чертов мальчишка! Зубы поломаешь, чем на старости лет жевать будешь?» А мне уже под семьдесят! — Янтура опять захохотал, ударяя себя по ляжкам.

— Не зря в народе говорят, — промолвил Муратов, тоже утирая слезы смеха, — смерть отца старит сына, смерть батыра старит страну.

— Потому-то при живом отце, — подхватил Янтура, — я и считаю себя молодым!

Муратов подошел к нему поближе, согнал с лица улыбку:

— Янтура-агай, хочу к вам в лесничество съездить, поглядеть, с народом поговорить.

— Хорошее дело, — одобрил старик.

— А сегодня выступи. Поделись опытом, скажи, что у тебя на душе.

— Да уж я скажу! — Янтура опять начал крутить усы, победно поглядывая по сторонам: все ли видели, как он на равных разговаривал с самим министром?

Козин открыл совещание ровно в назначенное время. Он представил собравшимся президиум совещания: министра лесного хозяйства республики Габита Салиховича Муратова, первого секретаря райкома партии Никиту Баровича Саюшева, председателя райисполкома Барыя Максютovichа Юлдашбаева, передовиков производства.

Такое представительное совещание в истории лесхоза проводилось впервые, поэтому в зале застыла настороженно-заинтересованная тишина.

Козин сжато доложил о достижениях лесхоза, еще короче сказал об упущениях и ошибках, в меру покритиковал себя за мягкость, излишнюю доверчивость и закончил, обращаясь к министру:

— Уважаемый Габит Салихович! Разрешите от имени всего нашего коллектива выразить уверенность, что работники нашего лесхоза план новой пятилетки выполнят, как всегда, досрочно. Для этого у нас есть все возможности.

Многие подметили, что директор сделал ударение на словах «все возможности», но не все поняли, почему он это сделал.

Козин предоставил слово Муратову.

Начал министр свое выступление несколько необычно.

— Я приехал к вам не вас учить, а самому поучиться, посоветоваться по некоторым давно назревшим вопросам в нашем большом хозяйстве. Эти проблемы требуют скорейшего разрешения.

Далее он коротко рассказал о богатых природных ресурсах республики, о том, как они используются, при этом акцентировал внимание собравшихся на случаях расхлябанности и беспхозяйственности, отчего в лесах полыхают пожары, загрязняются реки, воспроизводство леса отстает от его заготовок.

— Вы, товарищи, выполняете большую работу, — продолжал министр, — и за это вам от всей души спасибо, — он приложив руку к сердцу, слегка поклонился. — Но полностью ли мы используем наши возможности? Почему половина высаженных нами деревьев не приживается? Одна из причин этого скорбного явления — кустарщина. Говорят, от худого семени не ждут хорошего племени. Мы же ждем это племя, добывая семена из шишек, высушенных на печке! — В зале послышались сочувственные смешки, шепот. — А как мы используем сучья, ветви сваленных деревьев? В лучшем случае они идут на дрова, обычно же бросаем гнить в лесу! Но и те стволы, что привозим на лесопилки, как используем? Делаем доску, режем на дрова... Вот, пожалуй, и все. Но ведь передовые лесхозы Союза уже давно имеют свои промышленные комбинаты, где изготавливают недорогую мебель, доски для разделки овощей и мяса, колеса на брички, держак лопат, вил, топоры... Да мало ли что! Даже кора идет в дело: из нее плетут корзинки, вяжут тески, вырезают игрушки, поплавки для удочек... Может ли даже ваш, передовой в республике лесхоз, похвастать чем-либо подобным?

Муратов, подняв стакан с водою, выжидательно посмотрел в зал, но тот ответил робким гомоном и тихим шушуканьем. Гильман наблюдал, с какой иронической улыбкой, вертя между пальцами карандашик, сидел в президиуме Козин. Вот он зачем-то постучал карандашиком по графику, хотя в зале особого шума не было. Саюшев и Юлдашбаев о чем-то озабоченно шептались.

Муратов отхлебнул глоток воды, продолжал:

— Но начини некоторым товарищам говорить об этом, они сразу найдут тысячу отговорок, чтобы не заниматься хлопотливым, но нужным наро-

ду делом. Нету, говорят, гвоздей, шурупов, клея и так далее и тому подобное. Мне же кажется, что у этих людей нету самого главного: желания перестраиваться, идти в ногу со временем!

Зал взорвался аплодисментами. Гильман не жалел ладоней.

— Если бы мы этим занялись в свое время, неизмеримо выросли бы доходы лесхозов, а вместе с ними и заработная плата наших работников. Партия учит нас деловитости, масштабности. Партия призывает нас проявлять инициативу, а не ждать, как прежде, указаний «сверху». Кто этого не понимает, тот заблудится в трех соснах, отстанет, потеряется.

Зал аплодировал снова. С хмурым видом хлопал и Козин.

— Каюсь, — говорил Муратов, — и я, и возглавляемое мною министерство в прошлом не всегда пребывали на должной высоте. Мы робко внедряли предлагаемые с мест новшества, плохо использовали передовой опыт, допускали самоуспокоенность и благодушие. Есть и лично моя вина в том, что мелеют и загрязняются наши реки, озера, плохо растут леса, сокращается количество пушного зверя, птицы, копытных. Не всегда мне хватало принципиальности, дальновидности, просто гражданского мужества.

Но одно, как показала жизнь, хорошее дело мы сделали. Я говорю о комплексном ведении лесоводства и промысловой охоты. Если раньше один хозяин — лесник — охранял лес и не беспокоился о его обитателях, то другой — охотник — уничтожал в нем зверей и птиц, ничуть не думая об охране леса. Теперь хозяин один, а это много нам дало.

Я постарался откровенно рассказать вам, товарищи, о тех болячках, которые мучают наше

хозяйство. Прямо скажу, лекарства от многих еще не найдены. И тут все надежды на вас, ваш опыт, ваши предложения.

Мы в министерстве, со своей стороны, тоже пришли к некоторым выводам. О них я скажу позже. А сейчас хотелось бы послушать вас.

Лишь только провожаемый аплодисментами Муратов сел, в зале поднялась рука.

— Слово предоставляется одному из самых опытных наших работников лесничему Бирагачевского лесничества товарищу Сабирьянову, — объявил Козин.

Сабирьянов твердо прошагал по залу, независимо держа бритую, похожую на бильярдный шар, голову. Достоинственно взошел на трибуну, положил на нее какие-то листочки.

— Товарищи! В удивительно содержательной речи товарища Габита Салиховича Муратова, нашего уважаемого министра, очень замечательно сказано о задачах, стоящих перед нами, — сладкоречиво начал он. — И наше лесничество, настойчиво борясь за выполнение задач, поставленных перед нами партией и правительством, за первые пять месяцев текущего года добилось ощутимых успехов. По каждой отрасли хозяйства план перевыполнен! — почти выкрикнул он, приглашая и присутствующих порадоваться этим успехам. — Например, план санитарной рубки...

Муратов его прервал.

— Товарищ Сабирьянов, здесь отчет не нужен, тем более об успехах вашего лесничества все знают. Хотелось бы услышать ваше мнение по обсуждаемым вопросам.

Плоское, как дно деревянной чашки, лицо Сабирьянова покрылось разноцветными пятнами, будто кто-то, расписав бока чашки, мазанул

кистями и по донышку. Но он быстро взял себя в руки, сгреб листочки, сунул их в карман.

— Коли так, Габит Салихович, я попробую сказать, как говорится, по существу. Чтобы мы, лесники, еще лучше работали, плотнее занимались своим делом: охраной леса, выращиванием посадок, строго следили за рубкой на выделенных для этого участках, — нас надо прежде всего освободить от всяких побочных дел. Правильно я говорю, товарищи лесники? — обратился он к залу. Послышались голоса:

— Верно!

— Чего уж там...

— Голова кругом идет от мелочных забот.

Воодушевленный Сабирьянов продолжал:

— Лесника надо освободить от рубки леса, сбора шишек и лекарственных трав, березового сока, смолы, дранья лыка, заготовки мочал и прочей чепухи. Наше главное дело — охрана и воспроизводство леса. Прочими же работами пусть занимаются другие люди. Для этого, Габит Салихович, надо на пять-шесть человек расширить штаты лесничества, дать нам соответствующие машины и механизмы...

— А на какие деньги их купить? — спросил министр. — У вас в лесничестве есть на это средства?

Сабирьянов развел руками:

— И если бы бесплатно...

Из зала кто-то весело крикнул:

— Не отказался бы?

Все дружно засмеялись.

Выступавший побагровел, ударил кулаком по трибуне:

— Не отказался! Да и вы все тоже. Машины нужны нам как воздух, это вы прекрасно знаете. Они через два-три года окупятся. Но, если мы

примем то, что предлагает уважаемый Габит Салихович, нам и машины не помогут. Сейчас, как известно, по настоянию министерства, мы работаем рука об руку с охотниками. Сами знаете, хлопот нам добавилось. Но, благодаря правильному руководству товарища Козина, с этим мы справляемся. Дела, как говорится, кипят. Но наш уважаемый министр, как я понял из его речи, намерен взвалить на нас еще и охрану рек от загрязнения и обмеления, разведение зверя, птицы и рыбы! Если такое случится, бедному лесничему даже минутки не останется, чтобы приклонить голову, придя домой.

В зале кое-кто засмеялся и сочувственно захолопал:

— Да и будем ли мы видеть свой дом? — обрадованно продолжал Сабирьянов. — Откуда на это возьмем время? Его и так не хватает для текущих дел.

— Потому-то вы за три года не можете и собственную контору построить? — иронически спросил из президиума главный лесничий Ражапов. — Потому и распиловку бревен на доски оставили до весны? Заодно объясните, может, тоже от недостатка времени собранные в прошлом году семена сосен дали всего лишь пятнадцать процентов всходов?

Сабирьянов на мгновение растерялся, пробормотал:

— Это не имеет отношения к сегодняшнему обсуждению поставленных уважаемым Габитом Салиховичем вопросов.

— Нет, имеет! — твердо возразил Саюшев. — Мы сегодня и собрались для того, чтобы вскрыть недостатки, понять, почему, они у нас стали хроническими, наметить пути к их искоренению. Прошу, ответьте на реплику главного лесничего.

Сабирьянов выхватил из кармана платок, промокнул враз заблестевшую от пота бритую голову:

— На вопросы товарища Ражапова ответить совсем нетрудно. Чтобы достроить контору, нужны рабочие руки. А где их брать? Возимся своими силами. Распиловку же отставили до весны потому, что поломалась пилорама, а запчастей нету. По этому поводу я не раз обращался и к товарищу Ражапову, да и к самому товарищу Козину. Невсхожесть семян объясняется излишним усердием лесника. Хотел побыстрее высушить шишки, натопил жарко баню, разложил их на железных листах, ну они и подгорели. Об этом я писал в своей объяснительной на имя директора лесхоза.

Козин резко встал.

— Товарищ Сабирьянов, ваше время истекло, закругляйтесь.

— Я заканчиваю,— заторопился лесничий. — Напоследок вот что скажу: со всеми нынешними трудностями под руководством дирекции нашего лесхоза и с помощью министерства мы, конечно же, справимся, если нам не навяжут еще какие-либо «новшества». — Последние слова Сабирьянов произнес так, что присутствующие поняли: он его мысленно поставил в кавычки.

После него выступило еще три человека из разных лесничеств и все прямо или косвенно его поддержали.

Гильман понял, что говорят они по заранее разработанному сценарию, порывался встать, выйти на трибуну, сказать о том, что давно наболело, но что-то его удерживало. Он не поднял руку и когда Козин, обежав взглядом зал, спросил:

— Кто еще желает выступить?.. — В ответ было молчание. — Может, прекратим прения? — Он бросил на Муратова вопрошающий взгляд.

За министра ответил Саюшев:

— Зачем торопиться, Петр Максимович? Дадим товарищам подумать. Ведь от сегодняшнего совещания зависит их дальнейшая работа, судьба...

В зале неловко шушукались, шелестели блокнотиками. Смотрел в свой, где он набросал тезисы выступлений, и Гильман. Он окончательно убедился, что и речь Сабириянова, и речи выступавших вслед за ним были подсказаны и санкционированы Козиным, но не потому не высказывал своего мнения, не из-за боязни. Он был ошарашен игрой, затеянной директором лесхоза, готовностью, с которой эти четверо, безусловно, хорошие, преданные делу работники поддержали эту нечестную игру. И хотя Тулькусурин детально не знал, в чем заключается новшество, которое Муратов обещал подробно изложить в своем заключительном выступлении, догадаться о его сути было нетрудно, да и у Гильмана были на этот счет свои предложения. Не высказывался же он по той причине, что поначалу растерялся после речи бирагачевского лесничего — все-таки в его возражениях был резон, да и стеснялся лезть на трибуну впереди более опытных, более уважаемых людей. Но молчание затягивалось, и он уже хотел было встать, как вдруг услышал с задних рядов знакомый хриловатый голос:

— Братья!

Обернулся. Позади стоял, подкручивая ус, старик Янтура.

— Позвольте сказать два-три слова? — Испытующе уставился на заметно растерявшегося

директора. Тот наморщил крутой лоб, передвинул зачем-то на столе какие-то бумажки.

— Просим! Просим! — слышалось из зала. — Говори, Янтура-агай!

Сквозь сжатые зубы Козин произнес:

— Слово предоставляется леснику Турумтаеву.

Старик неторопливо прошел по залу, поднялся на сцену. Постоял немного, поглаживая трибуну шершавой ладонью, потом медленно начал:

— Многие из сидящих здесь молодые, грамотные люди. Нам не довелось набраться ученой премудрости, изучать жизнь леса по книгам. Но недаром мой старик отец говорит: то, что не узнал из книги, узнай из жизни, потрогав, попробовав. Я из своих семидесяти лет больше пятидесяти работаю в лесу. Так что пришлось и потрогать, и попробовать. Помню, как в двадцать третьем году нагрянул к нам начальник лесного хозяйства Башкортостана. Министр-кустым, если память мне не изменяет, в те времена таких людей, как ты, называли начальниками подотделов?

— Правильно говоришь, Янтура-агай, — одобрительно кивнул Муратов. — Нынешнее министерство тогда называлось лесным подотделом.

— Ага! — обрадовался Янтура. — Значит, тут кое-что еще есть! — и постучал себя пальцем по лбу, вызвав смехи в зале и улыбки в президиуме. — В те годы мой ровесник Ильгам Тулкусурин — его сын Гильман сидит в этом зале, — и все повернулись к Гильману, вытянув шеи, отчего парень потупился, — работал здесь лесником. Вот тот приехавший начальник приказал Ильгаму собрать все село на сход и так сказал: теперь в лесу вы хозяева. Так что берегите его. Помните, лес — не бездонная бочка, из которой можно только черпать. С тех пор у нас за эти

годы побывало таких начальников — не счесть! И все говорят то же самое: берегите лес! Помните его цену! А мы все черпаем да черпаем — те же начальники и кричат: давай, давай! План любой ценой! А на следующий год план еще выше, еще через год — опять прибавка. Вот и дочерпались, что уже дно видно.

Зал зашумел. Послышались возгласы:

— Кончай загадками говорить!

— При чем тут Ильгам?

— Известно, они одной породы!

— Тихо! Дайте выслушать! — зычно крикнул кто-то, и зал стих.

— Посмотрите, братья, на наши леса вокруг Каратау. От множества просек они стали полосатыми, как та африканская лошадь. Даже люди нашей деревни, чтобы выбрать подходящие деревья на сруб избы, уходят почти к Уральским горам — далеко вглубь. Ибо рядом ничего дельного не осталось. Вы знаете, что, когда сто лет тому назад помещик Лапшин, купивший обманом нашу землю, начал пускать все под топор, народ поднялся на него. Сколько настоящих джигитов погибло в той схватке! Сколько женщин осталось вдовами, а детей сиротами! Кости и нашего батыра Тулькусурь, павшего за наш лес, покоятся в этой земле. На ней же растут сосны, посаженные более полвека назад сыном Тулькусурь Ильгамом. И он тут не только свой пот пролил, но и свою праведную кровь. Вот почему и его сегодня вспомнил... И я горжусь, что я его родич... Да, теперь мы сами хозяева своего богатства — леса. Так почему же уподобляемся пришельцу, хищнику Лапшину? Почему не исполняем завет наших предков, чьим потом и кровью полита башкирская земля: срубил одно дерево, посади пять! Скажете, не хватает людей, не успеваем? Пра-

вильно, у лесника не пять рук, и министр-кустым, я думаю, объяснит нам, как выйти из положения. На то он и министр, чтобы все знать. — Зал дружно засмеялся, заулыбались и в президиуме. — Одно я скажу, братья, — печально продолжал Янтура, — если мы так и дальше станем работать, через сто лет здесь вместо леса будет пустыня!

Гильман при последних словах старика вздрогнул. Ему пронзительно ясно представились ползучие желтые пески, которые он видел в Средней Азии, когда работал там в студенческом стройотряде. Старожилы говорили, что когда-то в тех местах были богатые города — их полузасыпанные развалины встречались повсюду, — пышные поля, цветущие сады... Сейчас там царствовали лишь жадные пески, на которых горестно топорщились колючие саксаулы.

А Янтура продолжал, хитровато прищурив глаза:

— Кустым-лесничий Барагача, прости, позабыл твое имя. Твоя речь была подобна бегу ящерицы: и туда, и сюда. Уж не хотел ли ты перед самим министром показать, какой ты умный? Только вот сам же признал, что в твоём лесничестве сорок дел лежат в сорока концах, а кричишь «ура!». Подобаёт ли мужчине так говорить? А если уж ты так устроен, отдай свою шапку жене, а сам покройся её платком!

Последние слова старика потонули в хохоте зала. Побагровевший Сабирьянов, вскочив, пронзительно заверещал:

— Ты, старик, сюда комедию ломать приехал?

— Не комедия это, кустым, — серьёзно ответил Янтура, — истина. Зачем заниматься болтологией, юлить, когда люди хотят услышать, что

у тебя на душе? Мы все должны грудью стать на защиту нашего леса! И у меня есть право призывать тебя к этому. Видишь этот шрам? — Старик провел пальцами по глянцевому рубцу, протянувшись от подглазья до уголка рта. — Это меня угостил топором негодяй, который губил наши деревья. — Янтура повернулся к президиуму. — Министр-кустым, есть еще одна мысль, гложащая душу. Войдешь в лес и глохнешь не от пения птиц, а от рева тракторов, рыка экскаваторов, грохота машин, треска бензопил, стрекота мотоциклов. От такого ада не только зверь бежит, птица летит, но и сам див без оглядки улепетывает.

Козин слушал Янтуру и с закипающей злостью думал: не мог неграмотный старик так складно речь построить. Видна рука Гильмана. Вот и его мысли о шуме в лесу старик сейчас пересказал... Не сдержался, перебил оратора:

— Что ж выходит, бабай? Превратить наши леса в городские парки? В заповедники? Ляжем все под деревья и будем плевать в небо?

Янтура, с детства общавшийся с рабочими Лапшина, на довольно чистом русском языке ответил:

— Ты, Максимыч, не выставляй меня дураком. Сам ведь знаешь, о чем я говорю. А говорю я о том, что мы больше рубим, чем растим, о том, что наши ученые и конструкторы зря хлеб едят, если не могут изобрести малолшумную пилу. Или возьми те же машины, матаи¹. Чего они по делу и без дела в лес лезут? Я вот в Уфе видел улицы, где проезд грузовому транспорту без специальной бумаги запрещен. Почему и в лесу не установить такой порядок. А то ездят все, кому не лень.

¹ М а т а й — мотоцикл (башк.).

И шум, и гам, и окурок бросил, и костер где падая развел... Вот тебе и пожар... Ладно, я кончил.

Старик поскущел, поувыл, сошел с трибуны.

Козину, по всему видать, не терпелось прекратить выступления. Он бодро зачастил:

— Здесь было высказано много хороших мыслей. Габит Салихович, конечно же, ни один из поднятых вопросов не оставит без ответа. При их решении будет принято во внимание все: местные трудовые ресурсы, величина территории лесхоза, его географическое положение и то, что, несмотря на отдельные трудности, наш коллектив успешно выполняет выпавшие на его долю задачи. А сейчас, товарищи...

Из зала слышалось:

— Перерыв?

— Спины затекли...

— Покурить бы...

Козин покосился на министра. Тот кивнул головой:

— Объявим перерыв. Народ просит...

В комнате для отдыха президиума Козин, прихлебывая чай, наклонился к Саюшеву:

— Никита Борович, вам сейчас дать слово или под конец?

Саюшев поморщился, будто ожегся. Он не любил вмешиваться в дела, которые сам хорошо не знал, выступать на каждом совещании по поводу и без повода, лишь бы для того, чтобы сказать «умное» слово. Делами лесоводства занимался второй секретарь, но и он, и заместитель председателя исполкома, который тоже этим ведал, были в отъезде. Сказал раздумчиво:

— Наверное, надо будет сказать мнение района по обсуждаемому вопросу... — Повернулся к председателю исполкома, который что-то тороп-

ливо писал в блокноте. — Барый Максютрович, придется вам выступить.

Юлдашбаев ничуть не удивился предложению первого секретаря — за годы совместной работы он хорошо изучил характер Саюшева. Обратился к министру:

— Габит Салихович, вы не возражаете, если я выступлю после вас?

Муратов развел руками:

— О чем разговор! Вы ведь, так сказать, хозяин района, вам и слово последнее. Только, прошу, не останавливайтесь лишь на моих предложениях. В районе ведь не только лесное хозяйство да лесхозы. Есть колхозы, совхозы, другие организации. Как повлияет на их деятельность наша перестройка? Что потребуется от объединения, которое, думаю, мы организуем, для лучшего обеспечения населения, предприятий пиломатериалами, дровами?

Юлдашбаев знал эту черту Муратова — заставлять других говорить конкретно, не боясь, что мнение выступающего не совпадает с его собственным. Собрав тонкий рот в куриную гузку и потирая короткую мощную шею, он пробормотал:

— Ладно, скажу все, как на духу, — и отошел готовиться к выступлению в укромное место.

Саюшев проводил его взглядом, сказал полусмешливо:

— Барый Максютрович чувствует себя в лесу, как рыба в воде. У него ведь и жена из породы Турумтаевых.

Муратов засмеялся.

— Коли на то пошло, Никита Барович, то и твоя жена из той же деревни Каратау.

Саюшев промолчал. Вспомнил грустные глаза Рамили, когда он утром уходил на работу.

Домой она возвратилась за полночь и на вопрос сонного Саюшева резко ответила: «Гуляла! Могу я, наконец, побыть одна?» — будто редкое общество мужа — поездки, заседания, совещания, — было ей в тягость. Он понимал, что причина ее грусти — не только в том, что Муратов вчера вечером не пришел к ним и оказалось ни к чему ее новое платье, янтарное ожерелье, которое она надевала лишь по торжественным случаям, вкусная стряпня, с которой она возилась полдня. В ее грусти он чувствовал неприязнь к себе, и его пугала эта неприязнь. Чтобы прогнать невеселые мысли, Саюшев подошел к Козину, намереваясь спросить его мнение о предложении Муратова по созданию объединения.

А Козин думал о том, что, если предложение Муратова пройдет (а что оно пройдет, в этом директор лесхоза теперь не сомневался), он уже не будет здесь хозяином, от которого зависели не только всякие строительные управления, больницы, школы, просто люди-мураши, но и райисполком вместе с райкомом. Над ним дамокловым мечом будет висеть это самое объединение, и чуть там что покажется не так, рубанут не только по рукам, но и по шее. Да... открыто выступать против перестройки нельзя... Надо менять тактику.

На вопрос секретаря райкома он неопределенно пожал плечами:

— Я что? Я как все.

Саюшев долго, с какой-то болью поглядел в его глаза — Козин отвел.

Его удивляло поведение Гильмана. Почему Тулькусурин, этот клевет министр, до сих пор не попросил слова? Выпустил вместо себя этого хитрого, хотя и безграмотного Янтуру? Впрочем, хорошо, что он молчит. С его знаниями, опытом

работы в министерстве да и здесь, в лесхозе, он может убедительно поддержать Муратова, склонить на его сторону колеблющихся. «Конечно, — размышлял Козин, — все нынешнее поведение Муратова не более чем модная сейчас игра в демократию. Ведь в конце концов министерство все равно отдаст приказ об организации объединений. Значит, надо, чтобы у Муратова было как можно больше противников, так сказать, снизу: если дела пойдут плохо, можно всегда сказать, что перестройка была навязана осужденными партией волюнтаристскими методами. А там, глядишь, и похерят эту сумасбродную идею Муратова, да и самого товарища министра — к ногтю... Ладно, на своем веку мы пережили много поветрий, и все потом возвращалось на круги своя...» — закончил свои размышления Козин. Поднялся.

— Ну, что, товарищи? Пора за работу?

Президиум занял свои места, зал быстро заполнялся.

Гильман, который вошел в числе первых, с удивлением и тревогой увидел, что по проходу, пробираясь к первым рядам, сопя, шагал Мурзабай. Но ведь он уволен из лесничества, и никто его на это совещание не приглашал! Зачем приехал?

Тем временем Муратов уже стоял за трибуной, ожидая, пока в зале стихнет шум. Ему очень шел строгий, с зелеными нашивками на петлицах, костюм лесника. Все его красивое сухощавое тело дышало силой и бодростью, неседующие черные волосы курчавились аккуратной шапкой, брови цвета воронова крыла изогнулись как для взмаха.

— Скажу сначала то, что вы знаете и без меня. Но напомнить, думаю, не мешает, — так он

начал. — Лес — наше национальное богатство, наша гордость. Советский Союз по лесу занимает первое место в мире. Но вот, товарищи, парадокс: в стране хронически не хватает лесоматериалов, они очень дороги, не хватает бумаги, оттого мы не можем утолить наш книжный голод. Почему создалось такое положение? Почему даже у нас, в Башкирии, где сорок процентов территории покрыто лесом, поставить деревянную крышу, ошелевать дом доской, я уж не говорю — срубить деревянную избу — проблема? Во-первых, потому, что еще сто лет тому назад началось хищническое истребление наиболее ценных пород в наших лесах. Кроме того, рубили по берегам рек. Теперь долины Белой, Уфимки, Езема, по которым сплавляли плоты, превратились в безлесные плешины.

Но простим нашим темным предкам: для них лес казался чем-то бесконечным да и враждебным. Но мы-то знаем, что он не только наш кормилец, но и наш друг, наш бог, если хотите. Ведь если человечество сведет леса, оно задохнется от удушья. Сколько лег, как выразился здесь мудрый Янтура, мы только и знали, что черпали полными пригоршнями из бочки, именуемой природа, никак не заботясь о ее пополнении. И вот дочерпались.

Наша главная задача теперь заключается в том, чтобы не только охранять лес и восстанавливать его, но и превратить лесхозы в доходные, богатые хозяйства, имеющие крепкую материально-техническую базу. До сих пор у нас довольно много хозяйств получают государственную дотацию. В новых условиях мы должны перейти на полный хозрасчет. А с той культурой производства, что у нас складывалась годами, об этом и думать нечего. Необходима коренная перестройка. Для этого нужно главное: чтобы каждый че-

ловец, работающий в нашей системе, твердо знал свои обязанности и права. Чтобы в нем проснулось чувство патриота своей земли, своей работы, чувство хо-зя-ина!

Второе условие — резкий, качественный скачок отстающих хозяйств и середняков до уровня передовых. Мы, товарищи, — тут виновато и министерство, и я лично, — как-то мирились с тем, что рядом с передовыми лесхозами спокойно существовали и существуют этакие хитрые середнячки. Их вроде бы и ругать не за что, и хвалить не пристало. А такое положение их вполне устраивает. Свое середнячество они всегда могут объяснить объективными факторами: мало техники, один-два цеха распиловки, да и там все время механизмы ломаются, а запчастей нет, как нет и своих ремонтных мастерских. Они могут сказать, что из-за недостатка техники семьдесят процентов работ выполняются вручную. И они будут правы! Добавлю к этому, что из-за недостатка техники мы почти не проводим мелиоративных работ, сбор же семян до сих пор на дедовском уровне, сушим, сами знаете, на печках или как тот бирагачевский лесничий — в бане.

В зале послышались невеселые смешки, покашливания.

— Из-за этого, — продолжал Муратов, — плохая всхожесть, из-за этого мы вынуждены много семян завозить со стороны. А наши карликовые питомники? Они же ведь могут обеспечивать, и то не в полной мере, только свое хозяйство, зачастую люди в них работают случайные, без соответствующего образования, а главное — без любви к делу. Одним словом — поденщики.

Наши лесхозы заготавливают в основном семена сосны, ели, а вот о сборе семян дуба, липы, клена, осины, березы во многих лесничествах во-

обще и думать не хотят. Конечно, министерство может в приказном порядке заставить заниматься и этим, но нужно быть реалистом, пока не будет соответствующей материальной заинтересованности, необходимых средств и механизмов, никакие волевые меры положения не исправят.

Какой же выход?

Мы в министерстве всесторонне обсудили этот вопрос и пришли к выводу: пора кончать с кустарщиной. Предлагается в целях концентрации сил и средств, координации работы лесхозов, лучшего и оперативного обеспечения их техникой, запасными частями и посадочным материалом создать на базе трех лесных районов головное объединение. Это даст возможность специализировать каждый лесхоз, построить мощные деревообрабатывающие комбинаты, фабрики семеноводства, заложить большой питомник, который бы в дальнейшем, работая на научной основе, смог обеспечивать саженцами различных пород деревьев все три лесхоза. При головном объединении планируется строительство современной межрайонной ремонтной мастерской. Там же будет создана мощная передвижная механизированная колонна. Тогда будут возможны и быстрый ремонт техники на месте, строительство помещений, жилья, объектов соцкультбыта и, конечно же, мелиоративные работы. Намечены и другие мероприятия по интенсификации нашего производства, но, я думаю, нет необходимости останавливаться здесь на каждой детали. А вот о новых задачах, которые теперь станут перед руководителями лесхозов и лесничеств, всех специалистов леса, хочется сказать несколько слов. В условиях перестройки надо в первую очередь раз и навсегда отказаться от местничества, — министр будто невзначай кинул взгляд на Козина, который со-

средоточенно посасывал пустую трубку, — от старых приказных методов руководства, от верхоглядства и сиюминутной выгоды. Надо всячески внедрять, применительно к нашим условиям, бригадный и семейный подряды, надо, самое главное, чтобы каждый наш работник, о чем я уже неоднократно говорил, обрел чувство хо-зя-ина. А это одновременно и большая ответственность перед своей совестью, республикой, страной.

Муратов отпил глоток. Зал настороженно молчал.

— Безусловно, — продолжал министр, — всю эту перестройку мы не можем успешно завершить без помощи местных властей, партийных и советских органов. Вот почему министерство питает большие надежды на вас, Никита Барович и Барый Максютрович, на весь партийный и народно-хозяйственный актив района.

Некоторые мысли, высказанные здесь, запали мне в душу, и мы их обсудим в министерстве.

А теперь мне хочется услышать ваше мнение, в каком направлении хотелось бы специализироваться вашему лесхозу, его лесничествам.

Сунув трубку в карман, Козин тяжело поднялся, оперся кулаками о стол.

— Вопросы есть, товарищи? — Выждал несколько секунд, заключил. — Вопросов нет. Ну, что ж, значит, Габит Салихович все так разъяснил, что ни у кого нет сомнений в необходимости перестройки. Признаюсь, прекрасная речь товарища Муратова сняла и с моей души тяжелый камень сомнения... Теперь позвольте предоставить слово нашему председателю исполнительного комитета районного Совета народных депутатов товарищу Юлдашбаеву. Прошу, Барый Максютович.

Юлдашбаев при обсуждении сложных вопросов никогда не торопился первым сказать свое слово. Выслушав и старших и младших, он быстро взвешивал те и другие мнения, выхватывал самую суть и высказывал иной раз весьма важные мысли, ускользнувшие от других. Вот и сейчас он все проанализировал, просчитал и пересчитал, потому начал не издавека, а уверенно, что называется с места в карьер.

— Невозможно не согласиться с предложениями Габита Салиховича и возглавляемого им министерства. Организация объединений лесного хозяйства — дело своевременное, уместное и, я бы даже сказал, необходимое. Аргументы, которые приводил в защиту этого новшества товарищ Муратов, я пересказывать не буду. Но, Габит Салихович, — поворотился к министру Юлдашбаев, и министр взглянул на него, — вы тут правильно говорили о проблеме кадров, однако ни словом не заикнулись о том, почему же возглавляемое вами министерство так мало заботится об их подготовке? Вот вы хвалили почин Гильмана Тулькусурина. И правильно хвалили. Однако забыли сказать, что в отличие от большинства наших работников, Тулькусурин имеет высшее образование. И не просто высшее — академическое! — Оратор значительно поднял над головою указательный палец и потряс им. — Как-то я читал в газете, что на Кубе, в стране, где только закладываются основы социалистического общества, где только-только ликвидирована неграмотность, где и лесов-то, не в пример нашему, мало, человека без специального образования на пушечный выстрел не подпускают к лесному делу! У нас же сюда идут все, кто считает, что работа лесника легка и прибыльна. А что? Леснику положена лошадь, — Юлдашбаев стал загибать пальцы, —

квартира, паек дров, сенокос. Он знает, что по своему усмотрению может разрешить нарубить хворосту, накосить сена, дать или не дать выгодный участок для заготовки леса... Такие люди чувствуют себя не хо-зя-ева-ми, а хозяйчиками! С такими горе-кадрами никакой перестройки не будет.

Муратов что-то озабоченно писал в своем блокноте.

— Что для нашего лесхоза лучше, что выгоднее производить, на чем специализироваться? — Барый Максютрович сделал паузу. — На этот вопрос, Габит Салихович, ответить сразу трудно. Одно ясно: наш район расположен как раз посередине, да и опыт у нашего лесхоза побольше, погромче, так сказать, чем у соседей. Поэтому, товарищ министр, мы считаем, будет правильным организовать базу передвижной мехколонны у нас. А где основная база, там должны быть и ремонтные мастерские. Мы можем для этой цели пожертвовать старым корпусом ремонтно-тракторной станции, помочь и в комплектовании ее механизаторами, техниками. Еще, думается, будет полезно специализировать Каратауское лесничество как семеноводческое и питомническое, тем более что возглавляет его человек с академическим образованием, — Юлдашбаев опять внушительно поднял палец. — На территории Каратау, кроме ели, сосны, много хороших сортов липы, березы, осины, дуба, рябины, словом тех пород деревьев, семена которых, как справедливо заметили вы, Габит Салихович, в республике почти не заготавливаются.

Что касается других аспектов специализации, тут, как я уже говорил, надо крепко подумать, посоветоваться со специалистами. Вот тогда мы и

доведем свои соображения до сведения министерства.

С этими словами Юлдашбаев сошел с трибуны, немало удивив тех, кто слушал его первый раз, краткостью и конкретностью выступлений. Саюшев, когда председатель исполкома сел, незаметно пожал под столом его руку, прошептав на ухо: «Хорошо сказали», Саюшев уважал казавшегося на первый взгляд простым, даже неосмотрительным, Юлдашбаева за его умение быстро анализировать положение, находить оптимальное решение, смотреть в будущее, никогда не ныть, открыто отстаивать свое мнение. Он был истинным патриотом и всегда в ходе прошлых многочисленных перестроек умел находить хоть какие-то выгоды для своего района. Вот и теперь он очень удачно, а главное, доказательно ввернул мысль о создании в Иманкулове мехколонны и мехмастерских. Надо ли говорить, что если — тьфу, тьфу — это случится, польза для всего района будет огромная.

Муратов, конечно, понял нехитрый замысел Юлдашбаева и оживление Саюшева, но соглашаться с их желанием не спешил. Улыбнувшись про себя, он подумал: «Вы прикиньте, на чем будете специализироваться, а мы в министерстве пока обсудим на коллегии ваше предложение».

После окончания совещания Муратов в кабинете директора лесхоза распрощался с руководителями района и остался один на один с Козиным. Директор раскурил трубку и окутался сизыми клубами дыма. Муратов не видел за ним глаз Козина, но чувствовал, что тот отводит взгляд.

Сунув руки в карманы брюк, Габит Салихович прошелся несколько раз по кабинету, остановился перед Козиным:

— Петр Максимович, я-то думал, что ты, как человек грамотный, многие годы отдавший нашему делу, поймешь перспективы нынешней перестройки, активно ее поддержишь. Но я чувствую, что ты принимаешь это дело настороженно. Что у тебя на душе?

Козин был готов к этому вопросу, потому, пыхнув трубкой, неторопливо и веско начал:

— Кричать «ура» при каждом указании сверху совсем нетрудно. Но ведь любое ярмо ляжет на эту вот шею, — постучал он себя по мощному загривку. — Если дело до конца не продумано и, значит, сорвется, кому опять-таки по шее — тебе или мне? Ясно, не тому, кто погоняет, а тому, кто тянет. — Он выбил потухшую трубку в пепельницу, повертел ее в руках. — Сколько было на нашем с тобою веку, Габит Салихович, всяческих реорганизаций, объединений, разъединений, прочих новшеств... И все их встречали с ликованием! Всё думали, что наконец-то нашли панацею от всех бед. Где эти новшества? А беды, как видишь, остались. Так что сама жизнь учит осмотрительности.

Муратов усмехнулся:

— Значит, обжегшись на молоке, дуешь на воду?

Козин пожал плечами:

— Выходит, что так.

Муратов с минуту внимательно глядел на собеседника. Недолголюбивал Габит Салихович тех людей, которые жили всегда как бы закрытые щитом. Такие люди думали не о победе, а о том, как бы выжить. Именно таким человеком показался ему Козин в эту минуту. Вдохнул, прошелся взад-вперед.

— Скажи честно, Петр Максимович, чувствуешь ли ты себя способным в новых условиях ус-

пешно организовать дело? Ведь если ты крепко сомневаешься в его успехе, абсолютно ничего не получится. Новшество требует нового мышления, нового стиля руководства. Найдешь ли ты в себе силы перестроиться?

Козин не торопился с ответом. Он стал набивать трубку, исподлобья поглядывая на меряющего упругими шагами его кабинет Муратова. Чего он привязался? Уж не думает ли, что Козин сам предложит снять себя с работы? Петр Максимович усмехнулся, придавил большим пальцем табак. Дудки! Он только здесь директорствует без малого десять лет, хозяйство отстающим не числилось, а что он без восторга встречает предложение министерства, за это с работы не снимают... Козин снова покосился на Муратова. Ишь, красавец! Когда он в трудные послевоенные годы, работая лесником, лесничим, а потом главным лесничим, чуть ли не на своем горбу таскал бревна, такие, как Муратов, еще под стол пешком ходили...

Козину вспомнился давний нелепый сон. «Козина — в министры!» — вздохнул. Министром он не стал. Вон он, министр, — Муратов. Распушил хвост: «Перестройка! Новшество! Хозрасчет! Справитесь ли? Перестроитесь ли?» Не волнуйся, справимся, перестроимся. Не впервой!

Он чиркнул зажигалкой, поднес язычок пламени к табаку.

— Габит Салихович, — пых, пых, — вы, надеюсь, не с работы меня снимать приехали? Если так, говорите прямо. До пенсии мне недалеко, однако сил еще хватит, и пойду работать туда, куда пошлет партия. Я — солдат партии, всегда готов выполнить ее любое задание.

Муратов остановился напротив него, разговор на «вы» не принял.

— Чушь ты говоришь, Петр Максимович. Чтобы снять с работы, времени много не надо, а я вот трачу его, хочу тебя понять. Ты что, активный противник этой перестройки или у тебя, гм... некоторые сомнения? Готов ли ты организовать дело по-новому? Мы избрали для эксперимента именно эту зону, потому что надеялись встретить здесь понимание необходимости объединения, да и в географическом положении — много леса, близко к Уфе, — ваши районы более подходящи для начала. Впрочем, если ты не веришь в успех, можем попробовать и в другом месте. Поверь, я знаю многих директоров лесхозов, которые будут рады проведению эксперимента у них. Только, если получится, а я в это свято верю, тебе же самому будет стыдно.

Козин шевельнулся, будто уколотый, пососал внезапно погасшую трубку, сказал, глядя на свои кулаки, лежащие на столе:

— Попробую справиться, Габит Салихович. И не смотри на меня так: я не из тех, кто кричит «гоп!», не перепрыгнув оврага.

Муратову такой уклончивый ответ не понравился. Ему и в голову не приходило, что выступавшие против создания объединения были настроены Козиным, вот почему министру было досадно сознавать: очевидные выгоды, которые сулила эта перестройка, не находили должный отклик ни в душах простых работников, ни в душе такого опытного человека, как Козин. Он сказал, не скрывая раздражения:

— Никто не призывает бить в литавры и беспричинно кричать «ура» нашему предложению. Но и без веры в успех начинать не стоит.

Козин, насупившись, молчал. Муратову пора было уезжать, но по опыту своему министр знал, что негоже вот так, не развеяв сомнения, про-

щаться с собеседником. Он хотел сказать что-то одобряющее, как вдруг без стука в кабинет ворвался пожилой крепкий мужичок и запричитал, протягивая к нему черные волосатые руки:

— Товарищ министр! Петр Максимович! На этого Тулькусурина есть закон или нету? Почему он мстит мне за дела времен хана? Кто дал ему, мальчишке, право оскорблять меня, старого, заслуженного человека? За что он отнял у меня в моем же лесу мое дорогое ружье, раздробил его о дерево, а меня избил? Теперь вот незаконно уволил с работы. Если вы на него не найдете управу, я сам найду! Хватит! Натерпелся!

Козин, а больше его Муратов, опешили от этого неожиданного вторжения, водопада не совсем понятных слов, вопросительно переглянулись. Директор на правах хозяина решил перехватить инициативу.

— Погоди, агай. Ты, кажется, Шамов Мурзабай, бригадир охотников Каратау?

— Да, был... Теперь вот этот мальчишка, Гильман Тулькусурин, уволил меня даже без согласования с местным комитетом! Не посчитался, что вся жизнь моя прошла в лесу, отдана охоте, что я и моя бригада всегда выполняла планы. Он отнял у меня самое главное — смысл жизни.

Желтые, под тяжелыми лохматыми бровями, глаза Мурзабая налились слезами. Он, не стесняясь, всхлипнул.

Муратов, считал, что мужчины плачут лишь в самых исключительных случаях, когда не могут перебороть беду, неожиданно свалившуюся на их плечи, поэтому слезы в глазах старого охотника потрясли его. Впрочем, житейский опыт тут же услужливо подсказал, что не каждой, даже мужской слезе, надо слепо верить. Иной человек способен пустить ее, чтобы замазать свою вину,

обелить себя и очернить противника. Поэтому, справившись с минутным эмоциональным чувством в адрес своего любимца, Тулькусурин, — надо же, довел пожилого человека до слез, — министр строго приказал:

— Петр Максимович, узнайте, Тулькусурин все еще здесь?

Козин кивнул и быстро вышел. Он в душе радовался, что именно сейчас на строптивного лесничего свалилась жалоба, да что жалоба — тяжкое обвинение в незаконных, прямо-таки хулиганских действиях. И как бы теперь ни оправдывался Тулькусурин, его репутация в глазах министра будет подмочена. Как говорится, он ли шубу украл, у него ли украли, он в этом деле замешан. Только бы Гильман не уехал в свое Каратау.

На счастье, лесничий был в конторе, выписывал какие-то наряды.

— Вас вызывает министр, — сухо отчеканил директор. — Зайдите в мой кабинет.

Как только Гильман распахнул двери и увидел жалко осунувшегося Мурзабая, он сразу понял в чем дело. Но не сдержался, бросил бывшему бригадиру:

— Вас, кажется, сюда никто не приглашал?

— А я сам пришел! — взвился Мурзабай. — Что, запретишь? Рот заткнешь? Если же и здесь на тебя управа не найдется, до Москвы дойду!

Муратов положил руку на плечо охотника:

— Поговорим спокойно, агай. — Министр сел на диван, жестом пригласил Мурзабая сесть рядом. Когда тот с победительным видом уселся, спокойно спросил лесничего:

— Тулькусурин, почему у тебя с этим агаем такие неприязненные отношения? За что ты уволил его с работы?

Гильман, хотя и не слышал, что тут наплел на него Мурзабай, однако догадаться было нетрудно, поэтому, едва сдерживая себя, коротко изложил суть дела, закончив:

— Мне такой бесчестный человек не нужен.

— Слыхали! — опять вскочил браконьер, передразнил лесничего: — Мне не нужен! Хозяин какой выискался!

Козин жестом остановил его.

— Действительно, товарищ Тулкусурин, что это за байские замашки? Набрасываться на старого, почтенного человека, потом увольнять его без согласования с местным комитетом, это, знаете ли? — Козин покрутил в воздухе растопыренной пятерней.

Гильман тяжело вздохнул. Что ж, доказывать, что Шамов первый затеял свару и даже угрожал ему ружьем, которое он и отнял, и разбил вгорячах? Так этот наглец будет все отрицать. А вот что скоропалительно уволил его, действительно неверно. Приходится признать. Лесничий, глядя в пол, сказал:

— Да, я погорячился, потому что таких людей, как Шамов, нельзя подпускать к нашему делу и на ружейный выстрел.

— Вот, вот! — подскочил Мурзабай. — На ружейный выстрел, говоришь? А из чего мне теперь стрелять? Ты разбил мою «бельгийку». Кто давал право? — Он сделал вид, что направляется к выходу, выкрикивая. — Ладно! Вас он не боится, в суд подам! И на работе восстановят, и за ружье заставят заплатить!

Муратов, до этого молча наблюдавший всю сцену, лишь хмурил брови и что-то чертил на листке бумажки, но тут встал, шагнул к Шамову.

— Ты, Мурзабай-агай, судом не очень-то... И тебя он по головке не погладит, хотя бы за того

же несчастного глухаря. Бригадир охотников и вдруг — браконьер! Впрочем, за такие дела мы и без суда вас можем привлечь к ответственности.

— Товарищ министр! — вскрикнул Шамов, приложив руки к сердцу. Муратов поморщился, совсем перешел на «вы».

— Помолчите-ка, агай... Работать вам дальше или нет в нашем хозяйстве, мы решим. А теперь ступайте-ка...

Глазки Мурзабая заюлили, забились под кусты бровей. Кланяясь, он пятился к двери, бормоча:

— Да чего там... Бог с ним, с судом... Пусть только за ружье заплатит.

Когда он вышел, Муратов тяжело поглядел на Тулькусурина.

— А ты герой, оказывается! Если так и дальше будешь геройствовать, я за твою голову не дам и полушки.

— Габит Салихович!

— Подожди! Меня выслушай. Свой приказ немедленно порви и выбрось. Он противозаконен. А разбивать ружья браконьеров — ума не надо, только этим способом ты само браконьерство не ликвидируешь. Одно разобьешь, другое из схрона достанут. Ведь у каждого браконьера не одно и не два ружья, тем более у такого профессионала, как Шамов... И один ты много не навоюешь. Понял, о чем я говорю?

Гильман кивнул, хотя ему хотелось закричать, что все это он хорошо знает, но бывают же у человека вот такие срывы, когда наглость и бессмысленное убийство терпеть нет сил, что, конечно, один он в лесу не воин, но на кого опереться, если в лесничестве все потихоньку браконьерствуют, а начальство, и даже Козин, на это смотрит сквозь пальцы, мол, прижми, разбегутся,

некому станет работать за те девяносто — сто рублей, что получают рабочие лесничества. И, словно угадав его мысли, его боль, Муратов оборотился к Козину.

— С браконьерством, Петр Максимович, пора кончать! И никаких отговорок! Сумейте организовать дело так, чтобы людям было выгодно работать и невыгодно шастать с ружьями по лесу, с сетями по речкам!

Козин сдержанно кивнул, а сам со злостью подумал: «Тебе с твоего министерского насеста легко кукарекать, а тут попробуй этот медвежий угол пробуди!»

— Что касается товарища Тулькусурина, то оргвыводы погодим делать. И вот что я заметил, Петр Максимович, — министр пристально поглядел директору лесхоза прямо в глаза, и от этого холодного, проникающего в самое сокровенное взгляда у Козина забегали по спине мурашки. — Вы с явной благосклонностью слушали навет этого ябеды-браконьера и не внимали доводам вашего же лесничего, — чеканя каждое слово, закончил Муратов.

У Козина что-то взорвалось в груди, но он подавил в себе крик, расправил плечи и с укоризной поглядел на министра.

— Да какой же это навет, Габит Салихович? Вы же сами только что выговаривали товарищу Тулькусурину за его партизанские, или, как вы сказали, — Козин снисходительно улыбнулся, — геройские действия. Не навет, а тревожный сигнал, товарищ министр! Даром, что он исходит от браконьера.

Муратов хмуро молчал, барабанил тонкими пальцами по столу, и, отвернувшись от Козина, глядел в окно. А тот достал трубку, неспешно ее продул и так же неспешно стал набивать таба-

ком. Он прекрасно понимал, почему министр не отвечает. Не потому, что нечего возразить, а видит насквозь его, Козина, но факты были на его, Козина, стороне, и теперь он бил Муратова чужими руками, руками этого и впрямь мерзкого, скользкого, — Козин даже не заметил, как брезгливо сморщился, — браконьера. Так он когда-то чужими руками свалил ненавистного лейтенанта, но тот был петушок, а Муратов, ого-го-го, не петушок, не глупый индюк даже, с ним бороться — свою голову под топор ставить. Умен, упрям и... прав.

Козин, наконец, раскурил трубку, покосился на Муратова, который сидел все в той же позе, еще секунду подождал от него возражения, хмыкнул: не хотите — воля ваша, и неторопливо продолжал:

— Товарищ Тулькусурин — человек молодой, знаний у него много, а вот практического опыта, — пах, пах, и снисходительная улыбочка. — Учить его надо, Габит Салихович, а не покрывать его грехи. — И опять он выждал, но Муратов ничего не возразил. Козину опять стало неуютно. Он вяло пососал трубку.

— Гильману Ильгамовичу хочется одним махом семерых убивахом, — сразу хватается и за то, и за другое, и за третье. И все ему вынь да положи! А может, надо сначала подумать, взвесить? Нет, идет напролом! Вот пример: вчера он мне только успел изложить свою идею этого самого месячника покоя, я не успел толком и разобраться что и как, а он уже утром — в райкоме, у вас на приеме с той же самой идеей. Так, Гильман Ильгамович?

Гильман в который раз за эти двое суток изумился коварству Козина. Ведь вчера же директор фактически отверг его идею, а сегодня, глядя

прямо в глаза, с улыбочкой врет, что ему не дали подумать, и даже представляет его, Гильмана, таким подхалимом, склочником. Он порывался встать, но Муратов положил руку на его колено и сказал с почти веселой улыбкой:

— Слыхал, товарищ лесничий? Учись уму-разуму, мотай, как говорится, на ус! А ружье этому, м... м... Мурзабаю купи. У него, что, действительно была «бельгийка»?

— Какое там! Все в поселке знают — обыкновенная «тулка».

— Значит, твое геройство тебе дешевле станет. — Протянул руку. — Бывай. Я постараюсь скоро заглянуть. И запомни вот что: прежде чем шагнуть вперед, пять раз оглянись назад. А то ведь сзади и толкнуть могут.

До Гильмана не сразу дошло это предупреждение, но он, кивнув, поглядел на Козина. Тот сделал вид, что занят чисткой трубки...

IX

Лишь по пути в магазин он понял слова Муратова: делай все с оглядкой, и его почему-то взяла злость. На кого оглядываться? На таких, как Мурзабай? Или даже Козин? Но вот Мурзабай живет без оглядки, ему бы только хапать и хапать, а Козин — тот, похоже, все оглядывается и только делает вид, что идет вперед. На самом же деле его вполне устраивает нынешнее положение и состояние лесного хозяйства... Так зачем же ему, Гильману, оглядываться, если он... Впрочем, стоп, стоп! Гильман даже на самом деле остановился, и с пронзительной силой вспомнилось ему, как еще совсем недавно у старой барки он самонадеянно, без оглядки бросился в омут и... еле-еле выплыл... Вот оно что!..

В магазине, предъявив охотничий билет, он осмотрел самую дорогую двустволку, разобрал ее, сложил в чехол, заплатил деньги и неторопливо отправился к дому Козиных. Он проклинал себя за то, что оставил мотоцикл в их дворе, не хотел после сегодняшнего разговора с директором попадаться на глаза Нине, и в то же время мучительно сознавал, что очень хочет ее увидеть. А Нина, не замечая его подавленности, с обычными шуточками и подковырками помогла подкатить мотоцикл к воротам. Была она простоволоса, в продувном ситчиковом платье и босоножках. Гильман, возясь с мотоциклом, невольно бросал взгляды на ее полные загорелые икры, чувствуя сладостную боль в груди и горячий прилив крови. Наконец, чтобы хоть что-то сказать, он, уже взгромоздившись на седло, промямлил:

— Когда... ожидать в наших... краях? — и тут не выдержал, посмотрел на девушку. Нина стояла совсем близко, скрестив на груди руки. Волосы, ниспадающие на плечи, шевелил едва заметный ветерок, и они ласкались к ее внезапно погрузневшему чистому лицу.

— Не знаю... К экзаменам готовиться надо.

— Нина... — начал было Гильман, но она повела плечом, бросила:

— Уезжай!

Это слово, сказанное с каким-то горьким сожалением, вдруг наполнило душу парня ликованием. Он резко ударил по заводной лапке — мотор сразу же радостно запел, — улыбнулся ей и рванул с места.

— Так, значит, значит, значит... — повторял он, выруливая на дорогу, — ...значит... Ах ты же! Значит, Нине он не безразличен? А она ему? А как же Зубаржат? А что Зубаржат? Зубаржат

хорошая и ждет его, конечно, но какие у него перед нею обязательства? Хотя... А Нина? Вот ведь как все непросто!.. Надо подумать, надо разобратся в себе...

Но ни подумать толком, ни разобратся в себе ему на этот раз не удалось — на обочине дороги, подняв узелок, «голосовал»... Мурзабай. Гильман, помянув шайтана, осадил свой «Урал» рядом со стариком. Не сходя с мотоцикла, он протянул ему чехол с ружьем.

— На, держи!

Глазки Мурзабая радостно сверкнули, он дрожащими пальцами дернул за шнурок, вытащил стволы, запричитал:

— Это ты хорошо сделал, Гильман-кустым! Вот и поладим, вот и... — он сощурил глаз, поглядел через стволы на небо, зацокал языком.

— Э, братишка! Да ведь это двенадцатый калибр, а мое было — шестнадцатый, да еще и «бельгийка»!

— Полно врать-то, — оборвал его Гильман. — Если не нравится, давай сюда, — и протянул руку.

Мурзабай проворно сунул стволы в чехол, забормотал, залезая в коляску:

— Ладно, ладно... Ишь, горячий какой... Свои люди... Ну, а теперь вези меня с ветерком домой. Из-за тебя я сюда приезжал и хотя знаю, не очень-то ты мне рад, но уже не обессудь.

Он накрылся брезентом.

— купишь мне патроны двенадцатого калибра — и дело с концом.

— Какие еще патроны? — взорвался Гильман.

— Я же сказал — двенадцатого калибра, под это ружье. Ну, поехали, поехали!

Гильман тронулся с места, размышляя теперь уже не о приятных вещах, а о том, что же собою

все-таки представляет этот сидящий рядом с ним уже изрядно пожилой человек, можно сказать, старик, сделавшийся его недругом. А его отец был недругом его, Гильмана, рода...

Биографию Мурзабая Гильман, конечно, знал со слов других, но что биография? И у орлов рождаются трусливые дети, а у воробьев — герои.

...В тридцатом году, во время коллективизации, бывшего старшину Уелдана с семьей выселили куда-то далеко в Сибирь... Оттуда пятнадцать лет тому назад возвратился самый младший из трех сыновей Уелдана — Мурзабай. О своей сибирской жизни он рассказывать не любил, но на собраниях к месту и не к месту называл себя «жертвой культа личности», хотя, ясно же дураку, никакого культа в те годы еще не было, да и не подходил кровосос Уелдан к этому понятию — жертва. Однако сельчане сочувственно помалкивали и даже поначалу жалели Мурзабая. Отец, конечно, был кровососом, но дети-то при чем? Их-то за что сослали вместе с отцом? И забывали добрые отходчивые люди, что если надо выселить отца-кровососа, то куда же девать детей? Им оставить? Но у них, бедняков, и свои пухли от голода. В детдом? Но детдомов в те горькие годы не хватало и на тех детей, у кого вовсе не было родителей...

Скоро заметили, что «жертва культа» приехал на родное пепелище с немалыми деньгами. Два года нигде не работал — рубил и обстраивал добротный пятистенки, наняв где-то сноровистых мужиков. Его жена Габида, тюменская татарка, молчаливо растила троих смуглолицых детей.

Потом Мурзабай взялся за охотничье дело и, действительно, стрелял метко, знал хорошо повадки лесного зверя и птицы — видно, в Сибири научился этому нелегкому промыслу.

Он исчезал в лесу по несколько суток в зимнюю лютую стужу, в пургу и, когда уже многие начинали беспокоиться: а жив ли он, возвращался с мешком хороших шкур...

Ни с кем в родном селе Шамов не дружил, и все понимали: не может простить сын бывшего старшины, в страхе державшего всю округу, «предательство» односельчан. А близких родственников у него здесь не осталось. Так что и на работе-то его почти не видели, и дома.

В прошлом году его сделали бригадиром охотников, хотя Тулькусурин уже тогда питал к нему неприязнь, но начальство рассудило иначе: коли Шамов всегда выполняет план, а другие чаще из лесу возвращаются с пустыми руками, значит, сумеет он и другим передать свои секреты... Передал Мурзабай другим охотникам эти самые секреты или нет, но бригада действительно стала выполнять план, Мурзабая ставили в пример, он заважничал, но попался с теми самыми утаенными шкурками... Теперь вот эта история с глухарем, ружьем, поклепом на него, Тулькусурину, потомка кровного врага рода Мурзабая.

Гильман с ненавистью покосился на вольготно устроившегося в коляске браконьера. Тот, чему-то ухмыляясь, блаженно прикрыл глаза и, казалось, подремывает. «С какой стати я везу этого человека? — зло подумал лесничий. — Что же получается: Мурзабай, выходит, не только во всем прав, но и едет на мне чуть ли не верхом?»

Гильман резко тормознул. Мурзабай, колыхнувшись вперед, испуганно вытаращил глаза:

— Что? Что такое?

— Вылазы!

— Ты это кому?

— Тебе!

— Что? — озибался полусонный Мурзабай, не понимая или притворяясь, будто не понимает, что от него хотят. По обе стороны дороги шумел лес.

— Ну, хватит прикидываться! — крикнул Гильман, сорвал брезент. — Вылазь, говорю!

Шамов, бормоча: «Да что же это такое? Совсем молодежь совесть потеряла!», не выпуская из рук ружье, выкарабкался из коляски. Гильман выбросил его узелок и, обдав бывшего попутчика дымом и пылью, скрылся за поворотом...

Он, чтобы не пугать животных, заглушил мотор в ложбине, неподалеку от временного вольера, и пошел пешком. Там работал сын Янтуры, молчаливый, худой Ишмурза. И сейчас, встретив лесничего, он не проявил ни радости, ни беспокойства, лишь коротко поздоровался и потопал следом за начальником. У Гильмана уже давно засела мысль сделать в лесничестве настоящий, большой вольер, где дикие звери могли бы, не опасаясь медведей, укрываться под навесами от непогоды, в снежные зимы кормиться и, возможно, даже выводить потомство. Хотел он этой мыслью поделиться на совещании, но вот не выступил и Муратову не успел сказать о своей задумке. А такое сооружение требовало денег, штата. Пока же здесь, во временном, распоряжался этот молчаливо-загадочный Ишмурза, совсем не похожий нравом на своего бойкого отца Янтуру и словоохотливого деда Бикмурата.

Янтура, когда уходил на пенсию, попросил поставить сюда, на его место, сына.

— Нельзя ему без дела, Гильман-сын, — проникновенно говорил Янтура, — и в городе большом нельзя, кхе...

Гильман уже знал, что Ишмурза за какие-то грехи попал в тюрьму, отсидел семь лет и вернулся сюда. Какое-то время он нигде не работал,

правда, и на люди почти не показывался. И как ни было Гильману любопытно узнать, что же все-таки натворил сын уважаемого Янтуры, не стал беречь душу старика расспросами.

— Хорошо, агай. Пусть работает.

— Он любит животных! — поспешил Янтура. — Любит! Как я!

...Все это вспомнил Гильман, наблюдая, как к вольерщику подошла молодая лосиха и стала пощипывать спину Ишмурзы вислыми коричневыми губами.

— Гей, шайтан, поиграй у меня! — незлобиво-довольно пробормотал парень, достал из кармана кусочек хлеба. Лосиха мягко взяла хлеб с ладони, шевеля ноздрями, стала жевать, чуть помахивая от удовольствия головой. Ишмурза, не обращая внимания на начальство, гладил ее ладонями по горбоносой морде, при этом всегда хмурое, как будто ледяное лицо вольерщика ожило, потеплело. «А ведь он действительно любит животных! — подумал Гильман. — Что же, однако, с ним произошло, какая беда надломила?» Чтобы как-то воодушевить странного парня, лесничий бодро сказал:

— К зиме думаем здесь домик построить. Хватит тебе в срубе жить.

Не оборачиваясь, Ишмурза пробурчал:

— Построите — хорошо, нет — и так перезимую...

Потоптавшись еще немного, Гильман побрел к мотоциклу.

...Его окно было освещено. Гильман сначала недоуменно остановился, потом вспомнил обещание Зубаржат: «К твоему приезду все здесь уберу». И действительно, это была она — в новеньком блестящем выше колен платье, подхвачен-

ном кожаным ремешком, отчего ее широкие бедра были еще круче, красивей.

Белозубо улыбнулась, спросила обыденно:

— Как съездилось?

Гильман с изумлением глядел то на нее, такую домашнюю, зовущую, то на преображенную комнату и не мог вымолвить ни слова.

— Удивляешься? — поняла Зубаржат. — Забыл, что я обещала тебе, когда ты уезжал? Видишь, выполнила. Нравится?

— Удивишься тут, — наконец-то заговорил Гильман. — Ты в мою комнату просто душу вдохнула, Зубаржат.

Девушка засияла, весело затараторила:

— Я ведь живой человек, вот и живую душу вдохнула, — и начала по-хозяйски, не торопясь, накрывать на стол.

Умываясь, причесываясь и переодеваясь в чулане, Гильман прислушивался к ее совсем домашнему голосу, к стуку посуды и мучительно думал: «Что же делать?.. Она, похоже, решила, что они объяснились... А разве нет? Как же Нина? Что будет, если Зубаржат после ужина сама не догадается уйти домой? Выпроваживать? А мои нежные слова, мой поцелуй? Да ведь она действительно мне нравилась, я даже в те мгновения любил ее! Но все это было до Нины, до Нины...»

— Гильман! — услышал он певучий зов девушки. — Кушать подано!

Споткнувшись о порог, он вошел в комнату и даже остановился на мгновение — стол ломился от всякой снеди, а среди краснобоких соленых помидоров, среди зелени петрушки и еще каких-то трав сверкала бутылка водки.

Перехватив его взгляд, Зубаржат, запинаясь, пояснила:

— Вот... Думала, устанешь с дороги, выпьешь.

Гильман не пил, но отказаться выпить сейчас с Зубаржат посчитал трусостью, потому бодро похвалил:

— Молодец! — и тут же спохватился: — Только ведь у меня рюмок нету.

Девушка, лукаво улынувшись, достала из стола две новенькие большие рюмки: на их донышках еще краснели магазинные наклейки.

Гильман покачал головою:

— Э, да ты, я вижу, все предусмотрела!

— Впервые с тобой за одним столом, — начала оправдываться она и вдруг нахмурилась: — А может, ты этого не хочешь?

Парень мягко привлек ее к себе.

— Да что ты, милая...

Они без тостов чокнулись, выпили. Гильману показалось, что внутри него что-то вспыхнуло и опалило сначала желудок, потом горло и голову. Зубаржат тоже дышала тяжело, из расширившихся глаз выкатились слезинки. Не глядя друг на друга, они набросились на еду, а когда притушили огонь в желудке, Зубаржат облокотилась полными руками о стол, спросила:

— Почему не рассказываешь, что было на совещании? Нас ругали, хвалили?

— Ммм, — промычал Гильман набитым ртом, чувствуя, как тяжелеет и туманится голова. — Не хвалили и не ругали. О другом шла речь. — Он внимательно поглядел на покрасневшую девушку, и она показалась ему такой красивой и желанной, что захотелось ее тут же поцеловать. Но он взял себя в руки, снова наполнил рюмки. — У нас вместо твоего маленького питомника будет...

— Гильман, — тихо попросила она, — давай хоть сегодня, сейчас, не говорить о делах?

— Так сама же просила...

— А! — она махнула рукой, подняла свою рюмку. — Бабий язык — что помело... Давай за нас с тобою.

После второй большой рюмки Гильман почувствовал себя свободно-радостным, счастливым и сильным. Образ Нины погас в каком-то теплом пепельно-розовом тумане. Здесь была Зубаржат! Милая, прекрасная Зубаржат. Она его любит! Любит! Он каким-то образом очутился рядом с нею, обнял за талию.

— Ты любишь меня, Зубаржат?

— Гильман, милый... — девушка потянулась к нему губами...

Он очнулся, ничего не понимая. В окно сквозь цветы на подоконнике сочилась заря, и оттого цветы казались алыми каплями крови. На его груди лежала голова Зубаржат, ее иссиня-черные волосы щекотали его тело. Девушка была совершенно нагая, и эта женская прекрасная нагота, увиденная им так близко впервые в жизни, испугала и отрезвила Гильмана. Он трясущейся рукою натянул на Зубаржат измятую простыню, холодея от мысли, как будет глядеть ей в глаза, когда она проснется.

А она от его движений и проснулась, прошептала, не убирая с его груди свою голову:

— Гильман, милый...

— Кхмел!..

— Ты рядом? А мне все кажется, проснусь, а тебя — нету.

Парень не знал, что ей ответить... Почему-то ему стало вдруг неприятно лежать рядом с нею, и он все думал, отчего это? Потом понял... Понял... Хотя и не было у него никакого опыта с женщинами, он, взрослый человек, все прекрасно понимал, что *этот первый раз должен быть не таким*. Но почему она, почему она не сказала об

этом ему раньше? Он резко шевельнулся — и она торопливо убрала голову с его груди — встал, подошел к окну. Прижал горячий лоб к запотевшему холодному стеклу, затылком чувствуя ее настороженно-пугливый взгляд. Спросил, не оборачиваясь:

— Ты почему меня обманула?

Он слышал, как она всхлипнула, но не обернулся, еще раз требовательно и зло бросил сквозь зубы:

— Почему меня обманула?

Сзади послышались сдавленные рыдания и бормотание Зубаржат.

— Гильман... любимый... Я не хотела... Ты не спрашивал... Меня саму обманули, когда мне было только семнадцать... После этого я... я никого не знала, ни с кем не была... Прости меня, любимый...

Ему стало ее до того жалко, что он почувствовал, как у самого защекало в носу. Он сел на койку, осторожно погладил ее по сбившимся волосам, и она рванулась к нему, повисла на шее, обдав горячим духовитым теплом и орошая его шею, щеки, плечи слезами.

— Прости, любимый... Что же мне делать-то, как жить без тебя?.. Я буду тебе самой верной женой, а не хочешь, не хочешь, я буду просто так, когда позовешь... а не позовешь, издали любить тебя буду, только ты пойми меня и прости, любимый мой...

И опять до сердечной боли ему стало жаль ее, опять защекало в носу, запершило в горле. Он снова погладил ее по голове, сказал глухо:

— Я понимаю тебя, а вот себя... не пойму... Дай мне подумать, разобраться в себе.

— Гильман! — она прильнула к нему всем своим горячим, полным тугим телом, стала цело-

вать его подбородок, уши, шею... — Гильман, вот увидишь, я буду тебя любить до смерти, — она повалилась на постель, увлекая его. — Побудь со мною еще немножко.

Он покорно лег, но на ласки ее не отвечал, лежал, созерцая остатки вчерашнего ужина, недопитую бутылку, свои второпях брошенные на стул брюки, одна штанина которых пласталась по полу, ее платье, белье, эти поблекающие в свете утра алые цветы хны... Окна, залитые утренней синевой, показались ему двумя голубыми глазами, которые буравили его насквозь... У кого голубые глаза? Чьи это голубые глаза?

Внезапная догадка обожгла его, и он вскочил так, что Зубаржат испуганно шарахнулась и вжалась в стенку. Натягивая брюки, он скомандовал:

— Иди домой, пока люди не увидели, — и вышел в чулан. Омывая лицо холодной водою, он крутил тяжелой головой, бормоча про себя: «Что же я наделал! Что наделал!», — и хотя никаких окон в чулане не было, и он, умываясь, все время до боли жмурился, все буравили и буравили его душу два синих взгляда.

Войдя в комнату, он увидел, что Зубаржат, уже одетая и причесанная, пытается убрать со стола.

— Не надо, — остановил он ее. — Сам уберу. Иди.

Она приложила к груди вздрагивающие руки, в темных глазах плескались страх, отчаянье и надежда.

— Гильман, не думай.. Никто о наших отношениях не узнает. Только... — она потупилась, чертя, по обыкновению, носком туфельки по полу. — Ладно... Прощай, — и порывисто вышла.

«Что она хотела сказать? Что?» — думал Тулькусурин, торопливо убирая со стола обеды. И

опять его душу буравили синие глаза, и было нестерпимо стыдно оттого, что он еще смеет после того, что произошло у него с Зубаржат, об этих чистых, бездонных глазах думать...

Гильман быстро подмел комнату, распахнул двери и окна — чтобы и духу вчерашнего вечера, сегодняшней ночи не осталось, и, натянув трико, выбежал на ежеутреннюю прогулку. Во время неторопливого бега он всегда чувствовал, как тело набирается сил, ум — ясности, а душа — спокойствия. И думалось в это время хорошо...

...Мурзабай, когда его высадил Гильман, плюнул вслед, погрозил мосластым кулаком, бормоча: «Проклятое Тулькусуриново семя! Я тебе покажу! Я тебе покажу!» — но что он и каким образом хотел показать Гильману, охотник не знал, поэтому, плюнув еще раз, закинул ружье и узелок на плечо, потопал вдоль дороги вперед. «Хуже нет ждать да догонять, говорят русские, — думалось Мурзабаю. — Неверно говорят! Хуже нет ждать, а догонять — это смотря кто кого догоняет... Его, Мурзабая, все равно догонит лесховская машина, так что — хорошо. Но лучше идти, чем стоять», — и потому он неторопливо шел, перебирая в памяти свою прошлую жизнь. Он догонял. Много раз догонял. Догнал и богатство, что ушло, улетело из рук его отца Уелдана. Да что там отцово богатство по сравнению с тем, что он, Мурзабай, получил, женившись на татарке Габиде. Ее отец ворочал в Сибири такими делами, которые и не снились его отцу в Башкирии! И хотя проклятые большевики пограбили много, но кое-что припрятанное не нашли. Однако и шиковать на это приданое жены особенно тоже было нельзя. Потому Мурзабай опять догонял: в тундре волка, в лесу куниц, соболей, лисиц, а если уходили от него звери, он их все-таки догонял,

покупая у местных охотников и браконьеров почти за бесценок шкурки. Потому и прослыл удачливым, знающим лес. Тулькусурин не купил ему к ружью патронов? Ничего, он заставит его их купить, хотя лесничий против него — нищета и голь босяцкая, а заставить раскошелиться его надо. Как? Да сказать, что он там, в лесу, и патронташ его в речку забросил! Раз ружье купил, купит и патроны.

От этих мыслей Мурзабай совсем повеселел и было прибавил шаг, но, услышав позади урчание машины остановился.

В кузове сидел, нахохлившись, сынок Гайсар и старый шайтан Янтура. Мурзабай гневно взглянул на сына: ведь приказывал же ему — ни шагу из дому! Однако улыбнулся Янтуре, забалагурил, карабкаясь в кузов.

— Думал, пешком скорее вас дома буду, а вы догнали меня!

Янтура изумленно тарачился на него, механически принимая узелок и ружье.

— Ты же отстал от нас в Иманкулове, как же впереди очутился?

— Волшебное слово знаю, — подмигнул Мурзабай. Старики уселись рядом. Машина тронулась. Янтура, взвешивая в руке чехол с ружьем, поинтересовался:

— Новое купил, что ли?

— Да, купил...

Гайсар недоуменно посмотрел на отца: еще утром тот говорил ему, что не захватил из дому денег даже на обед, но, зная тяжелый характер родителя, памятуя, как отец его опозорил при всех, допытываться ни о чем не стал, опять нахохлился и ушел в себя.

Он думал о Зубаржат. Еще весною он понял, что влюблен в нее, но после этого стал еще даль-

ше сторониться бойкой, языкастой девушки. Недавно в кино она села с ним рядом, и он весь сеанс стыл и пылал, ничего не видя на экране, не смея и взглянуть на нее. А она, кажется, что-то говорила, о чем-то спрашивала, но он сидел истукан истуканом и таковым предстал перед изумленным взором своего товарища после окончания кинофильма, когда все уже вышли. Товарищ опасливо тронул его за плечо, почему-то шепотом спросил:

— Что с тобою, Гайсар? Тебе плохо?

Гайсару было хорошо. Хорошо оттого, что полтора часа он сидел бок о бок с желанной Зубаржат, чувствовал сердцем жар ее тела, вдыхал ее запахи... Ему было теперь и плохо. Проклятая робость! Ну что стоило проводить Зубаржат, тем более что их дома стояли неподалеку! Нет, не объясняться ей в любви, на это у Гайсара просто не хватило бы духу, а пройтись рядом, пусть молча...

Тогда всю ночь он не мог уснуть, кусая подушку и шепча: «Зубаржат... Зубаржат...» Он плакал от бессильной ярости на свою нескладность, свою долю, он плакал от любви и счастья.

А утром, на работе, первым, кто заметил его воспаленные глаза, была она, Зубаржат. Подошла, приложила к его горячему лбу руку, и от ее прикосновения парень оглох, онемел. По ее озабоченному лицу, по тому, как шевелились ее резко очерченные пухленькие губки, Гайсар понял, что она волнуется за его здоровье, но ничего ей не сказал, только втянул глубже голову в плечи...

В своей застенчивости, робости Гайсар в душе винил отца. Это он не дает никому в доме рта открыть, он, когда Гайсар окончил восьмилетку, намеревался пойти в девятый, отрубил: «Хватит!

Образованных нынче развелось, как нерезанных собак, умных мало». И три года таскал его за собою по лесам, приобщая к охотничьему промыслу. Но охотник из парня не получался — страсти к убийству беззащитных птиц и зверей он не испытывал, а к разделыванию тушек, снятию шкурок даже питал отвращение. Понял это и отец, так что лишь для виду поворчал, когда узнал, что сын без его разрешения устроился в лесничество. Гайсару надоело шатание по лесам, стрельба, мелочная и злая опека отца — даже на кино приходилось выпрашивать тобой же заработанные копейки, — а Мурзабаю — бестолковство сына. В лесхозе же, здраво рассудил старик, непосредственным рабочим дают и дрова, и сенокос, и огород... Всё это Гайсару дали, не дали пока только лошадь. Отец уже замучил попреками, да что отец... Имея лошадь, Гайсар с радостью привез бы Зубаржат для кладки печки глину, которую она давно мечтает завезти. Живет Зубаржат вдвоем с матерью, помочь им некому. Вот увидела бы она, какой он, Гайсар, внимательный, хозяйственный...

Он даже набрался смелости напомнить лесничему Тулькусурину, что лошадь до сих пор не выделена, и лесничий обещал похлопотать. Хорошо бы получить лошадь к сенокосу, тогда бы можно было помочь Зубаржат и скосить, и сметать. Парень представил, что они вдвоем, бок о бок, на копне сена едут в телеге с луга, Зубаржат, как обычно, хохочет, подначивает его и шечочет возле уха травинкой... Он это так живо представил, что не заметил, как вслух сказал: — Хорошо-то как!

Старики прервали свой неторопливый разговор, уставились на него. Отец спросил:

— О чем это ты? Что хорошо-то?

Гайсар отряхнул приятные мысли, поспешно пробормотал:

— Это я так... Вокруг, говорю, хорошо.

Старики снова занялись своим разговором, а Гайсар опять погрузился в свои грезы.

Дома он торопливо умылся, и даже не перекусив, стал собираться в клуб, где надеялся встретить Зубаржат. Когда он причесывался у зеркала, с тоской думая, что нескладен, худ и не очень-то красив, за его спиной вырос отец. Спросил хмуро:

— Куда это ты?

— На улицу, гулять.

— А у меня ты спросил? — повысил голос отец. Гайсар вдруг почувствовал злость, бросил сквозь зубы:

— Не маленький, — и спокойно добавил: — Прикажешь до ста лет, что ли, держаться за твой рукав?

Мурзабай побагровел, глаза выкатились из орбит. Он впервые услышал такие смелые речи от сына, понял — выходит из беспрекословного повиновения, испугался, загремел:

— С каких это пор ты так начал разговаривать? И с кем? С отцом? У кого научился? У этой гниды Тулькусурина? Запорю, сукин сын! — и стал торопливо рвать с пояса широкий кожаный ремень.

Габида, привыкшая молча переносить вот такие выходки вспыльчивого мужа, на этот раз повисла у него на руках:

— Не позорь сына, Мурзабай!

Этот бунт тихой, покорной жены привел Мурзабая в такое бешеное изумление, что он лишился дара речи. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но маленькая Гульназ, перешедшая в этом

году в третий класс, выступила вперед и похвастала:

— Папочка, папочка! А меня сегодня учительница похвалила за то, что я хорошо полола школьные грядки!

Мурзабай обмяк. Он любил свою младшенькую, и теперь глядел на это маленькое невинное существо, которое всем своим напряженным личиком, глазенками ждет и от него, отца, похвалы, со смешанным чувством умиления и страха. Когда-то и она уйдет из-под его властной руки. Отстранив жену, он пробормотал:

— Что похвалила, это хорошо. Значит, есть за что, значит, умеешь работать. — Представил свой огород, кое-где поросший травой, опять озлился: — Только вот школьные грядки полешь, а свои зарастают, — и, шевеля бровями (что, знал, дочка любила), погрозил ей толстым пальцем. Кинул сыну: — Ложись спать. Зарей подыму дрова колоть.

— Подымайте, а спать я не лягу, — твердо сказал Гайсар и направился к двери. Ярость на непослушного сына снова ослепила Мурзабая. Он схватил его за тонкую шею, отшвырнул прочь от двери к бревенчатой стене с такой силой, что стена гулко ухнула. Мурзабай думал, что этого будет достаточно, чтобы подавить сыновний бунт, но, глянув на него, вздрогнул: сын стоял у печи чуть согнувшись, его горящие глаза смотрели не мигая, с такой жгучей ненавистью, с таким жестоким упорством, что Мурзабай невольно отшатнулся.

Сын, глядя прямо перед собою, твердыми шагами вышел. Дверь громко хлопнула... И только тогда Мурзабай дал волю гневу. Он набросился на жену с упреками, что она заодно с сыном, который попал под влияние «этого выродка Тульку-

сурина», что он еще покажет Гайсару, как не слушать отца, что он запрещает всем выходить из дому! Выпив медовухи (хотя Мурзабай вовсе не был пьяницей, но в расстройстве и радости позволял себе ковшик-другой бражки), хозяин как-то поутих, закурил папиросу и сел на крылечко.

А Габида, слушая его упреки, в который раз думала, что жизнь ее сломал вот этот властный, старше нее почти на двадцать лет, человек, что она не питает к нему ни любви, хотя родила от него троих детей, ни ненависти, ни обыкновенной жалости. Ее, молоденькую, отбившуюся от подружек, когда они собирали в тундре ягоды, Мурзабай-охотник, которого она едва знала, взял силой. Кто ее, опозоренную, мог тогда защитить? Ни отца, ни братьев. А Мурзабай, бесстыжие глаза, на другой же день посватался. Престарелая мать обрадовалась: хотя и жених-то человек без роду без племени, но все же мужчина, да и выяснилось, из тех, кому, как и им, Советская власть была костью поперек горла. Говорит, не беден, здоров телом, здрав умом... А что старше почти вполовину, так беда ли это для сиротки? И отцом будет, и мужем. Нет, такому можно доверить и дочь, и припрятанное мужем золотишко... Габида не посмела перечить матери да и боялась позора... Теперь вот не живет, мучается. Будто бы все в доме есть, а нету главного — любви, согласия... Бедный Гайсар! Парню в армию осенью, а отец до сих пор считает его мальцом, бьет при всех, всячески унижает. А Гайсар, небось, уже мечтает о девушках...

Гайсар мечтал о Зубаржат. Она была старше его, но ведь первая любовь иной раз не знает границ возраста, и то, что восемнадцатилетний парень влюбился в девушку тремя-четырьмя годами старше его, не удивительно. В ней он увидел

женщину, и какие-то мощные силы тянули его к ней. Была ли это любовь? Гайсар другого определения своему состоянию не находил. Сегодняшняя стычка с отцом приподняла его в собственных глазах, и, шагая к местному клубу кружным путем, он решил, что, если там увидит сейчас Зубаржат, объяснится с нею. Не беда, что ему в армию, побудет в солдатках. А руки у него крепкие, работать и зарабатывать он умеет, в чем девушка могла не раз убедиться. С отцом же под одной крышей больше жить невыносимо. Уйдет он к Зубаржат, и заживут они счастливо!

Но в клубе девушки не было. Подождав начала сеанса и убедившись, что она не пришла, Гайсар медленно разорвал два билета — свой и ее, бросил их в урну. Что случилось? Зубаржат пропустила кино, которое было здесь редко. Уж не заболела ли она? От этой мысли парню стало холодно, и он торопливо зашагал к дому девушки.

На стук вышла ее больная, высохшая мать. Очень удивилась, увидев не дочь, а знакомого парня, и проворчала, что Зубаржат нету, а где она, неизвестно.

В смятении Гайсар взобрался на высокий холм, оглядывая с него окрестность, да так и просидел на нем всю ночь, погруженный в свои тревожные думы. Когда же занялся рассвет, он отряхнул дрему, поднялся, кинул взгляд в сторону домика конторы, пробежался глазами по окнам конторы, остановился почему-то на двери квартиры лесничего... Она открылась, и Гайсар, застонав, как подкошенный рухнул на росную траву...

Х

Этим же ранним утром вольерщик Ишмурза, опустив голову и закинув руки за спину, нето-

ропливо шел на свою работу. Его крупная, сгорбленная фигура, не бритое неделю лицо, шаркающая походка придавали ему вид пожилого человека, хотя Ишмурзе не было еще и тридцати пяти лет.

Он шел напрямую через лес, и только со стороны казалось, что безучастен к утреннему пению птиц, голоса которых сливались в одну розово-зеленую симфонию, не видит цветов и полусонных деревьев. На самом же деле Ишмурза все это замечал и жадно впитывал, поскольку с детства был приучен своим великим дедом Бикмуратом, отцом Янтурою к лесной жизни, полюбил и познал ее. В это утро что-то будто надломилось в душе Ишмурзы. Ночью он почти все время не спал, кадр за кадром гонял в воображении киноленту своей жизни и понял, что так дальше, на отшибе от людей и без людей, ему жить невозможно. Но и бросить вольер, этот лес, эти любимые березоньки... Вот они стоят переплетясь, будто поддерживая друг друга. А кто поддерживает его, Ишмурзу? Кого он поддерживает? Для чего живет с печатью проклятья? Односельчане его будто бы уважают, но сторонятся, а мать, отец, родственники того парня? Они, конечно, до сих пор вспоминают его имя с ужасом и ненавистью, хотя не виноват он, не виноват! Но — виноват не виноват, а человека нет! Погасла навсегда человеческая жизнь, не взойти ей никогда во веки вечные, как утренней звезде, которая еще мигает в рассветном небе. Вот эту сочную, крупную, которая летом всегда сопровождала его на работу, Ишмурза назвал Негасимой звездой, звездой Надежды. Но на что надежда? Срубленное под корень дерево все-таки пустит новые побеги, срубленная человеческая жизнь — никогда не возродится... Люди приходят на свет

одинаковыми, одинаково их любит мать-земля, но у каждого своя судьба, и бывает она такой, что уж лучше бы вовсе не родиться...

Ишмурза скрипнул зубами, помотал тяжелой от дум головою. Подошла одинокая лосиха, стала шевелить губами и помахивать головою, выпрашивая угощение. Вольерщик протянул сахар, которым она с удовольствием захрустела...

Рамиля вышла замуж за первого секретаря райкома Саюшева. Нет, Ишмурза ее не осуждал: не было у них ни взаимных клятв друг другу, ни заверений в любви, даже и любви-то не было. Со стороны Рамили... А Ишмурза сам не скоро понял, что любит взбалмошную худенькую соседскую девчонку. До конца понял, пожалуй, даже не после *того*, а служа в армии, но ведь тогда ни себе, ни ей не признался.

Случилось это, когда соседке шел семадцатый год и она закончила десятый класс, а Ишмурзе, признанному рыболову, собирателю ягод, грибов и кореньев, стукнуло девятнадцать. Ишмурза кончил только восьмилетку — надо было помогать отцу, да и особой охоты к учебе он не ощущал. Отец Янтура обрадовался помощнику: семья как-никак девять душ да еще старый Бикмурат. В шестнадцать лет Ишмурза был не по годам плечист, высок, рассудителен, и никто в округе не удивился, что ему доверили полевую сумку лесника. Рамиля, тогда еще совсем девчонка, худющая и угловатая, показывала ему через забор язык, беззлобно поддразнивала, величая с напускной важностью Ишмурза-агаем, хотя этот «агай» был старше своей дерзкой соседки всего на два с половиной года...

И вот, в то самое памятное лето, в августе, он впервые увидел в ней на девчушку-подростка, а девушку.

Ишмурза в выходной день решил сходить на дальний пал за ягодами, заодно и посмотреть, как в тех местах растут молодые сосенки-саженцы. На ногу он был легок, все тропинки к ягодным местам ему были ведомы и потому до заката солнца думал возвратиться. Одевшись и прихватив большой туесок, сплетенный когда-то еще дедом, он рано утром вышел на улицу и тут столкнулся с Рамилей. Соседка, стоя на дороге, тербила косу, в руке у нее было пустое ведро.

—Ишмурза-агай, — на этот раз без обычной подначки обратилась она, — я слышала, вы собрались по ягоды? Возьмите меня, — и взглянула на него своими огромными ореховыми глазами. Эти глаза парень так близко видел впервые. Что-то вздрогнуло в нем, оборвалось, что-то одновременно заликовало, запело... В глазах Рамили были мольба и надежда. Он хотел что-то сказать, но слова застывали в горле, а Рамиля торпливо продолжала:

— Я же ведь поступила учиться, на медицинский... Скоро уеду в город и когда потом еще пойду по ягоды?

— Я далеко собрался, еще устанешь, — наконец-то сильным голосом уклончиво сказал Ишмурза.

Рамиля надула губки, и парень жадно заметил, что они у нее цвета малины, пухленькие, алые.

— Что же я, городская неженка, что ли? В лесу выросла, не устану, возьмите, а?

— Ну что ж... Пошли. — Он протянул руку, взял ее ведро...

В лесу Ишмурза больше молчал, ощущая в себе новое тревожное и сладостное состояние, а Рамиля порхала вокруг разноцветной бабочкой, длинные косы, в которые она вплела гроздья ря-

бины, хлопали ее ниже спины. Срывая травы и цветы, Рамиля расспрашивала об их свойствах, тараторила о том, как сдавала экзамены. Была она в тот день радостно-возбужденная, громко хохотала, когда Ишмурза выплевывал горькие ягоды, настоятельно рекомендованные ею... Иногда парень ловил ее какие-то странные взгляды и в них читал что-то смешанное, похожее на любопытство, страх, надежду и желание ему понравиться...

Чем дальше они уходили в лес, тем все чаще Рамиля оставалась ближе к нему, хотя, конечно, совсем леса не боялась. Лето было на подлете к осени, день стоял солнечный, тихий.

— Закрой глаза, открой рот! — часто игриво кричала девушка и совала ему какую-либо ягоду, лукаво спрашивая: — Что это?

— Земляника.

— А теперь закрой глаза, открой рот. Это что?

— Малина.

— И как ты их различаешь! — восхищалась Рамиля. — Конечно, у каждой ягоды свой вкус, но и это странно. Почему? Ведь растут-то они на одной земле?

И тут Ишмурза вспомнил философские рассуждения деда, отца, сказал, подражая им:

— Все люди живут на одной и той же земле, но ведь все они разные.

— Да, да, — прошептала Рамиля и как-то потухла, стала глядеть себе под ноги.

— Устала? — забеспокоился Ишмурза.

— Нет... не очень.

— Может, давай отдохнем, перекусим?

Ореховые омуты Рамили заблестели, она хлопнула в ладоши.

— Ой, я забыла позавтракать! Но что же мы будем кушать? Я ничего с собою не взяла, а ты?

— В лесу человека должен кормить лес, — важно изрек Ишмурза, опять-таки вспомнив своих мудрых предков. — Собери-ка сушняку.

Они остановились на берегу ручья возле большого бочажка. Там, на перекате, Ишмурза еще издали заметил спинки некрупных хариусов.

Лесник вырезал черемуховый гибкий прутик, очистил его от листьев, достал из кармана куртки тонюсенькую проволоку-струну, сделал петлю и привязал ее к концу прутика. Рамиля, от напряжения прикусив язык, сидела рядом на корточках, наблюдая за его манипуляциями.

— Неужели в этом ручье есть рыба? — шепотом спросила она, не видя того, что было видно опытному ее спутнику.

— Дедушка говорит, что раньше из таких вот ручьев рыбу возами возили, — также шепотом пробубнил Ишмурза. — Да и ручьи были — речки, а теперь... Но на обед мы наловим.

Он осторожно опустил петлю в воду, повел удилищем, как водят сачком, резко дернул, и серебристая веретенообразная рыбина шлепнулась на землю. Девушка еле сдерживала свое восхищение и радость. Через минуту еще две рыбины бились на берегу. Ишмурза протянул Рамиле спички.

— Зажги костер да нарви листьев конского щавеля, которые пошире.

Сделала так, как велел он, лесной человек, а Ишмурза, поймав еще пяток хариусов, завернул их в листья, закопал в жар...

Наверное, запеченная в золе рыба, которую они ели без соли и хлеба, показалась Рамиле необыкновенно вкусной. Она обсасывала все косточки, хвалила Ишмурзу, а он, важно помалкивая, подкладывал ей лучшие пропеченные рыбины...

Уже солнце перевалило за полдень, к тому же на западе стала расти темная тучка, пахнуло свежим ветерком. Ишмурза понял — собирается дождь, поэтому заторопил свою спутницу к малиннику.

Ягод было здесь видимо-невидимо, и Рамиля то и дело всплескивала руками, радостно вскрикивала и бросалась от одного кустика к другому.

Увлеченные сбором, они не заметили, как пошел дождь, и только когда густо сыпанули крупные капли, Рамиля вскрикнула:

— Абау! — и заозиралась вокруг.

— Беги вон под тот дуб! — приказал Ишмурза.

— А ты?

— Я доберу ведро.

— Я останусь с тобой.

Ишмурза глянул на нее и понял, что она не уйдет. Дождь уже промочил ее тонкое платьице, и оно прилипло к телу, бесстыдно обозначив крепкие небольшие груди, ямочку на животе, чуть угловатые бедра...

Он протянул ей свою фуражку, снял с себя куртку.

— Надень, простудишься.

— А ты? — стуча зубами, спросила она, натягивая на себя куртку.

— Мы народ привычный, — хмыкнул лесник, продолжая собирать мокрые ягоды.

...Продравшись сквозь мокрые заросли чертополоха и дикой конопли, они, совершенно промокшие и озябшие, наткнулись на копну свежего сена.

— Сейчас согреемся, — бодро сказал Ишмурза, вырывая для нее и для себя норы. — Лезь вот сюда, — приказал он.

— А ты?

— А я сюда, — указал он пальцем на соседнюю нору.

— Нет, я без тебя боюсь, — совсем не капризно протянула она. — Давай вместе... И не страшно, и теплее.

Поколебавшись секунду, Ишмурза соединил два кубла, она улеглась первой, он полез следом. Минутку лежали рядом в полной темноте, пьяные от запаха трав, и слушали, как на вершине стожка шелестит дождь.

— Давай разденемся, — предложила Рамиля и добавила, запинаясь: — Только не совсем... Мокрую верхнюю одежду снимем... А то липнет...

Не дожидаясь его согласия, она завозилась, освобождаясь от куртки и платья. Он тоже снял ставшие от воды брезентовыми брюки.

— Ты где? — шепотом позвала она его.

— Тут я.

— Иди ко мне... Мне холодно.

Ишмурза, облизывая пересохшие губы, придвинулся к ней, она сама легла на его руку, обхватила голову и опалила горячим шепотом:

— Поцелуй меня.

— Я не умею, — так же шепотом отозвался он, но инстинктивно искал пересохшим ртом ее губы.

— Поцелуй как умеешь.

Ишмурза прильнул к ее губам, чувствуя, что задыхается от счастья и необъяснимой радости, которая гулко рвалась в его груди. Она сладко покусывала его губы, водила по ним горячим язычком и что-то шептала, шептала. Нет, не о любви к нему шептала она, а что-то сладко бесстыдное, запретное. Она шарила по его телу руками, целовала его чуть волосатую грудь, живот, и он совсем потерял голову...

...Много воды утекло с тех пор.

Ишмурза сейчас уже не смог бы точно вспомнить, как они, не разговаривая, виновато отворачиваясь друг от друга, добрались той августовской ночью до дому, почему избегали друг друга в следующие дни. Через двое суток Рамиля уехала в свой мединститут, а Ишмурзу поздней осенью забрали в армию, да не куда-нибудь, а на флот. За четыре года он только один раз написал ей. Так, о флотской жизни, о своей тоске по родине, но в чувствах к ней не рассыпался, считая это недостойным мужчины, да и боясь ей навязываться.

Ответа он не получил и затаил обиду. Жизнь среди леса с детства сделала Ишмурзу сдержанным, недоверчивым. Сколько раз он ошибался, бросаясь за красивым на вид грибом, а гриб-то оказывался червивым...

Кончив службу, он возвратился в родимые места, погулял с неделку, удивляя сухопутных односельчан матросской походкой враскачку, новенькой формой, из-под которой выглядывали три полоски тельняшки, и старшинскими нашивками. Все в одну душу говорили ему, что он после службы стал настоящим мужчиной, раздался в плечах, что форма ему очень идет. Дед и отец не могли на него нарадоваться. Мать, пока он спал, отглаживала со слезами радости его форму, не видела в ней его лишь Рамиля, которая так и не приехала на летние каникулы. Скоро все узнали от Нагимы-аби¹, что ее внучку, как одну из лучших студенток, премировали месячной экскурсией в Москву и Ленинград, потом же она будет где-то в России на практике.

Ишмурза аккуратно положил на дно материнского сундука свою шикарную форму (не рас-

¹ А б и — бабушка (башк.).

стался только с тельняшкой), сбрил матросские усики и опять возвратился в лесничество на свое прежнее место.

Окрестные девушки откровенно заглядывались на молодого статного лесника, но, молчун от природы, Ишмурза и в клубе был с ними не слишком-то словоохотлив. Девушки между собою сразу же нарекли его «воображалой» и при его появлении насмешливо затягивали популярную песню «На побывку едет молодой моряк». Откуда им было знать, что творилось в душе у этого пригожего парня? Он же клятвенно уверял себя, что Рамиля не может, никак не может его забыть! Вот приедет она когда-нибудь, увидит его и вспомнит тот августовский вечер, дождь, копну теплого пахучего сена, его губы, его руки... Как она вела себя в городе, встречалась ли с кем, Ишмурза старался не думать, твердя в душе, хотя и знал, что обманывает себя: «Мне все равно. Все равно...»

Но прошел год, а Рамиля так в деревне и не показалась, летом перед шестым курсом она уехала на долгую преддипломную практику, однако он не терял надежды встретить ее, объясниться. Ведь то, что было между ними, — на всю жизнь! Разве такое забывается, убеждал он себя. Не беда, что Рамиля теперь с высшим образованием, он, Ишмурза, сразу же после армии поступил в вечернюю школу, поступит заочно в институт или в лесотехническую академию, чтобы сравняться с нею, единственной! Лишь бы им поскорее встретиться!

И может быть, в чем-то и оправдались бы надежды Ишмурзы, если бы роковой, нелепый случай не отодвинул эту встречу на долгие годы.

Однажды в начале июля, обходя свои лесные владения, утомленный Ишмурза решил выкупать-

ся в омутке своей речки Нуруш. На том месте, где он всегда отдыхал, сидело трое здоровенных парней. В зарослях стояла легковая автомашина. Парни были явно выпившие, потому что громко хохотали, кривлялись. Один из них со шкиперской рыжеватой бородкой размахивал бутылкой, в которой были какие-то мелкие камешки, и пугал друзей.

— Сейчас бу-бух! И вы, как рыбы, все — пузом кверху.

Долговязый юнец, согнувшись в три погибели, хохотал, а чернявый крепыш, утирая волосатым кулаком слезы, охал.

— Жорка, Жорж! Не дури, ох не дури, а то мы и вправду того, хе-хе-хе, кверху пузом...

Бородатый выпятил бритые губы:

— Балбесы! Это же карбид! Без воды он не взорвется. Бегите вниз по течению, ждите рыбу, да какой-либо булыжник подайте мне привязать к бутылке.

«Глушить собираются, сволочи», — понял лесник и шагнул из кустов.

— Привет, парни.

А они, увидев его, неизвестно откуда появившегося, здоровенного, хмурого, в форме лесника, застыли как на фотографии. «Шкипер» так и сидел с бутылкой, наполненной карбидом, тощий, разинув безвольный ротик, протягивал «шкиперу» увесистый булыжник, а крепыш замер с улыбкой на широком лице.

— Дай-ка сюда бутылку с карбидом, — протянул Ишмурза бородатому руку. Тот очнулся, проворно спрятал бутылку за спину, смерил лесника с ног до головы взглядом.

— С каким карбидом? Ты чо? Чокнулся? Если выпить хочешь, так и скажи. Гена, принеси из

машины бутылку водки! — скомандовал главарь тощему. Тот проворно вскочил на ноги. Медленно поднялся и крепыш, встал позади лесника.

— Водка мне ваша не нужна, — твердо сказал Ишмурза, — а рыбу глушить не позволю.

— Те-те-те! — передразнил бородатый. — Это кто же мы такие тут будем, чтобы, как говорится, тащить и не пущать?

— Мы будем лесником Бикмуратовым, — терпеливо отрекомендовался Ишмурза, — а ваши фамилии я узнаю по номеру вашего автомобиля.

— Неужели? — сделал испуганные глаза рыжебородый и зачем-то подмигнул. Тотчас же от сильного пинка сзади лесник чуть не упал. Обернулся назад: руки в боки ему нагло улыбался крепыш.

— Что-то случилось? — поинтересовался он почти сочувственно.

— Его муха цеце укусила! — загнусявил, закривлялся тощий, подбрасывая на ладони увесистый булыжник.

Когда, еле сдерживая себя, Ишмурза повернулся к предводителю, тот уже стоял, пряча по-прежнему руки за спиною и нагло улыбаясь.

— Надеюсь, вы поняли, гражданин Бикмуратов, что ваше присутствие на нашем празднике отменяется? Топайте отсюда подобру-поздорову охранять свой лес от вредных насекомых и злостных порубщиков. До реки вам дела нет!

— Мне до всего есть дело! — глухо проговорил Ишмурза. Он понимал, что парни это битые и без драки не обойтись. Значит, плохо битые, коли думают справиться с ним, пусть и вгрозом, но с ним, с бывшим морским десантником. Дрался же он лишь на учебках, боролся на соревнованиях и хорошо знал свои возможности.



Ишмурза слышал, чувствовал каждой клеточкой, как за его спиною посапывает от нетерпения крепыш, как напряглась рука бородатого, прячущего за спиною бутылку с взрывчаткой. Он ждал знака от предводителя и, когда тот его подал, мигнув крепышу, прыгнул в сторону, одновременно нанося удар каблуком кирзового сапога крепышу в пах, локтем руки он ударил во впалую грудь длинного, и тот, уже замахнувшийся на него булыжником, вякнув, упал навзничь. Перед глазами был бородатый со вскинутой бутылкой. Ишмурза защитился согнутой левой рукою, рука бородатого ударилась о нее, и бутылка, бабахнув, звонко рассыпалась позади Ишмурзы. Вместе с нею рухнул на камни сбитый правым аперркотом в челюсть и предводитель. Все это заняло считанные секунды. Ишмурза хотел было уже упереть руки в боки и полюбоваться поверженными врагами, как крик: «Зарежу, сука!» — заставил его снова прятнуть, но в другую сторону. Так и не видя нападающего, он упал на землю, покатился навстречу крику, чьи-то босые ноги споткнулись о него, он резко вскочил, поднимая на себе крепыша и выкручивая его руку с ножом. Крепыш взвыл от боли, нож звякнул, теперь бы этого с плеч — да за борт, как учили, но Ишмурза бросил его на землю. Потом присел на корточки, поднял за подбородок побелевшего от боли и страха крепыша, прохрипел:

— Это тебе за нож! — и ударил его кулаком в лоб. Крепыш без стога обмяк.

Ишмурза поднялся. Тощий тормошил бородатого предводителя, хлопая и по щекам и канюча: «Жора! Жора!», но тот не подавал признаков жизни.

Ишмурза подошел к нему, посмотрел в бескровное лицо. Парень явно дышал. «Притворяет-

ся или в нокауте», — решил лесник, поглядел на крепыша, который стоял на четвереньках, выхаркивая кровь.

— Чтоб через пять минут и духу вашего здесь не было!

— Есть, начальник, — пискнул тощий, — только вот Жора... Он умер, — и вдруг заорал, протягивая руки к крепышу: — Серега! Жора умер! Он его убил!

Накаркал тощий! Нет, тогда рыжебородый не умер. Умер он спустя сутки в больнице, так и не придя в сознание. Как потом выяснилось, у Жоры от сильного удара затылком о камни произошло кровоизлияние, и врачи ничего не смогли поделать.

Потрясенного Ишмурзу арестовали, и, хотя он на суде все честно рассказал, как было, его наказали «за превышение необходимой самообороны» семью годами лагерей строгого режима. Но потрясен был Ишмурза не судом, не приговором, хотя адвокат уговаривал его подавать кассационную жалобу, а родные твердили о несправедливости. Потрясен он был нелепой смертью того, бородатого, погибшего по его, Ишмурзы, вине... Это сознание вины преследовало его всюду. Он понял, как хрупка, ненадежна человеческая жизнь, как жалки и смешны всякие расчеты на завтрашний день, тем более на отдаленное будущее, вот почему и планы лесничего, которого он в душе уважал, о расширении вольера Ишмурза принял равнодушно. Еще до суда он поклялся никогда, ни при каких обстоятельствах не применять силу, но уже перед самым освобождением еле сдержал свою клятву.

При нем в бараке местные блатные отняли у деревенского паренька посылку. Да еще стали издеваться над ним.

— Тебе еще пришлют, — успокаивал плачущего паренька Карзубый, мусявя гнилыми деснами кусок чужого сала.

— А зачем ему, шеф? — вился вьюном наркоман, шестерка Валерик. — Таких тощих кормить ни к чему. Ему на скотомогильник пора!

— Отдайте хоть половину! — плакал парнишка и протянул руки к столу.

— Убери лапы! — взвизгнул Шпынь. — Отрублю! — Карзубый занес широченную ладонь над затылком владельца посылки. Тут Ишмурза не удержался, перехватил руку Карзубого, крутнул ее так, что тот грохнулся мордой о стол. Шестерки онемели. Этот раскосый фрайер посмел поднять руку на самого Карзубого!

— Что ж вы стоите, гады! — прохрипел поверженный предводитель. — Бейте его!

Шестерки было приосанились, двинулись к ним, но Ишмурза, не отпуская Карзубого, играя желваками, угрюмо сказал:

— Я сижу за убийство. И убил я человека не ножом, а кулаком. Поняли? Шевельнетесь, вашему Карзубому — крышка!

— Не трогайте его! — завопил предводитель. Шестерки застыли. — Да отпусти же ты, бугай!

Карзубый распрямился, отер ладонью кровь с разбитого лица, прошипел:

— Я тебе этого не забуду...

— Повторить? — протянул руку Ишмурза. Карзубый отпрянул. — Забирай свою посылку, — обратился Ишмурза к парнишке и крикнул всему бараку: — А вы чего этих пауков терпите? Мужчины вы или нет?

Тут все повскакивали с нар, с криком окружили блатных, которые жалко сбились в кучку. Вошедший охранник навел порядок...

И даже об этом случае Ишмурза вспоминал с сожалением. Ведь тогда ободренные и пристыженные им заключенные, оброни он еще одно жаркое слово и не зайдя вовремя надзиратель, кинулись бы мстить ненавистному Карзубому и его шайке. Могли бы и растерзать, столько у них накопилось злобы на этих мерзавцев... И опять расплатою могла стать человеческая жизнь. Но сколько можно было терпеть тиранию блатных? Как было не вступить за того парня? Да... Не проста жизнь, не проста... Ни во что не вмешиваться? Но как не вмешиваться, если при виде зла, несправедливости бунтует сердце? Значит, путь один — подальше от людей. Потому уже два года он здесь, в вольере, без людей, один на один с почти прирученными зверями.

Вообще-то на родине он не хотел оставаться, боялся, что ему будут сочувствовать, его будут жалеть... Да и что было делать в родных местах? Рамиля, о которой он не забывал и в лагере, давно замужем за секретарем райкома партии Саюшевым, особых друзей у него здесь нет, вот разве жалко мать, отца и деда...

А старый Бикмурат, уговаривая его не порывать с родиной, изрек:

— Не забывай, сын мой: дуб на своей земле взрастает до небес, а на чужой — стелется. Того ли хочешь?

Но даже не эта мудрость убедила Ишмурзу. Он подумал, что и на чужой стороне придется жить либо в шумном городе, либо в поселке, пусть на малочисленной вахте нефтяников, лесорубов, а все равно — среди людей. Значит, волей-неволей втягиваться в конфликты, бороться со злом, может, и кулаками... А как же его клятва?

Убедил его отец, когда предложил свое место вольерщика... Да, теперь он почти ни с кем не

общается, а душевного покоя нету... Тоска, тоска... Что же делать-то, как жить дальше?

Так размышлял он, сидя на скамейке у сруба, когда пришел лесничий Тулькусурин. Ишмурза обрадовался его приходу — в молодом лесничем он чувствовал родственную душу, хотя и мало что знал о нем.

Поздоровавшись, лесничий сел рядом, снял фуражку, открыл полевую сумку, достал из нее карту участка.

— Посоветоваться пришел, дорогой Ишмурза. Надо бы прикинуть место для будущего вольера, а лучше тебя здешние окрестности никто не знает.

Ишмурзе польстили слова Тулькусурина, но он был в ответе справедлив.

— Знает... Отец.

— Я к нему обязательно схожу, — кивнул Гильман, — но все-таки, дорогой Ишмурза, свое он уже здесь отработал, а ты... Или?.. — лесничий настороженно поднял разлтые брови.

Вольерщик пожал плечами.

— Поживем, увидим.

— Э, так не годится, — покачал головою лесничий. — Безразличному человеку здесь делать будет нечего. Ведь новый вольер мыслится как большое самостоятельное хозяйство. У тебя сейчас сколько косуль? Горстка. А лосей? Одна, бедняга. Планируется же иметь в новом вольере до тысячи косуль и лосей, да чтобы они плодились, а мы приплод, когда подрастет, будем выпускать на волю, по всему Башкортостану. Вот такие-то дела, Ишмурза-агай.

Ледяное лицо вольерщика потеплело.

— Планы-то хорошие, коли получится, как задумано, хорошо будет. А насчет места... Оставь, Гильман-кустым, мне карту, я на досуге, как говорится, поколдую над ней.

Сияя, лесничий протянул карту. Руки их коснулись, и Гильман, глядя ему прямо в глаза, чуть запинаясь, сказал:

— Ишмурза-агай... Хоть и живешь ты в лесу и на люди почти не показываешься, но, пожалуйста, побрейся. Разве ты старый человек, чтобы за собою не следить? Или бороду решил отпустить?

Ишмурза пожал плечами.

— Да нет... Просто, думаю, ни к чему бриться. Звери меня и так узнают, а людей я не вижу.

— Людей тоже скоро увидишь. К нам не сегодня-завтра пожалует большое начальство, — Гильман начал загибать пальцы, — министр Муратов, председатель исполкома Юлдашбаев, считай, наши с тобою зятья-сватья, первый секретарь райкома партии Саюшев. Приедут, наверное, с женами...

Гильман, не заметив, как при последних словах Ишмурза вздрогнул, продолжал:

— Форму лесника получил?

— А? — очнулся вольерщик. — Получил, получил...

— Почему не носишь? Ты ведь не кто-либо в лесу, а официальное лицо... Прошу тебя, носи.

— Хорошо, хорошо, — поспешно согласился Ишмурза, машинально глядя небритое лицо...

Как только лесничий ушел Ишмурза вскипятил чайник, заменил в станке лезвие и, тщательно намылившись, сел у осколка зеркала бриться.

...Значит, приедут высокие гости... И этот самый Саюшев, которого он, Ишмурза, и в глаза не видел, и она... Рамиля. Какая она теперь-то? Узнает ли его? Он-то ее узнал бы даже в толпе женщин, настолько врезались в его сердце ее лицо, фигура, губы, ее ласки...

Обрив щеки, он увидел себя в зеркале помолодевшим, очень похожим на те фотографии, которые присылал домой со службы. Это сходство подчеркивали и усики, что носил он на флоте. Сбрить их сейчас? Ишмурза занес было станок, но опустил его на верхнюю губу мягко, подровнял усы, покрутил влево-вправо головою и остался доволен. Нет, вовсе не стар он ни лицом, ни телом, ни душою. Рамиля приедет... Что он ей скажет? А что он имеет право ей сказать? Смолчит она, смолчит и он... И в душе своей он ощущал не столько тревожно-сладостное чувство, сколько жгучее мужское любопытство. Какая она теперь стала, Рамиля?

XI

Как говорится, гость на гость — хозяину радость. Так и случилось в субботний день в доме старого Бикмурата. Первой приехала дочка Хакима с зятем Барыем Юлдашбаевым, важным человеком, самым председателем райисполкома. Как и подобает человеку важному, зятек имел солидный живот, который, казалось, для пущей важности надувал еще сильнее. Но старик знал, что Барый искренне его почитает. Вот и сейчас, только поздоровавшись, подкатился к его нарам, взгромоздился на них, приобнял его, Бикмурата.

— Тестюшка-бабай! Вижу, ты здоровее самого здорового молодого джигита в районе. Слава аллаху! — и вскинул глаза и руки неверующий зятек к потолку. — Как дела?

— Как у всяких столетних джигитов! — бойко прошамкал старик. — А вам спасибо за приезд, дай аллах благословение на ваши головы! Не зря мне сегодня ночью моя Рахилия снилась. Это,

говору Янтуре, к гостям! А он мне: хороший гость, не предупредив хозяина, не придет! Гей, молодо-зелено, — сокрушался старец о своем семидесятилетнем сыне. — То же, говорю, сказано о гостях, чужих людях, а к нам только свои и могут приехать. Гей, доченька моя Хакима! Что стоишь у двери, как впрямь незванный гость? Подойди ближе.

Хакима подбежала, смеясь, поцеловала отца в щеку.

— А где этот бездельник, мой сынок Янтура? — молодо покрикивал старец. — Пусть скорее режет самого ленивого барана — вон какие гости у нас!

Хакима ласково потрепала отца по бороде.

— Ты все с поста своего командуешь, ата?

— За вами, молодыми, нужен глаз да глаз, — строго прошамкал Бикмурат.

Юлдашбаев невесело заколыхал животом.

— Да уж, молодые... Янтуре — семьдесят, я — шестой десяток заканчиваю.

— Разве это возраст для мужчины? — удивился старец. — Сколько тебе, доченька?

Хакима вспыхнула.

— Пятьдесят.

— Ге-ге! Значит, родилась ты, когда мне было тоже столько же... Нет, даже больше... Постой! Я тогда оседлал коня и поехал закрывать борть, а Рахилия без меня...

В это время и появился второй гость. Он прервал воспоминания старика стуком двери и бодрым возгласом:

— Хозяева дома? Можно войти?

В дверном проеме, чуть нагнув голову, чтобы не зацепиться за косяк, стоял Муратов.

Юлдашбаев очнулся первым, скатился с нар.

— Прошу, прошу, Габит Салихович.

Улыбаясь, Муратов вошел, обратился к председателю исполкома.

— Да вы, Барый Максютович, уже и здесь чувствуете себя хозяином?

— Я не успел предупредить почтенного Бикмурата, что вы придете, — оправдывался Юлдашбаев. — А за супругой вашей, Мастурой, машину послал. — Он настороженно замер. За дверью слышались женские голоса и возгласы детей. — Они! — ткнул он пальцем. — Кажется, они, — и выскочил из дому.

Бикмурат завозился на нарах. Свет от двери слепил его натруженные глаза, поэтому он приложил ладонь козырьком ко лбу.

— Кто там приехал? Почему не проходит? — обидчиво спросил он. — По голосу слышу, министр-сынок... Ты ли это?

— Я, я, — поспешно подтвердил Муратов, шагнул к старцу, осторожно пожал его высохшую руку. Пошутил: — Не стареешь, Бикмурат-бабай?

— Какое там! — махнул рукою Бикмурат и поманил пальцем ухо министра. Прошептал в него заговорщицки: — После ста, чую, омолаживаться начал. Женщины молодые по ночам снятся!

Муратов искренне засмеялся от всей души, прикидывая в уме, какого же возраста «молодые» женщины снятся столетнему старцу.

Тем временем вошла с двумя подростками Мастура, а двоих меньших детолюбивый Юлдашбаев внес на руках. Показал Бикмурату.

— Это визири нашего министра. Все четверо — его.

Старец, цокая языком, стал их гладить по черным головкам... Вошла с хлебом жена Янтуры Нафиса, за нею с блюдом зелени, сквозь кото-

рую сладко тек запах вареной баранины, Янтура. Хакима при помощи женщин быстренько накрывала на стол.

Юлдашбаев, делая вид, что очень голоден, потер руки, прокричал весело Янтуре:

— Эй, кайнага, кайнага ¹! Долго же ты возился с бараном! Я бы его, не успел бы ты кашлянуть, разделал!

Хакима подбоченилась, насмешливо поглядела на мужа.

— Ой, какой у меня муженек кровожадный! А сам не может даже петуху голову отрубить!

Все захохотали.

Мастуре в этом доме нравилось от души. Давненько она не была в деревне, среди близких ей простых людей, которые к гостю, даже самому высокому, относятся с почтением, но без подобострастия. В городе ей доводилось частенько бывать в гостях у подчиненных Муратова, и она терялась, замыкалась в себе, видя, как, словно мухи вокруг меда, вьются вокруг мужа всякие людишки, подсовывая ему лучшие куски, лучшие напитки, навязывая подарки, подобострастно за каждым словом повторяя: «Габит Салихович, Габит Салихович». А сюда она сама привезла подарок. Вчера шофер Юлдашбаева позвонил, предупредил ее, чтобы собиралась с детьми в Иманкулово, и передал наказ Габита Салиховича «прихватить какую-то коробочку». Она обрадовалась. Муж давно обещал поехать всей семьей на выходной день в деревню, да все этого самого «выходного» не выпадало — и вот наконец-то! А коробочка, та самая, о которой напомнил шофер, уже давно лежала в шкафу.

¹ К а й н а г а — старший брат жены.

Мастура рысью промчалась по магазинам, заготовила того-сего для поездки, накупила всяких гостинцев.

Когда уселись, Габит Салихович бодро обратился к жене.

— Ну, где наш сюрприз?

Охнув, Мастура стала быстро выкладывать на стол из своей большой хозяйственной сумки пачки индийского чая, какие-то кульки, свертки, яблоки, бутылочки с приправами, баночки с джемом, пакетики с молотым перцем...

Глядя на эти богатства, Нафиса-аби всплеснула руками:

— Да ты никак все магазины Уфы к нам привезла! Зачем тратилась? У нас ведь все свое есть!

Но Мастура продолжала заваливать стол гостинцами. Наконец, она достала белую коробочку, перевязанную красной ленточкой, вручила мужу. Муратов в который раз гордо подумал, что жена у него молодец, ее не надо предупреждать, что, коли едешь в деревню, прихвати для всех гостинцев. Вон сколько накупила и детям и взрослым! И коробочку нашла.

Он протянул ее Бикмурату.

— Это тебе, бабай.

Старец подшаркал к окну, повертел на свету коробочку с боку на бок, дернул негнушимися пальцами за ленточку и извлек из коробочки тюбетейку невиданной красоты. Все ахнули.

А старец поднес ее к вылинявшим глазам, придирчиво разглядывая пестрые узоры, снял свою старенькую засаленную и водрузил на лысую голову новую и будто сам вдруг помолодел.

— Хай, хай! — довольно забормотал Бикмурат. — Впору прихлась. Спасибо тебе, Габит-сын. Да прольется на твою голову такая же яркая благодать аллаха, как эта тюбетейка! Ну, теперь

мне хоть сватайся! Вон какой я стал молодой да красивый!

Все засмеялись и начали есть... Когда перекусили, Муратов поманил пальцем Янтуру, сказал вполголоса:

— Неплохо было бы съездить в твой бывший вольтер, показать детям и женщинам зверей, лес... На машинах туда проскочим?

— Конечно! Дорога летняя, грязи нет. Пока сварится шурпа, обернемся.

Как ни тихо они разговаривали, но их услышали Юлдашбаев и даже Бикмурат. Зять обиженно надул губы.

— Нас не берете, что ли?

— Да что ты! — поднялся к нему Янтура. — Все поедем.

— И я, и я! — крикнул старец, стукнул о пол байдиком¹. — Хочу прокатиться на железном коне нашего времени. Лес хочу посмотреть!

Ему тут же подали шапку с оторочкой, стеганку, войлочные галоши, помогли одеться. Муратов и Юлдашбаев бережно подхватили старика под локти, а он, почти невесомый, едва касаясь земли, балагурил:

— Вот дожил!.. Сам министр и сам раис² меня на руках носят!

Хакима и Мастура остались дома готовить шурпу, баранью требуху, прибрать в доме и поболтать о своих женских делах, отдохнуть здесь, в деревенской тиши, от надоевшего города.

Остальные расселись по машинам и тронулись в путь...

Когда возле ворот вольтера остановилось сразу две черные «Волги», Ишмурза от неожидан-

¹ Б а й д и к — посошок.

² Р а и с — председатель.

ности замешкался. И лишь увидев, как его зять Юлдашбаев помогает старику Бикмурату выбраться из машины, бросился к ним, взял старика под локоть. Он провел его во двор, усадил на траву, потом так же быстро возвратился, поздоровался с гостями, которые уже вышли из машин.

Зять подвел его к высокому красивому человеку, представил:

— Дорогой Ишмурза, это наш министр, товарищ Муратов.

Министр, улыбаясь, протянул вольерщику руку. Тот, смущаясь, пожал ее. Вот уж не думал Ишмурза, что министр так прост и не представительен, что ли.

А дети в это время носились возле загородок вольера, рассматривали зверей и визжали от восторга.

— Не скучно тебе одному в лесу, Ишмурзакустым? — спросил Муратов.

Ишмурза пожал плечами.

— Когда как... А вообще-то звери меня вроде бы понимают, вот с ними и общаюсь.

— Ге! — засмеялся министр. — Так ты, кустым, совсем, извини, озвереешь!

С визгом подлетели дети, прильнули к ногам отца, задрав головки, восторженно закричали, перебивая друг друга:

— Папа! Папа! Мы медведя видели!

— И сосулю! — просюсюкала самая маленькая, Таслима.

— Не сосулю, а косулю! — поправил ее старший брат.

— Папа, папа, а кто такая со... ко... косуля? — не унималась Таслима.

Отец взял ее на руки, повернулся в сторону вольера.

— Видишь, доченька, у нее рожки? Она — дикая козочка.

— Ничего она не дикая, — проворчал Ишмурза и негромко позвал: — Гулькай! Гулькай!

Муратов недоуменно на него уставился. Вдруг из кустов березняка выскочили две косули и, увидев незнакомых людей, озадаченно остановились, чутко шевеля ушами.

Девчушки, взвизгнув, радостно вскинули ручонками, а довольный отец похвалил вольерщика:

— Да, они у тебя и впрямь ручные. Ишь, даже имена придумал!

— Класивые! Класивые! — ликовала Таслима, хлопая в ладоши.

А мальчишки столпились у клетки с медведями. Они беззлобно подразнивали добродушных мишек, но те, не получив от них угощения, стали жалобно реветь. К подошедшему хозяину звери бросились опрометью, распугав мальчишек, схватились лапами за прутья, высунули тонкие длинные морды. В предвкушении подачи они розовыми языками облизывали черные чуткие носы и вожделенно постанывали. И получили свое! Каждому всунул в пасть сердобольный вольерщик по кусочку сахара. Звери, помахивая мордочками, сгрызли свои порции и опять разинули пасти, но Ишмурза, желая поразвлечь гостей, погрозил им пальцем.

— Ишь, лодыри! Сахарок заработать надо.

Словно поняв его, самый большой самец оттолкнулся передними лапами от решетки, прошелся на задних и стал кружиться. Дети в полном восторге запели, и мишка, поддерживаемый «музыкой», закружился быстрее. Но скоро он сел и, зажмурив хитренькие бусинки глаз, разинул пасть.

Ишмурза, кинув ему кусочек сахара, укоризненно обратился к белогрудой медведице.

— Уж не думаешь ли ты, Актуш¹, свой кусочек бесплатно заработать?

Медведица немедленно отвалилась от решетки, минутку потопталась и села, сложив на груди передние лапы и склонив на них башку с высунутым языком. Всем своим видом она изображала смертельно уставшего лентяя.

Дети опять завизжали, захлопали в ладоши и стали кланяться у взрослых что-либо, чтобы вознаградить четвероногих лесных артистов. Но Ишмурза на вопросительные взгляды гостей отрицательно покачал головой. Он не хотел развращать зверей, да и так до греха недалеко — кто-то может и отраву подсунуть.

Представление понравилось и взрослым. Юлдашбаев, довольный, что его шурин не ударил в грязь лицом перед высоким начальством, похвалил:

— Ай да Ишмурза-кустым! Да ты же нам настоящий цирк устроил! И как тебе только все это удалось? Ведь дикие же!

— Голод и не тому научит, — усмехнулся Ишмурза. Предложил гостям: — Лося посмотрим?

Все согласились, лишь старый Бикмурат хмыкнул. Что он лося не видел, что ли? Это сейчас они диковина, а бывало... Старик вспомнил молодые годы, себя, удачливого охотника; зашевелил бескровными губами, уставившись в лесную просеку, по которой ушли смотреть на лесных, нынче диковинных зверей его дети, внуки, правнуки. А увидят ли этих самых лосей правнуки нынешних правнуков? То-то и оно! Мда... Идет время, наступает город, мощеная дорога,

¹ А к т у ш — белогрудка (башк.)

стирая с лица земли все зеленые румяна, ее прекрасные черты, словно петля стягивает землю...

Катящийся коlobком впереди министра — будто прокладывал ему дорогу — Юлдашбаев споткнулся, дернулся назад, когда услышал голос Муратова:

— Барый Максютович!

Председатель исполкома, не дожидаясь, пока министр подойдет к нему, катнулся сам навстречу.

— Слушаю вас, Габит Салихович.

— Вижу, вам, как и мне, нравится этот вольерчик?

— О! — Юлдашбаев не нашел слов.

— Не маловат ли?

Председатель исполкома насторожился. Куда клонит министр?

— Ваше выступление на совещании было деловое, конструктивное, — как ни в чем не бывало продолжал Муратов, — и предложения вы внесли толковые.

Юлдашбаев довольно расслабился, от чего живот принял более шаровидную форму.

— Но вы забыли внести еще одно хорошее предложение, — министр сощурился и с улыбкой поглядел на враз преобразившегося раиса. Но того не так-то легко сбить с толку. Видя испытывающий взгляд Муратова, Барый Максютович опять принял вид простака, развел руками.

— Откуда вам, Габит Салихович, знать то предложение, о котором я не говорил? — и добродушно засмеялся.

Муратов поддержал его таким же добродушным смехом.

— Ах, Барый Максютович, Барый Максютович! Да ведь я о том самом вашем предложении — создавать здесь, на базе этого вольерчика,

большой вольер для разведения зверей! Разве забыли? Ха-ха-ха!

— Не забыл, хе-хе-хе, — утирал слезу с новорожденного глаза Юлдашбаев. — С этой идеей носится ваш любимчик Тулькусурин, хе-хе-хе. Не он ли вам ее подкинул?

Лицо министра стало строгим. В тон ему посуровел и раис.

— Если говорить серьезно, — начал Муратов, — то здесь для этого — все условия: прекрасная кормовая база, вода, простор, тишина да и опыт кое-какой есть. Было бы желание!

Юлдашбаев какое-то время шел молча, привычно то поджимая, то вытягивая губы... Новый большой вольер... Это же новое дело! Министру-то что: дал команду, приехал-уехал, а исполнять кому? Ему, Юлдашбаеву, «хозяину» района! А оно ему нужно? И так дел — выше головы. Но и напрочь отказываться — не те времена. Поэтому битый-перебитый раис осторожно начал.

— Надеюсь, вы, Габит Салихович, не сомневаетесь, что я очень люблю природу, — Барый Максютрович растопырил короткие ручки, повертелся туда-сюда, будто желая обнять весь лес, — тем более, эти, можно сказать, родные места? Но ведь с вольером затрат, хлопот, ой-ой-ой! А отдача? Какая от него отдача району, Габит Салихович? Не подумайте, я это не из местнических соображений говорю! Но ведь у вас своя работа, у меня — своя.

Муратов кивнул.

— Скорой пользы от будущего хозяйства ждать, конечно, не приходится. Но ведь надо же, Барый Максютрович, думать о будущем! Уже даже не о наших детях — о наших внуках и правнуках.

Юлдашбаев заскучал. Ему, практику, с которого спрашивали *ежедневно* за день *сегодняшний*: почему плохо ходят автобусы, почему лихорадит кирпичный завод, почему медленно идет вспашка, обработка, уборка, заготовка кормов, строительство дорог, почему не выполняются планы по те-те-те-те... — были не то чтобы чужды, а несерьезны всякие витания в облаках, заглядывание в непроницаемое будущее... Прожектерство! Но, усвоивший за долгие годы службы старую житейскую мудрость: со слабым не мирись, с сильным не борись, Юлдашбаев и тут прямо возражать не стал.

— Деньги! Проклятые деньги, — уныло произнес он. — И так все дыры заткнуть не хватает, а вольтер, он — ого-го! А земли сколько займет, леса!..

— Да, придется двадцать — двадцать шесть квадратных километров под него отпустить, — у Юлдашбаева даже сперло дыхание от головокружительных планов Муратова.

— Так это же, это же, — пробормотал он, запинаясь, — тысячи кубов леса, сотни гектаров лугов уйдут в заказник! А как же плановые рубки? Заготовка кормов?

— Рубки перенесем на другие участки, а о сене сами подумайте... Поговорим об этом на коллегии министерства. Там же посоветуемся и о финансировании.

— И все-таки зачем такая огромная площадь? — не сдавался Юлдашбаев.

— Чтобы звери чувствовали себя наконец-то в лесу, как в своем доме, — скаламбурил Муратов. — А когда разведем столько, что им и этот дом окажется малым, станем выпускать на волю.

Юлдашбаев оживился.

— Ах-хай, Габит Салихович! Не разведется

ли их столько, что они и своему дому, лесу, вредить начнут? Я вот читал, что кое-где лоси в снежную зиму уничтожают почти весь, искусственно посаженный молодняк сосны, а в Германии, к примеру, те же лоси...

Муратов положил ему руку на плечо.

— Вот о чем часто думаю, Барый Максютovich, как появился человек, в реках жили рыбы, в лесах звери, и почему-то ни реки не переполнились, ни леса не исчезли. А ведь большинство динозавров, скажем, питались исключительно растительностью.

Лицо Юлдашбаева вдруг лукаво засияло, он сощурил маленькие глазки в хитрые щелки.

— Ну, куда они делись?

— Кто? — опешил Муратов.

— Да эти самые ваши динозавры?

— Почему-то подошли. По-че-му-то!

— Во-во. А может, они всю растительность-то сожрали и оттого подошли?

Муратов остановился, как пораженный громом, очумело поглядел на спутника, а тот, воодушевленный собственным открытием, продолжал с жаром:

— Не получится ли так с лосями, кабанами, косулями? Читали, в Индии слоны крестьянские поля уничтожают? Полезут и наши зверушки в калорийные крестьянские огороды!

Муратов тихо засмеялся. Он понял хитрость Юлдашбаева.

— Этого не допустим. Волка, рысь — естественных регуляторов — мы, считай, сами истребили, так что будем давать лицензии на отстрел лишних особей. Делается же так за рубежом! И ведь зайцы, косули, лоси это же, Барый Максютovich, и шкуры, и мясо! Но дело даже не столько в этом. Бог с ним, с мясом!

Юлдашбаев заколыхал животом.

— Хе-хе-хе, Габит Салихович! У вас получается, как у того мечтателя-охотника: убью зайца, продам шкуру, куплю бабе обнову, себе табаку, водки и патронов. А когда не убил ничего, сказал: а за каким шайтаном моей бабе обнова? Она и так хороша! Да и мне патроны ни к чему — все равно дичи в лесу нету, курить же и пить — вредно.

Муратов посмеялся байке, но сказал:

— И все-таки, организовав питомническое хозяйство на территории вашего района, мы, Барый Максютрович, два дела сделаем: во-первых, для потомков зверье сохраним, во-вторых, со временем организуем настоящий охотничий промысел. Так я мыслю?

— Ох, Габит Салихович, — покрутил головой Юлдашбаев. — Погонимся за двумя зайцами, поймает ли хоть одного?

— В этом деле, Барый Максютрович, наше положение хорошо тем, что оба зайца бегут по одной и той же дороге, не сворачивая.

— Мда...

Некоторое время шли молча. Потом Муратов без всякого перехода спросил:

— Скажите честно, Барый Максютрович, справится ли Козин с делами в новых условиях?

Юлдашбаев покосился на министра. Тот шел хмурый, сосредоточенный. Видно, вопрос о Козине его волновал всерьез.

— Сомневаетесь? — спросил Барый Максютрович, чтобы выиграть для ответа время.

Муратов промолчал. Молча прошагал несколько минут и Юлдашбаев, будто взвешивая каждое слово, отчеканил:

— Не будем торопиться с выводами. Такими, как Козин, не разбрасываются... Давайте посмотрим, как он покажет себя в ходе перестройки, а уж тогда... — Юлдашбаев был и вертляв, и угодлив, когда нужно, но и умел защищать товарища, друга, просто нужного человека даже перед лицом, стоящим по рангу и повыше таких, как Муратов.

Тот ему ничего не успел ответить, так как к ним подбежали дети.

— Папа! Папа! Нам дядя Ишмурза лося показывал!

— Лосиху!

— Нет, лося.

— У лося — рога, а у этой — нету, — возразил всезнающий старшенький.

Поглаживая по головкам детей, Муратов сказал:

— Вы, Барый Максютрович, если я скоро не увижусь с Саюшевым, выскажите ему мое мнение о вольере, да и мои сомнения насчет Козина.

Юлдашбаев растопырил ручки.

— А вы, Габит Салихович, сегодня Никите Баровичу обо всем сами скажите. — И, увидев недоуменно поднятую бровь Муратова, пояснил: — Неподалеку отсюда мы строим большой комплекс для откорма крупного рогатого скота. Никита Барович хотел осмотреть стройку, а потом обещал заглянуть к нам, в Каратау.

— Что ж, было бы хорошо, — кивнул Муратов.

Они подошли к срубу Ишмурзы, и Юлдашбаев переменял тему разговора.

— Эй, шурин! — обратился он к Ишмурзе, идущему позади в окружении детей. — Жилье свое не покажешь ли?

— Отчего же... Прошу.

Ишмурза толкнул дверь, приглашая гостей. Проходя мимо вольерщика, Муратов задержал на нем взгляд. Его интересовал этот симпатичный, подтянутый, хорошо говоривший по-русски, молодой мужчина. Судя по характерному лицу, он был, конечно же, из рода Бикмурата. Но вот почему живет один здесь, на отшибе от людей? Откуда так знает русский язык? Почему не в пример словоохотливым егерям, сторожам и прочим, кого за свою жизнь Муратов повидал множество, этот не очень-то разговорчив?

На резном самодельном столе лежал искусно выполненный чертеж лесного участка, где они сейчас находились, самодельные линейка и циркуль. Под чертежом подпись: «Вольер имени Тулькусурьы Ахунова Каратауского лесничества».

Муратов с интересом рассмотрел рощицы, тропки, поляны, реки, изображенные на чертеже, разогнулся:

— Так-так... Кто это начертил?

Ишмурза досадовал, что не успел убрать свое произведение, которое тот же Муратов может принять за пустую забаву скучающего в лесной глуши человека. Но делал он чертеж по просьбе Гильмана, да и самому хотелось нагляднее представить расположение будущего вольера. Он ругнул себя и за то, что самолично присвоил будущему вольеру имя своего прадеда. Что подумают о нем гости? К чужой славе примазываешься?

Сворачивая чертеж в трубочку, вольерщик пробормотал:

— Это я... так малевал... ради интереса.

Министр остановил его руку, расправил чертеж.

— Это, действительно, интересно. Все здесь красиво, все понятно... Только вот это что, братец

Ишмурза? — Муратов ткнул пальцем в заштрихованный треугольник.

— Это каменная скала. Из нее вытекает река, которую можно запрудить...

— Интересно, интересно, — еще более оживился Муратов (Юлдашбаев топтался и пыхтел рядом). — Рассказывай дальше.

— Да что ж рассказывать? Небось, каждый знает, что зверю нужен лес, но не просто лес, а определенные деревья, под которыми он охотится, укрывается и ветвями которых даже питается, поэтому для каждого зверя его дерево — его дом.

— Так, так, так, — одобрил Муратов.

— В наших местах лес смешанный, а значит, каждому зверю здесь есть жилье. И не надо это жилье тревожить, скажем, косьбой травы. Для этого у нас достаточно, — Ишмурза щелкнул ногтем по белым пятнам на карте, — полян... Но зверям нужна и вода. Я сказал, что на нашем участке есть река, но она мелкая, берега ее болотисты, лоси же в жаркое время любят во время водопоя забредать в воду по грудь. Вот почему нужен пруд. Но спланировать его надо так, чтобы он не покрыл вот это болото. Попив, лоси любят полакомиться болотным мхом, ягодами... И вот этот выступ возле скалы затоплять нельзя — здесь после водопоя отдыхают и греются косули... Только, товарищ министр, — смущенно обратился к Муратову вольерщик, — я рисовал на глаз, наверное, масштабы да и местонахождение тут не совсем точное... Что касается подписи, то, товарищ министр...

— Товарищ лесной министр, кажется, перенес свой кабинет прямо в лес! — послышался голос.

Они разом обернулись: в проеме двери, упершись руками в косяки, стоял улыбающийся Саю-

шев. — Вот это, я понимаю, перестройка и ускорение!

Муратов шагнул к нему, пожал руку и, увлекая в комнату, сказал:

— Легки на помине, Никита Барович. Хорошо сделали, что приехали! Мы вот тут как раз обсуждаем...

— Э-э, Габит Салихович, — засмеялся Саюшев, — я сюда приехал не о делах судачить, я же зять этой деревни, так что, как говорится, прибыл к теще на блины, — секретарь райкома протянул было руку председателю райисполкома, но, заметив в уголке старого Бикмурата, почтительно подошел к нему, поклонился.

— Здравствуйте, бабай.

В срубе было темновато, Бикмурат не узнал гостя и, подслеповато мигая, громко спросил:

— Чьих родов будешь? А то я будто старик какой хилый глазами, что-то плохо в этом доме вижу.

Саюшев, откинув назад голову, с удовольствием рассмеялся.

— Узнаю настоящего джигита, которому сто лет — не старость! Я, дедушка Бикмурат, зять Нагимы-аби, вашей соседки.

— Ге, аллах! — воскликнул старец. — Это ты зять-секретарь? Прости, не признал сразу. Да и, сам посуди, в нашей деревне сколько зятьев, сам шайтан запутается. Ну, как твои дела? Здоров ли? Уважает ли начальство? Как семья? Привез ли Рамилю? — засыпал он гостя вопросами.

Во время разговора Саюшева со старцем все почтительно молчали. Ишмурза глядел во все глаза на того человека, чьею женою стала его Рамиля... Вот он какой... Не красавец, и в голове уже густая седина, но, с первого взгляда видно, — не чинуша, с юмором. Как, интересно, они живут?

Любят ли друг друга? Ишмурза досадливо поморщился, тряхнул головой. Да какое дело ему до всего этого, до их жизни, их отношений! Ишмурза почувствовал, что ему вдруг стало душно. Он вышел и столкнулся с... Рамилей. От неожиданности он застыл столбом, не сводя глаз с красивой, аккуратно одетой женщины. Застыла на секунду и она, глядя на Ишмурзу с чисто женским любопытством, потом легонько поправила прическу, протянула узкую ладонь с хищно намааникюренными пальцами.

— Здравствуй, Ишмурза, — обыденным тоном сказала она и, видя, что тот застыл с побелевшим лицом, деланно удивилась, — не узнаешь меня? Неужели я так постарела?

Он наконец едва коснулся ее ладони.

— Здравствуй, Рамиля, — и, отдернув руку, большими шагами пошел в сторону рощи, а когда сруб остался за деревьями, побежал, натываясь на кусты и пни, цепляясь за ветви и сучья.

Рамиля недоуменно поглядела ему вслед, потом удовлетворенно улыбнулась, открыла дверь.

— Здравствуйте!

— О, свояченица! — подпрыгнул Юлдашбаев, подкатился к ней, затряс, зацеловал руку. — Здравствуй, здравствуй, дорогая! Все хорошеешь?

— А что мне остается делать? Мужа почти не вижу, да и ты, дорогой зятек, дней десять на глаза не показывался. Уж не посадила ли тебя Хакима-апа на цепь, чтобы ты к молодым красивым женщинам не бегал?

Гости грохнули так, что их смех, отворив дверь, полетел эхом по лесу. Рамиля смеялась со всеми, пока не увидела сидящего за столом Муратова. Она прикусила губу, кивнула ему и не удержалась от шутки:

— Сбежавший из нашего дома министр отыскался в лесу! Да еще со всеми своими заместителями-визирами. — Она сгребла в кучу детишек, каждого оделила конфеткой, поцеловала. Потом подошла к Бикмурату, беседовавшему с Саюшевым, оттолкнула мужа. — Прячешь от меня за своей спиной моего бабая! — Обняла старика, запричитала: — Как же я соскучилась по тебе, мой драгоценный дедушка! Как ты хорошо выглядишь! Я так рвалась тебя проведать!

Саюшев с досадой слушал болтовню жены. Он чувствовал, что слова ее фальшивы, как фальшивы и жесты, и объятия, и комплименты... Когда он сегодня, собираясь на строительство комплекса, сказал Рамиле, что не мешало бы им съездить в Каратау — деревня неподалеку от стройки — она взвилась:

— Чго я там не видела, в этой глухомани? В театр тебя или в гости не вытащишь, а вот в это захолустье — пожалуйста!

Он сухо отрезал тогда:

— Не хочешь, не надо. А мне нужно туда по делу.

— По делу, по делу! — передразнила его жена. — У тебя даже в выходной день дела, нет только дел для родной жены, которая днями и ночами сидит, как дура, в четырех стенах! Ты и говорить со мною ласково разучился.

Саюшев злился на жену еще с того памятного дня, когда в их доме побывал Муратов. Выслушав ее монолог, он сухо сказал:

— У меня для льстивых слов и уговоров времени нет. Или собирайся, или оставайся, — и шагнул к двери.

Рамиля кошкой прыгнула наперед, раскинула руки.

— Никуда ты не поедешь! — глаза ее сверкали, непричесанные волосы, распатлавшись, черными змеями висели по плечам.

Он молча возвратился в свой кабинет и, надувая от досады щеки, стал ходить взад-вперед, горько размышляя, что с Рамилей у них что-то не сложилось. Раньше она всегда близко к сердцу принимала его заботы, старалась давать дельные советы... Честно признаться, он, Саюшев, в душе гордился ее красотой, ее умом и многие свои успехи связывал с ее умением вовремя утешить его, приласкать, вкусно покормить, тактично принять гостя, сказать нужное слово. Теперь же она стала раздражительна, о районных делах и слушать не хочет, даже на стол и то подает с каким-то отвращением, а то и вовсе не готовит ужина. Она стала капризной, меняла свои же решения. Взять хотя бы вот эту поездку. Ведь ради нее Саюшев старался... Жена уже несколько раз сетовала, что давно не была дома, что соскучилась по матери, родичам, родным местам, и вот, когда он наконец-то выбрал относительно свободный денек, — пожалуйста: «Чего я там не видала?» Что с нею случилось, какой ключик подобрать к ее сердцу? Саюшев, секретарь райкома партии, который ежедневно подавал советы десяткам людей, теперь ничего не мог посоветовать самому себе...

Он горько усмехнулся... А ведь так дело может дойти до развода. Что ей? Детей нет, молода, красива... Семья секретаря райкома партии и — развод! Смешно? Грустно...

Краем уха Саюшев слышал, как в соседней комнате жена шуршит бумагой, хлопочет, и с удивлением понял: да она же укладывается ехать в Каратау! И — точно. Рамиля появилась на пороге, ухоженная, подкрашенная, в коротеньком

элегантном платье, подчеркивающим ее формы, с небольшой туго набитой сумкой, не сказала, а скомандовала:

— Поехали!

Пойми этих женщин...

В машине Саюшев, нахохлившись, молчал, с тревогой чувствуя, как на душе скребут кошки. А Рамиля всю дорогу как ни в чем не бывало щебетала, восхищалась дорожными красотами с такой же искренностью, с какой она и сейчас ведет себя здесь. Как ее понять? Потому что увидела давнюю студенческую любовь — Муратова?

Саюшев выругал себя в душе за дурацкие мысли и, чтобы прогнать их окончательно, подошел к уткнувшемуся в карту министру.

— Что это за чертеж, Габит Салихович?

Муратов хотя и делал вид, что внимательно рассматривает карту, на самом деле ничего в ней не видел. Перед глазами стояла *сегодняшняя* Рамиля, красивая, веселая, дерзкая. «Что же это такое? — лихорадочно думал он. — Неужели годы, жена, дети не заглушили во мне любовь к ней? Или меня привлекает в ней просто красивая, сексуальная самочка? Да что же это я?»

Он, как сквозь туман, услышал глухой голос Саюшева, не совсем понял вопроса и стал сбивчиво говорить:

— Вот... это... э, э... видите ли, Никита Барович, это начертил здешний сторож, парень такой, э, э, странный немного.

Саюшев понял его состояние и почувствовал, как опять тоскливо защемило сердце. Но виду не подал, внимательно рассмотрел чертеж и серьезно сказал:

— Я ни по лесу, ни по картографии не специалист, а вот название вольера мне нравится. Имени Тулькусурь Ахунова! Умница этот сто-

рож. Ахунов был великим батыром, возглавившим в здешних местах борьбу за свободу.

— Почему, сынки, моего Тулькусуру-агая вспомнили? — подал голос из своего угла Бикмурат. — О его джигитстве не рассказывать, петь надо! Гей, Ишмурза! Где ты, мой мальчик?

— Он ушел по делу, бабай, — поспешила Рамиля.

— А где его лампа? — спросил старик. — Надо зажечь!

Действительно, внутри маленького двухоконного жилища начало темнеть. Юлдашбаев пошарил по полкам и, не найдя лампы, предложил:

— Айда на воздух! — и первый вышел.

За ним последовали и другие.

Рамиля, надевая на стариковские ноги войлочные галоши, думала об Ишмурзе. Наверное, он здесь и живет. Неужто один-одинешенек? Конечно, она не могла забыть *ту* давнюю прогулку с девятнадцатилетним Ишмурзой, *ту копну*... Знала она, конечно, что Ишмурза отсидел семь лет за нелепую драку, и в душе пожалела его, но ничего, кроме любопытства, к вольерщику не испытывала. Она видела его мимолетно, но цепким женским взором успела отметить, что у него красивое волевое лицо, усталые серые глаза. Отметила она и глубокие складки в уголках рта, борозду на широком лбу... Видать, побила мужика жизнь, помотала... Рамиля вздохнула, взяла под руку дедушку Бикмурата.

— Ну, бабай, пойдем на улицу... Ножками, ножками... Вот так, вот так...

Довольный старик, что-то бормоча, вышел с ее помощью из домика.

Вечер был прекрасен. Желтые лучи низкого солнца сеялись сквозь купы деревьев, глуховатый, густой воздух одурял пряными запахами цве-

тов и трав, на лугу, на склонах холмов, в роще пели готовящиеся на ночлег птицы. Рамиле вдруг захотелось упасть на траву и, раскинув руки, уставившись в небо, пить и пить эту живительную чистоту.

Остальные гости, даже дети, стояли тоже притихшие, умиротворенные, возможно, и потому, что на верхушке березы куковала кукушка и каждый пугливо считал отпущенные ему годы, которые суждено прожить на этом прекрасном свете.

— Хорошо вы сделали, дети, что приехали, — прокрихтел Бикмурат, опускаясь на скамью. — С тех пор, как я знаю Каратау, у нас не собиралось вместе столько больших начальников. И, гляжу, никакого переполоха! А вот, помню, когда через наши края в Белорецк проезжал губернатор Оренбурга, что творилось!

— Это в каком же году было? — заинтересовался Саюшев.

Старик подумал, шевеля на ручке байдика сцепленными пальцами, потом сказал:

— Мой Янтура родился в жару, значит, летом, а губернатор проезжал по снегу, еще до его рождения... Мда... Вы уже сами прикиньте, на какой год это падает... Ох и напугал же я тогда господина губернатора! — и старик хитро обвел сощуренными глазами окружающих его гостей.

Те наперебой запросили:

— Расскажите, бабай!

— Вы не глядите, что я сейчас горазд только на лавке сидеть. В ваши годы я мог медведя взнуздать, да на нем и проехать! Вот как! А медведи... Ох уж эти медведи! Губернатор-то как увидел их в моей клетке, так и... — старик, несмотря на то что все его слушали с интересом, вдруг умолк, крихтя, стал приподниматься. — Что-то мне спину продуло, да и домой пора.

— Расскажите, бабай!

— Домой, домой! Там уже, небось, ужин стынет. Вот за столом и расскажу.

Хотя старик оборвал свой рассказ в самом начале и всех заинтересовал, перечить ему не посмели. Муратов, окинув взглядом собравшихся, предложил мужчинам:

— Пусть дедушка Бикмурат с детьми и женщинами едет, а мы пешком пройдемся.

— Верно, верно, — горячо поддержал его Юлдашбаев. — Тут по прямой через хребет совсем недалеко. Когда еще удастся побродить по лесу!

Саюшев молча кивнул.

Неожиданно для всех Рамиля, поджидавшая в машине старика, сказала:

— И я с вами.

Мужчины недоуменно на нее уставились, не зная, что говорить, а Бикмурат, устроившись на сиденье, балагурил:

— Как губернатор, домой на тройке прискачу. Да куда до меня губернатору! Тот три лошаденки запрягал, а у меня три машины! Гей, Барый, зятек! Придет Ишмурза, возьмите его с собой. Пусть посидит среди людей. Ну, поехали!

Машины тронулись.

Юлдашбаев, приложив ко рту рупором пухленькие ладошки, натужился:

— Ишмурза! Шу-рин!

Голос его, сжатый салом горла, прозвучал глухо. Рамиля рассмеялась:

— Э, зятек мой, твой голос не ушел дальше вон той березы! Послушай, как зовут молодые женщины.

Она тоже приложила ко рту ладони и, поворачиваясь на все стороны, звонко и протяжно прокричала:

— Э-ге-ге-гей! Ишмурза-агай! Где ты-ы-ы?

Голос ее, звонкий и чистый, пролетел по роще, ударился о скалы, деревья, водную часть далекого плеса и возвратился к ним многократным эхом. «Где ты? Где ты? Где ты?»

— Ай-да до-мой! — звала Рамиля, и снова ее призывный крик вернуло эхо.

Но ответа Ишмурзы не было.

— Вот что, товарищи мужчины, — сказала Рамиля, — вы топайте потихоньку до дому, а я сама приведу Ишмурзу.

Юлдашбаев было заартачился, но Саюшев, которого в душе удивила новая выходка Рамили, мягко взял его под руку, увлек за собою. Потупя глаза, поплелся следом и Муратов.

Они перешли через овраг, взобрались на хребет. Отсюда открывался прекрасный вид на деревню. Она, подернутая не то вечерним туманом, не то легкой дымкой, вольготно лежала на склонах горы по обеим сторонам реки Каратау-Айры. Из деревни доносились звуки магнитофонов, транзисторов, голоса девушек и парней.

Саюшев обернулся назад, поглядел в сторону вольера, где почему-то осталась Рамиля. Сначала он даже обрадовался ее странному решению: не надо будет ревниво терзаться, что идет она рядом с Муратовым, коситься на нее. Он клял себя за ревность, называл ее вздором и все-таки ничего с собою поделать не мог... Но сейчас, не увидев позади жены, он раскаивался, что оставил ее одну. Возвратиться, поискать? Такая мысль лишь только мелькнула в его голове, и он тут же ее прогнал — Саюшев никогда не сбивался с пути, который выбрал, и никогда не возвращался назад.

ХII

...Обняв колени и уронив на них голову, Ишмурза долго сидел среди молодого сосняка. Думы его — легкие, светлые, плыли свободно, он вроде не замечал их. В родной стихии, в лесу, вдали от шумных людей, от повзрослевшей, но по-прежнему прекрасной и желанной Рамили ему было просторно, хорошо.

Он лег на спину, закинул за голову руки и стал смотреть в небо, по которому медленно плыли кучевые, серебристые облака. Здесь, среди деревьев, ветра не было вовсе, но не было и духоты, были покой, тишина, которая чутко улавливала все малейшие звуки здешней жизни. Вот, рядом с головою, прошуршала листвой и травой не то мышка, не то ящерка, вот перепорхнула и села на сиреневого цвета высохшую ветку сосны веселая красногрудка, наклонила туда-сюда головку, разглядывая лежащего на земле человека, потом, словно ребенок, выполнивший поручение матери, радостно пропела: «Тик-тик... вить-вить», — и перелетела на березу, растущую чуть подальше... Муравей деловито лез, щекоча оголенный локоть. Ишмурза скосил глаза и увидел, как «лесной хозяин» недоуменно шевелит усами, видимо раздумывая, размышляя, что это еще за чудо-юдо поселилось в его лесу...

Да, лишь со стороны лес кажется пустым, лишь походя отметишь: нет, мол, ничего в лесу, кроме деревьев да разве редких птиц, но, если погрузишься в него, прислушаешься, поймешь: лес всегда живет многообразной, интересной, *своей* жизнью. Каждая живность, вроде бы не обращая внимания на другую, живет по-своему, на самом же деле все в лесу взаимосвязано. Не так ли у людей? Он, Ишмурза, убежал от них, а

его властно тянет к ним, тянет к Муратову, к Рамиле... Ему вдруг захотелось снова оказаться среди них, но он не смог пошевелить ни рукой, ни ногой, будто какая-то неведомая сила пригвоздила его к земле.

Этой силой была боязнь снова оказаться рядом с Рамилей, такой же прекрасной, как много лет тому назад, правда, уже не угловатой насмешливой девушкой, а зрелой, оформившейся и оттого еще более желанной женщиной. «Интересно, — размышлял Ишмурза, — не окажись моя служба долгой, не случись та беда, стала бы Рамиля женою первого секретаря райкома? Или вышла бы замуж за меня? Вот ведь как интересно мир устроен: дочь неграмотной женщины из глухого села, наверное, когда-то и не мечтала о том, что будет супругой первого в районе человека... А вот стала».

Ишмурза вдруг вспомнил словоохотливого пожилого мичмана с их крейсера. За балагурство моряки в шутку прозвали его Травилкой. В свободное время, когда матросы собирались на полубаке, он начинал в «воспитательных целях» травить военные анекдоты, житейские байки. Однажды Травилка озадачил всех вопросом: кто быстрее всех продвигается по службе? Кто может сразу из матросов попасть в каперанги, а кто и в адмиралы? Матросы, подталкивая друг дружку, переминались с ноги на ногу, не зная, что ответить, тогда мичман гаркнул: «Женщина, братишки! Взять нашего «батю». Еще вчера его молодая жена была, считайте, простым матросом, вчера — капитаном первого ранга, а сегодня она — контр-адмирал, так как командует и самим командиром корабля! Станет наш «бать» контр-адмиралом, она будет министром! А вы, матросики, четыре года палубы драйте, моря бороздите,

но дай бог вам за этот срок хоть до старшины дослужиться».

Ишмурза дослужился, не признаваясь себе, что его стараниями из далекого Башкортостана руководила та же Рамиля...

Вдруг до его слуха донесся чей-то крик. И хотя всего лишь раз довелось ему после стольких лет услышать ее голос, он тут же узнал его: звала так, с той прежней страстью, с какой перекликались в лесу девушки их села. Тогда, в юности, красивый, «далекий» крик считался искусством, и девушки, женщины старались в лесу перешеголять друг друга в мелодичности, силе голоса. По вечерам Ишмурза заслушивался этими криками, как пением птиц. Он и тогда уже выделял из всех голосов голосок Рамили, но на всю жизнь в его память врезался голос тети Зарифы. В селе она первая получила похоронку на мужа, и никогда не забыть Ишмурзе, как билась в руках женщин, как вперемежку со всхлипами, кричала: «Хау-ууу!.. Аха-ха-хеуу!.. Хэ-хэ-эхе-хэхэхэ!.. Эха-хауу!..» Так потом она кричала и в лесу, когда ходила с бабами по ягоды, и бабы, чьи мужья не воевали или пришли с войны, затихали, слушая ее тоскливый, зовущий голос, словно все еще окликала она своего супруга, покинувшегося в неведомых чужих землях...

В крике Рамили не было ни тоски, ни печали, лишь какой-то оттенок мольбы и отчаяния улавливал в нем Ишмурза. Ему ли адресовался этот зов, он не знал, но поднялся, пружинистыми шагами заспешил на него...

Рамиля сидела на скамейке, опустив голову. Тонким прутиком она чертила что-то на земле. Ишмурза притаился за кустами, жадно разглядывая ее и мучительно думая, что же делать? Подойти сейчас к ней и высказать все, что наки-

пело у него на душе за эти долгие годы? Напомнить, как она, голосистая девчонка, увязывалась с ним в походы по лесу, как нанизывала на такой вот, что у нее в руке, прутик с рогаткой пойманную им рыбу, как пряталась она с ним от дождя в копне и что там происходило?

Ишмурза жарко передернул плечами...

Еще сказать ей, что все эти годы он ни единой душе не признавался в своем чувстве, что все время глушил его в себе, но вот не заглушил... Да разве можно сейчас, по прошествии стольких лет, говорить об этом? Какое он имеет на это право? Нет, пусть остается все, как было.

Он вышел из-за куста и направился к домику, но ватные, загибающие песок ноги несли его прямо к Рамиле.

Она будто бы и не удивилась вовсе, увидев его. Встала со скамейки, плавно оправила платье на крутых бедрах.

— Ишмурза-агай, тебя тут обыскались. Ты слышал, как я звала тебя?

Ишмурза сглотнул внезапно подступивший к горлу теплый комок.

— Слышал, Рамиля. Красиво кричишь.

Она засмеялась, обнажив ровные сахарные зубки.

— Я вспомнила, как мы с тобой в нашей юности аукались в лесу, как под дождь попали... Помнишь?

Ишмурза кивнул, в его сердце шевельнулась надежда: а может, не случайно осталась здесь Рамиля? Может, хочет поговорить с ним по душам?

— Я осталась, чтобы привести тебя домой, — словно угадав его мысли, сказала женщина. — Живо собирайся и — айда, а то уже темнеет.

Вольерщик посмотрел на нее исподлобья. Она осталась, чтобы привести его, знающего здесь все тропки, к нему же домой! *Его в его дом!* Чувство протеста вскипело в нем, грубо выплеснулось наружу.

— Никуда я сегодня не пойду!

Рамиля расширила от удивления свои раскосые красивые глаза, в которых Ишмурзе почудилась тревога.

— Как же так? Родственники, гости хотят посидеть в семейном кругу, а ты — не пойду! Не выдумывай, пожалуйста, айда!

Ишмурза тяжело вздохнул, откинул ногою суточок.

— Эх, Рамиля, Рамиля... Давай-ка присядем, — и первым опустился на скамейку, жестом приглашая сесть рядом и ее.

Она осторожно опустилась на краешек.

— Ты говоришь, посидим в семейном кругу... А какой я, вольерщик, бывший заключенный, ровня министру, секретарю райкома партии, раису? Что между нами может быть общего? И им будет неловко, и я буду крутиться как на иголках... Не пойду.

Рамиля растерялась. Все, о чем говорил Ишмурза, было верно, и судил он вполне здраво, хотя такое раньше не приходило ей в голову. Став дамой районного «света», Рамиля не совсем утратила то, что дало ей деревенское полуголодное детство. Иной раз она хотела бы, как говорится, выпендриться, да не могла. Поэтому и сейчас, смешавшись, стала уговаривать Ишмурзу.

— Не говори так, Ишмурза. Они такие же люди, как и все, и пойдешь ты не к кому-либо в гости, а в свой дом... Потом, Бикмурат приказал без тебя не возвращаться.

Ишмурза покачал головой.

— Нет, Рамиля. Мне там будет трудно. Дед и отец старые, Юлдашбаева я знаю плохо, а твоего мужа и министра вообще первый раз в глаза вижу.

— Но ты хорошо знаешь меня! — вырвалось у Рамили.

Ишмурза вздохнул.

— Ты уже не прежняя девчонка, которая... которую я... Ты — женщина, жена первого секретаря райкома...

Рамиля вспыхнула, но тут же погасила досаду, опустила голову, медленно сказала:

— Эх, Ишмурза, Ишмурза... В том ли счастье, чтобы быть женою секретаря райкома или даже министра?

— Я понимаю... Наверное, это очень трудно быть супругою высокого человека...

Рамиля чуть-чуть не раскричалась, не расплакалась... Трудно? Да ей уже невыносимо! Детей нет, не работает, день и ночь дома, а муж приезжает измотанный, усталый, не до ласк, не до разговоров... Своим высоким положением он просто давит ее. Ведь не говорят в райцентре люди, увидев ее: «Вон пошла врач Саюшева», — а говорят: «Вон пошла жена Саюшева».

И на этот раз Рамиля сдержала себя, судорожно вздохнула.

— Конечно, не легко. Но жизнь есть жизнь... Ишмурза-агай, — назвала она его, как в детстве, — а ведь ты не был раньше таким неуступчивым! Давай возьмемся за руки и вместе пойдем домой, как когда-то?

Она еще предлагает! Да Ишмурза рука об руку с нею пошел бы хоть на край света, но ведь он прекрасно понимает, что дальше его дома они не пойдут. Вслух он сказал:

— Недалеко же ты меня приглашаешь. А я

бы с тобою... — он оборвал себя на полуслове, поднялся со скамейки. — Темнеет... Иди, Рамиля. Мне надо побыть одному, — и зашагал, не оглядываясь к лесу.

Прислонившись к ближней сосне, он смотрел, как Рамиля медленно встала, привычно оправила платье и пошла к хребту, за которым лежала деревня. Он смотрел ей вслед, пока она не растаяла в сумерках.

Беспокойно послонявшись вокруг своего домика, Ишмурза вспомнил, что у него в летнике с продуктами лежит бутылка водки. Покупал он ее к Майским праздникам, думая, что кто-либо забредет и в его сторожку, но никто не пришел, в одиночку же он никогда не пил, так что бутылка осталась нетронутой. Теперь ему захотелось заглушить свою боль, свою тоску, свою беспомощность и робость...

Не зажигая лампы, он налил полный стакан, залпом выпил и с непривычки задохнулся. Несколько мгновений он зевал, ловя ртом воздух, как рыба, выброшенная из воды, потом метнулся к ведру с водою, запил. Жар в груди поунялся, но в голову будто саданули тяжелые, теплые молоты. Как ни странно, ему стало легче и он понимал почему — сказывалось действие алкоголя. Он налил еще полстакана, опять одним духом выпил, запил водою и ушел на свои нары.

Несколько минут он лежал, раскинув руки, ощущая, как предательская теплота разливается по всему телу, как хмелеет голова и горячет сердце. Те люди, высокие начальники, уже не казались ему такими уж недоступными, а Рамиля манила, звала к себе.

Он рывком встал, допил остатки водки, поправил ремень и шагнул из домика, больно ударившись головой о косяк двери...

Услышав во дворе матери стук топора, Рамиля поняла: ее муж колет дрова. Он вообще-то когда изредка приезжает сюда, не сидит без дела, не слоняется праздно по лесу. То рубит дрова, то чинит крышу, то поправляет забор. Мать не может нахвалиться таким зятем и возвеличивает до небес даже самое малое дело, совершенное им. Как же! Сделал-то его не кто-нибудь, а сам первый секретарь райкома партии! Даром, что большой начальник, а вот не чурается черновой работы!

Рамиля знала, что такой вот труд был для ее мужа желанной разрядкой и делал он все добросовестно, в охотку, это радовало и ее.

Она тихонько стала неподалеку, наблюдая, как без рубахи, в майке с гиком взмахивал тяжелым колуном ее муж, и поленья разлетались по полам.

Увидев ее, Саюшев сдул с носа капельки пота, укорил жену:

— Долго ты ходишь. Соседи уже сто раз звали на шурпу, мать пошла, а я вот тебя поджидаю, дельце себе нашел. А где же тот парень? В свой дом пошел?

— Не знаю, куда он пошел, — уклончиво ответила Рамиля. — А нам пора. Айда.

...У Бикмурата стол уже был накрыт чистой скатертью, гости чинно сидели перед дымящимися чашками с шурпой и ломтями баранины. Возле Янтуры поблескивали белыми головками три бутылки водки. Сидевшая с краю Хакима вскочила, повела Саюшевых на почетное место. Рамиля боялась, что старик станет ее расспрашивать об Ишмурзе, но ему, по всему виду, было сейчас не до расспросов — он сам что-то рассказывал.

Поглаживая жиденькую седую бороду, старец подождал, пока все усядутся, поправил на макушке новенькую тюбетейку, подарок Муратова, и степенно продолжал:

— ...Так вот я напугал губернатора... Э, да что только не пережила эта голова на своем веку... После того как Тулькусур поднял здесь восстание и его подавили, меня прогнали с работы. Сунулся к Уелдану, к Низам-мулле — к кому же еще? Самые богатые у нас в деревне были люди — не берут. Пошел прочь, говорят, пометыш Тулькусуры! Сдохни с голоду! А у меня двое детей на руках да Рахия с третьим, вот этим озорником, — ткнул старик дрожащим перстом в семидесятилетнего Янтуру, — ходила... Ну, заколотил я свою избу, сложил чабур-хабур на телегу, усадил Рахилю и ребятишек да и покатыл на Кагинский завод. А что мне? Молод, был, силен! Это сейчас бабай Бикмурат сидит в углу, а тогда — ге-гей! Ел за троих, работал за четверых, и Рахия моя была женщиной работающей, не то что нынешние ханум. Ни на какие невзгоды не жаловалась и все за мною, со мною. Я — в лес дрова пилить, и — она. Я сено копнить — она на возу. Вот и на Кагинском заводе подыскала себе работенку: стирала рабочим, а я жег уголь... За шесть лет, что мы там прожили, домик построили, даже приоделись. В одиннадцатом году, как раз когда родился мой погибший на войне Абдулькасим, на заводе случился пожар. Я прибыл из лесу, гляжу — ни завода, ни поселка, только пепел и дым вокруг, а на пепелище сидит моя Рахия, кормит младшенького грудью. Оказывается, она помогала тушить чужой дом и не заметила, как свой загорелся. Только и успела из огня детишек выхватить. Мы-то еще, считай, легко отделались, а вот у людей, кто в

этот день был на работе, не только дома — дети сгорели! Кругом — зола, гарь, крики, плач... Вот тут я понял, правильно старые люди говорят: после наводнения хоть что-то останется, после пожара — ничего. Ну, сгорел завод, а вместе с ним сгорела и моя работа. Что было делать? Погрузил я опять на лошаденку свое семейство и плюхал в родное Каратау. А детей уже шесть душ было. Гей! — ударил в пол своим байдиком старик, — говорю же: работающая женщина была моя Рахилия, таких нынче не найти!

Гости переглянулись, заулыбались, а старик, не замечая этого, на мгновение ушел в себя, может, вспомнил свою бесценную Рахилию, которая почти ежегодно рожала ему то сына, то дочь.

Старик тряхнул головою.

— Ну, дом без хозяина — известно, какой дом. Пока меня не было, крыша прохудилась, стены подгнили, все сарай порушились, их растащили па дрова. Пошел я опять кланяться этому кровососу Роману Лапшину. Он поломался, но смиловился, дал место моей семье в углу барака для прислуги в своем хуторе, что был у него в урочище Кайгар, нанял меня за харчи стеречь его скот...

Однажды зимою пошел я в лес заготавливать новые вилы. Но, сказано же, когда что не нужно — оно под рукой, а нужную вещь сто лет искать будешь. Так и со мною тот раз было. Раньше я видел сколько угодно ровных рогатин, а тут, ну ни одной! Ходил, ходил я по лесу, устал. Присел отдохнуть неподалеку от солончака, где лоси лакомятся. Гляжу, что за диво? Всюду на деревьях снег как снег, а возле кучи бурелома на березе сосульки! Подошел поближе, вижу: под березою дыра и оттуда парок идет. Эге, думаю, все ясно. Мишка тут спит. А у меня ни ру-

жья, ни рогатины, один топор за поясом... Мда... Молод я был, горяч! Выбрал из бурелома шест подлиньше и ну им шуровать в дыре. А медведь как выскочит! Злой, взъерошенный, ростом — с хорошего бугая...

Старик умолк. Он, рассказывая, любил останавливаться на самом интересном месте, чтобы сильнее заинтриговать слушателей. Вот и сейчас Бикмурат повернулся к окну, поднял занавеску, уставился на улицу.

— Ай-бай! То ли стемнело уже, то ли день такой облачный.

— Что медведь-то? — Муратов даже подвинулся ближе к рассказчику.

— Да что медведь... Полез на меня. А от него, коли его зимой разбудили, и на быстрых лыжах не убежишь... Янтура-сынок, — опять прервал рассказ Бикмурат, — моими байками гости сыты не будут. Угощай всех, шурпа стынет.

— Ну, ата, вечно ты прерываешь свои рассказы на самом интересном месте, — капризно сказал Юлдашбаев. — Закончи уж, потом и поужинаем. Что дальше-то было?

— Да уж не то, что с тобою, дорогой зятек, когда ты сидел в засаде и упал с помоста при виде медведя, — блеснул помолодевшими глазами старец.

Гости грохнули, Юлдашбаев покраснел, бормоча:

— Оступился, ну и упал... Сколько об этом можно вспоминать!..

— А не хочешь вспоминать, дорогой зятек, сиди и молчи, — отрезал тесть. — Нда... Бросился, значит, на меня медведь, и как я успел из-за кушака топор выхватить, как его по черепу ударил, убейте, не припомню. Очнулся я под мертвой тушей. Кое-как выбрался из-под нее, чую — пле-

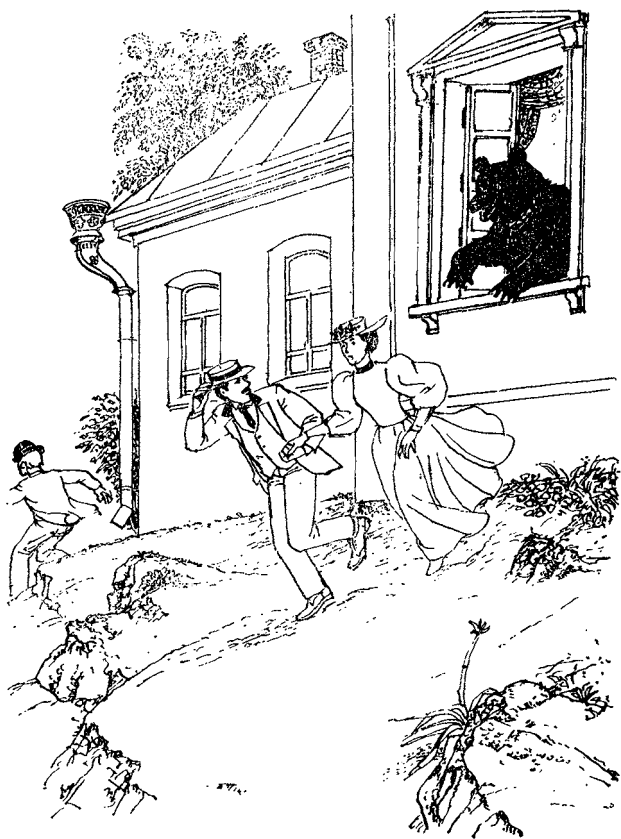
чо изувечено, кровища хлещет. Перетянул я его кушаком и хотел было поскорее домой бежать, слышу: в норе будто щенята скулят. Понял я: медведицу убил. Не бросать же малых медвежат. Вытащил их, а они еще совсем слепые, махонькие, величиной с варешку. Сунул за пазуху и — ходу. Иду, а сам от потери крови то и дело падаю, голова кружится, наконец, упал, чую — не подняться. Медвежата за пазухой скулят, скребутся... Эх, думаю, эти сироты и своих детей из-за своего лихачества сиротами оставлю. Покарал меня аллах...

Очнулся я дома. Моя Рахия, не дождавшись меня из лесу, взяла фонарь и пошла искать. Нашла по следу моих лыж! Гей, моя Рахия! Нет уже таких женщин и раньше не было!.. Нда... Тех медвежат купил у меня по рублю за штуку Роман Лапшин и приказал мне их выходить. Рахия кормила их молоком из бутылочки, потом жвачками, вареным мясом — все это давали по приказу Лапшина. И что же вы думаете? Выросли мои медведи! Привыкли ко мне. Как собачки следом ходили, руки лизали, просили подачек. А других, кроме Рахили, к себе и на нюх не подпускали! Лапшин приказывал сажать их на цепь, когда случались важные гости. Похвалялся перед ними медвежатами. Еще бы! Ни у кого во всей губернии такого чуда не было. Медвежат Лапшин называл ласковыми именами, кормил их лучшим мясом и сахаром, а мне, сколько я его помню, доброго слова никогда не сказал и каждым гнилым куском попрекал.

Ну, думаю, погоди, Лапшин, я тебе устрою веселую жизнь.

Однажды приехали на хутор богатые родственники его жены, кажется, из Белорецка. Все как положено: пир горой, дым коромыслом. Жрут,

веселятся, а моим детям приказчик, шельма, похуже самого Лапшина, двое суток харчей не дает, и у меня живот свело. Когда я пожаловался Лапшину, он засмеялся мне в лицо: твоя свора детей больше моей своры собак, всех не накормишь. Получше, говорит, подготовь медведей, будем сегодня их гостям показывать. Ладно, думаю, я тебе покажу медведей. Когда все изрядно подпили и слышались крики: «Пойдемте глядеть медведей!» — я расцепил одну заранее подпиленную звенку цепи, взял мишку за недоуздок, втолкнул его в барский дом да и приткнул дверь бревном. А сам бегом, бегом домой, забился в свой закуток: «Что-то знобит меня, — говорю Рахиле, — накрой чем-либо. Накрыла она меня каким-то рядом... Слышу, в доме Лапшина грохот, треск, крики. Все жители барака бросились смотреть, в чем там дело. Глядят — барыни с визгом сигают из окон, помятый приказчик орет: «Помогите! Помогите! Медведь! Медведь!» А мишка мой, видно, сам с испугу одурел, крушит мебель, переворачивает столы, зеркала бьет. Роман каким-то чудом вырвался из дому, прибежал в барак, тормошит меня: «А, сукин сын! Ты все это специально подстроил!» — «Что вы, — говорит моя умная Рахилия, — он уже давно лежит здесь, видите, приболел». — «Укrotи немедленно медведя!» — требует Лапшин. «Так больной же я», — говорю. Тут уж барин просить стал, деньги сулить... Я ни в какую! «Тогда, — кричит, — я его прикажу застрелить». Жалко мне стало мишку. Пошел я, успокоил его, отвел за железную загородку к братцу. А Лапшин пистолетом своим пугает: «Убью этих зверей!» — кричит. Я ему: «Ваше благородие, из такого оружия, как ваше, медведю даже шерсть не пробьешь, а вот разъярить вы их можете. Им эту загородку сло-



мать, что вам хворостину. Тогда уж и я не помогу».

Испугался Роман, спрятал свою пукалку, приказал мне не спускать с медведей глаз и побежал подсчитывать убытки.

Всю ночь я провел у клетки с медведями и уже, признаться, клял себя за эту мальчишескую выходку, думал, выгонит меня утром Лапшин вместе с девятью детьми на улицу. Но утром пришла весть, что умер старый Лапшин, Роману было не до меня, не до медведей — укатил на похороны. А негодяй приказчик, которого медведь малость помял, расхорохорился, послал за охотниками — стрелять медведей. Узнали об этом люди, пригрозили: только тронь неразумных зверей, мы и твой прах по ветру развеем! Отступился, конечно. А тут в феврале такая заваруха началась — царя скинули. После этого Роман больше на своем хуторе в урочище Кайгар не показывался...

— А что же медведи? — спросил Муратов.

Старик вздохнул.

— Не повезло беднякам. Когда запалили барское имение, их забыли выпустить, а меня в тот день на хуторе не было...

— Мда... — Юлдашбаев повертел в руках наполненную Янтурой рюмку. — И напугал же ты, ата, барина... Давайте, дорогие родичи, дорогие друзья, выпьем за здоровье старого батыра Бикмурата...

Закусывали дружно, смеясь и громко разговаривая. Поднялось настроение и у Саюшева.

— Бикмурат-бабай, — попросил он, посмеиваясь, — расскажите, как ваш зять упал с помоста.

— Нет, нет, нет, — поднял ладошки Юлдашбаев, словно защищаясь. — Время рассказов кон-

чилося, теперь надо есть, петь, веселиться, — он пробежал глазами по комнате, наткнулся взглядом на лежащий на подоконнике курай, радостно схватил его, сунул свояку.

— Кайнага, заставь петь этот наш чудесный инструмент.

Янтура взял курай, дунул в него разок-другой, с сомнением покачал головою.

— Боюсь, прежнего духа в груди нету, да и не играл я давно.

— Сыграй, сыграй! — захлопали в ладоши все.

Янтура из чашечки брызнул в инструмент воды, еще раз опробовал его, сел на свое место и, закрыв глаза, спокойно заиграл. Эх, не зря говорят: красна изба миром, красен мир кураем. Все приосанились, обратились в слух, а Юлдашбаев значительно прокашлялся. Многие знали, что в застолье, даже не выпив и капли, Барый Максютович пел одну и ту же любимую песню, поскольку другой просто не знал. Вот и теперь он нетерпеливо скрипнул стулом.

— Кайнага, дорогой, давай-ка «Сибай». Дивная ведь песня!

Янтура охотно вывел первую ноту «Сибая», и Юлдашбаев бодрым голосом затянул:

С шелковенькой петельки
Да ворвался сизый сокол,
Увидев свою соколиху...

Многие знали слова этой старинной народной песни, потому подхватили:

Эй-ей-йй!
На своих широких перинах
Видит ли меня во сне
Фатима моя!..

Оживленный Муратов искренне обрадовался:

— Ай да Барый Максютрович! Ты у нас, оказывается, прекрасный тенор!

Бикмурат похлопал певца по спине.

А Юлдашбаев, ободренный похвалами, изменил в припеве имя героини песни на имя своей жены Хакимы, чем вызвал ее смущенное удовольствие и всеобщий хохот.

Чтобы как-то подавить смущение, Хакима пошутила:

— Особо не шумите, не то и на нашу трапезу кто-нибудь заведет медведя.

— Ох, дорогая, — всплеснула руками Нафиса, — в кои веки собрались, да еще и сидеть тихо? Ешьте, пейте, дорогие гости, шумите и веселитесь вовсю!

Молчаливая Мастура сияла от удовольствия. Давно она не была в такой родной компании, давно не слышала и не пела простых любимых песен. Муратов, зная, что жена красиво поет, шепнул ей на ухо:

— Спой что-либо, Мастура.

Жена молчаливо прикрыла глаза. Муратов хлопнул в ладоши.

— Хоп! А теперь давайте послушаем столичную певицу. — И добавил голосом диктора: — У микрофона не заслуженная, но уже народная исполнительница башкирских песен Мастура Муратова!

Все дружно зааплодировали, закричали:

— Просим, Мастура!

— Спой, дорогая!

Рамиля исподтишка рассматривала жену Муратова, которую видела впервые, и с удовольствием отметила, что та уступает ей и фигурой, и внешностью. Повела плечиком: и что такого в этой нескладной молчунье нашел красивый Муратов? Но, когда побледневшая от волнения Мас-

тура запела известную грустную песню «Ашкадар», Рамиля вздрогнула и уставилась на нее с завистью, смешанной с восхищением.

...Он пошел за норками и не вернулся,
А я, молоденька, осталась сиротинушкой... —

пела Мастура, и в доме было так тихо, что слышался тоненький звон оконных стекол. Все, потупившись, молчали, не смея подпевать, чтобы не портить своими голосами дивный голос Мастуры.

Рамиля завистливо думала, что в этой молчунье живет настоящий соловей, и, словно угадав ее мысли, старый Бикмурат согнал с глаза пальцем слезу, сказал:

— Вот так, надрывая сердце, поет соловей. Спасибо тебе, Мастура... Спасибо. Эх, дети, сижу, гляжу на вас и душа моя поет! Кто у бывшего батрака Бикмурата в гостях! Умные, красивые люди. Любите и берегите, дети, этот мир, а наша жизнь прошла почти зря.

— Не говорите так, бабай! — горячо вмешался Саюшев. — Если бы не ваше поколение, если бы не вымели вы с нашей земли таких, как Лапшин, Уелдан, не сидеть бы и нам за этим столом.

В это время дверь распахнулась и на порог шагнул, наклонив голову, Ишмурза. Был он в одной рубашке, растрепанные волосы ниспадали на лоб. Он распрямился и, чуть покачиваясь, стал посередине комнаты, едва не касаясь головою потолка. Все заметили, что вольерщик немного не в себе, но виду не подали. Юлдашбаев миролюбиво упрекнул:

— Гей, Ишмурза, дорогой, где это ты прячешься? Искали, кричали, а ты ни гугу!

Саюшев подвинулся на лавке, жестом пригласил гостя сесть рядом. Рамиля, вспыхнув, пере-

водила взгляд с мужа на Ишмурзу, с того — на Муратова и снова на Ишмурзу. Тот, тяжело дыша, откинул со лба волосы, за стол не сел.

Янтура протянул ему рюмку.

— Почему ты задержался, сынок? Выпей, пока не сел. Считай, что тебе штрафная.

Но Ишмурза рюмку не взял, кивнул подбородком на курай, попросил отца:

— Ата, сыграй «Бииш».

Янтура несколько мгновений колебался. Он, конечно, сразу понял, что сын сегодня где-то выпил, и терялся в догадках: с чего бы это? Ведь Ишмурза вообще-то выпивает очень редко и в компаниях, а тут... Что же случилось? Но отгадки не было, и он взял курай, исполнил проигрыш, настраивал голос сына, потом махнул головой, приглашая его начать.

Красивым баритоном Ишмурза затянул:

Сивую да лошадь

Я запряг,

Остальные остались в конюшне...

Пел он, широко расставив ноги и глядя в окно, постепенно усиливая тембр голоса, и вот уже звякнули и задрожали стекла:

Нервно подергиваются веки:

Что-то будет завтра, знать бы наперед...

В песне были тоска, томление, надежда. Все, сидевшие за трапезой, слушали певца затаив дыхание, а Ишмурза, набирая полные легкие, запел еще громче, еще задушевнее:

Долины Ирендыка синие камни —

Не здесь ли мне голову преклонить?

Я ходил здесь, не знал болезни,

А сегодня испытываю то, что мне суждено...

Рамиля почувствовала, что на ее глаза набежала слеза, застыдившись, оглянулась. Мать Иш-

мурзы Нафиса-апа в дальнем углу, не скрываясь, вытирала кончиком головного платка глаза, всегда разговорчивый Юлдашбаев сидел, открыв рот, и, казалось, был парализован. Муратов и Саюшев, не знавшие биографии певца, недоуменно переглядывались, а Мастура вцепилась в лежавшую на столе руку мужа, сжала ее так, что у самой побелели костяшки.

Когда Ишмурза кончил петь, в доме воцарилась оглушительная тишина. Нарушил ее Янтура. Встал, кашлянул, опять протянул рюмку:

— Держи-ка, сынок.

Ишмурза взял рюмку, будто собираясь выпить до дна, поднес ее ко рту, но вдруг опустил, поставил на стол, низко поклонился отцу, словно прося у него прощения, потом кивнул гостям и быстро вышел.

Никто не осмелился задержать его — словно всем передалось его какое-то особое состояние, и, лишь придя в себя, следом за ним бросилась Хакима. Но его уже во дворе не было...

ХІІІ

Весь день Гильман провел в лесу, досадуя на себя, на Зубаржат. Он клял себя за то, что потерял над собою контроль, мысленно упрекал и девушку, которая, как ему казалось, ловко поймала его. Она, Зубаржат, конечно же, изучила его характер и знает, что волей-неволей он теперь обязан ей, а раз так, значит, ни за что с нею не порвет, несмотря на то что она фактически его обманула... Обманула? Но в чем? Какие у него права на нее, какие к ней претензии? Но тогда и у нее к нему — никаких? Что ж это получается? Переспали — разбежались?..

Конечно, мужское самолюбие Гильмана было ущемлено: как же — до него был кто-то, наверное, более любимый, чем он, если Зубаржат отдалась ему... Но к этой досаде примешивалась еще большая горечь: он чувствовал, что без Нины ему жизни нет, и даже сейчас, думая о Зубаржат, об этой нелепой ночи, он все время думал о светлоголовой, голубоглазой русской девушке. Кажется, он ей тоже не совсем безразличен (вспомнилось ее порывистое, как выдох: «Уезжай!»), с другой стороны, не верилось, чтобы такая красивая, бойкая девушка в свои девятнадцать-двадцать лет еще не испытала настоящего чувства. А вдруг кто-то был такой, как у Зубаржат? От этой мысли лоб парня покрывала испарина, и обрывалось сердце. Не ведая соперника, не зная, был ли он вообще, Гильман уже бешено ревновал к нему Нину, жалея себя. И вдруг в какое-то мгновение растерянno и горько подумал: а он сам-то? Узнай Нина о вчерашней ночи, о Зубаржат?..

Когда он шел к своему дому, то от одной мысли, что Зубаржат ожидает в его комнате, ему хотелось повернуть назад и опрометью бежать неизвестно куда. Нет, она не была ему неприятна, но неизбежность тяжелого объяснения с девушкой, сознание того, что, общаясь с нею, он предает Нину, свою любовь, приводили его в отчаянье.

К счастью, огонь в его комнате не горел, он его не стал и зажигать, не раздеваясь, бросился на койку, намереваясь поскорее забыться от своих тяжких дум. Но сон все не шел. Создавшееся положение, жгучий стыд за самого себя, сознание того, что Нина им предана, не давали покоя до утра...

Он очнулся оттого, что кто-то тормозил его

за плечо. Открыл глаза и — сна как не бывало. Возле койки стояли улыбающиеся Муратов и его супруга. В окна лилось щедрое солнце.

Гильман, вспомнив, что он одет, вскочил, растерянно забормотал:

— Габит Салихович... Мастура Каиповна... Здравствуйте! Извините... Что-то со мною случилось... — проспал.

— Не беда, — добродушно посмеиваясь, сказал Муратов, — сегодня выходной.

— Габит Салихович сам на деревенском воздухе любит долго поспать, — улыбнулась супруга министра.

— Ну, я это по-стариковски, — подмигнул Муратов жене, — а Гильман молодой парень, холостяк, небось, с девушкой до утра пробыл, вот и спит. Так, Гильман?

Лесничий густо покраснел. Побывать-то он побывал, только не наяву, не во сне даже, а в мыслях, и не с одной девушкой, а с двумя...

Видя его смущение, Муратов взял за руку жену.

— Ты приводи себя в порядок, а мы посидим на воздухе.

Они вышли, а Гильман лихорадочно сбросил с себя гимнастерку, умылся холодной водой до пояса, поелозил по щекам электрической бритвой, вспоминая, что Муратов твердо обещал заглянуть к нему, а он из-за этой Зубаржат (Гильман скрипнул зубами, вытряхнул бритву в раковину) все позабыл. Дома даже хлеба нету. И магазин сегодня ради воскресенья, небось, закрыт. К сторожу сбегать, что ли? А чем еще угощать?

Так размышляя, он заправил койку, подмел чилижным веником пол, еще раз умылся, надел чистую рубаху и вышел наружу.

Муратов и его супруга сидели под ивами на скамейке.

— А вот и наш герой, — приветствовал его Габит Салихович. — Небось, думал, не приеду?

Гильман все еще не мог освободиться от своей растерянности. Переминаясь с ноги на ногу, он предложил:

— Может, попьем у меня чайку? Я сейчас поставлю.

— Мы уже здесь позавтракали, спасибо, — поблагодарил Муратов и, видя, что лесничий недоумевает, пояснил: — Мы приехали вчера, остановились у Янтуры-агая. Решили вот прогуляться по утреннему воздуху, ну и зашли поглядеть, как живешь.

— Когда приведешь в дом невесту, — улыбнулась Мастура, — непременно заглянем к вам на чай и маслице. — И беспокойно поглядела на мужа. — Нас хозяйева, небось, ищут, Габит...

— Мы не иголка с ниткой, найдемся сами, — пошутил Габит Салихович, поднимаясь со скамейки. — Давай-ка и впрямь поглядим, как тут устроился наш Гильман Ильгамович.

Они вошли в контору. Сразу бросилось в глаза, что стены ее облуплены, плакаты пожелтели от дыма, в полу были щели величиною с палец, доски, когда по ним ходили, издавали жалобные звуки. Поняв, что все это не понравилось министру, Тулькусурин начал сбивчиво пояснять:

— Строили контору без меня, видать, стены штукатурили одним песком, а полы стелили из сырых досок... Ремонт же я не успел сделать.

— Ремонт ремонтом, — строго упрекнул Муратов, — но мог же ты хотя бы эти плакаты заменить, портрет этой красивой девушки, — показал он на фотографию Зубаржат, — в которую

каждый парень может влюбиться, завести под стекло...

Гильман, чувствуя, что краснеет, будто Муратов и его супруга, с интересом рассматривающая портрет Зубаржат, знают об их отношениях, опустил голову.

— Чего затих? — ткнул его легонько большим пальцем в бок Муратов. — Я тебя не проверить приехал, не разносить, а помочь. Вот, смотри, висит у тебя в конторе Доска почета, социалистические обязательства участка. Кто их тут видит? Да написаны они мелко, плохо. Сделай другие, понагляднее, покрасочнее и выставь у входа. Для этого ведь не надо ни больших средств, ни большого, извини, ума. С материалами мы тебе поможем, ты же срочно наведи в конторе блеск. Ведь по жилью человека, по тому, в каком состоянии его место работы, судят и о хозяине. У тебя же получается так: хозяин ты будто и хороший, коли у тебя передовое лесничество, а контора твоя напоминает контору какой-то шарашкиной артели.

Гильман молча глотал обидные слова. Прав Муратов, тысячу раз прав! Конечно, за тот срок, что он, Тулькусурин, здесь, ремонт сделать трудно, да и в конторе он бывал в основном лишь по утрам, и все-таки... Прав Муратов!

А министр, посчитав, что для молодого лесничего сказанного вполне достаточно, переменял тему разговора.

— Как думаешь начать месячник покоя?

Гильман встрепенулся.

— Сегодня вечером в клубе проводим собрание, на нем всё решим. А вчера я был на сходе в деревне Хажы, там жители идею поддержали.

— Это хорошо, — кивнул министр, — только смотри, Гильман Ильгамович, чтобы это живое

дело не превратилось в мертвечину, в мероприятие ради галочки. Сколько у нас этих самых месячников! И посадки деревьев, и ремонта дорог, и вывозки навоза, и подготовки к зиме, и... — Муратов махнул рукою. — Месячников много, толку мало!

В это время в коридоре слышались топот и голоса. Гильман удивился: кто бы это мог прийти в контору в воскресный день? Оказывается, прибыли из райцентра рабочие бурить скважину. Гильман обрадовался. Ведь начальник РМСУ обещал прислать их в субботу, то есть еще вчера, но вчера они бы не нашли лесничего и спокойно уехали бы домой, а сегодня, в воскресенье, возможно, хитрый начальник пронюхал, что на участке сам министр, вот и решил показать свою деловитость. Так это или не так, но очень хорошо получилось!

Гильман показал место, где удобнее всего устроить скважину, а Муратов, одобрив идею орошения питомника, предложил делать скважину помощнее, с учетом расширения питомника.

— Вопрос об этом решим на коллегии в самое ближайшее время, — пояснил он лесничему. — Но ты тоже не жди готового. Посоветуйся со старшими, какие площади под вольер занять, каких зверей удобнее и прибыльнее разводить в нем, поговори со своими лесниками. А мы пришлем тебе в помощь парочку научных сотрудников. Прикинь с ними все, составьте письма Козину и мне с обоснованием необходимости расширения вольера, а остальное предоставь нам... И запомни раз и навсегда: опора и сила твоя — в людях... Кстати, что за человек вольерщик?

Гильман коротко рассказал о судьбе Ишмуры. Муратов выслушал внимательно:

— Нда... Давай-ка сходим к нему?

Разговаривая о делах, мужчины медленно шли через редкий лес, Мастура — позади. Иногда она наклонялась, срывала цветы, нюхала их и складывала в букетик.

У ограды вольера они озадаченно остановились. Ишмурза был не один. У самодельного очага спиною к ним сидела на корточках женщина и раздувала угли.

— Ишмурза-агай! — звонко крикнула женщина голосом Рамили. — Где же твоя рыба? Очаг готов.

— Несу, несу, — слышался из сторожки глуховатый голос вольерщика.

Лосиха и косули, пасшиеся неподалеку, услышав этот голос, оторвали от земли головы, запрядали ушами. Медведи в клетке перестали возиться и прильнули к решетке, надеясь получить от хозяина сахар.

«Вот что такое неволя, — почему-то грустно подумал Гильман, глядя на униженных мишек. — Небось, на свободе, в лесу, они бы не стали кланяться подачки».

— Ну где же ты, Ишмурза-агай? — капризно крикнула Рамиля.

Муратов, не желая больше подсматривать, подслушивать, громко кашлянул. Рамиля, вздрогнув, обернулась, узнала гостей.

— Ой, напугали вы меня! — поправила волосы, одернула платье. Из сторожки с большой чашей, накрытой крышкой, вышел Ишмурза, дернул досадливо щекою, но радушно пригласил:

— Заходите, дорогие гости.

Муратов шагнул за ворота первым, говоря:

— Вчера я не обратил внимания, что у вас здесь так славно. — Кивнул подбородком на Рамилю. — Уж не думает ли этот симпатичный това-

рищ остаться у тебя, Ишмурза-кустым, твоим заместителем?

Ишмурза смутился, не зная, что ответить (а так и хотелось крикнуть: «То-то было бы хорошо!»), но Рамиля не растерялась, ответила, как отрезала.

— А я, товарищ министр, могу работать не только в помощниках у Ишмурзы-агая, но и вашим заместителем! Не зря же злые языки меня называют прокурором секретаря райкома. Так берете? — и лукаво сощурила глаза.

Муратов, посмеиваясь, ответил:

— О, дорогая Рамиля-ханум, чтобы тебя взять ко мне заместителем, потребуется разрешение довольно многих влиятельных людей. — И стал загибать пальцы: — Никиты Баровича, например, да и как посмотрит на это прокурор министра? — он кивнул в сторону жены.

От этой немудрящей шутки стало так легко, что все громко расхохотались. Муратов смеялся со всеми, но в душе думал, что Рамиля, возможно, намеренно намекнула ему об их прежних отношениях. Габиту Салиховичу казалось, что щеки его горят, как от пощечины.

Мастура, обычно молчаливая, на этот раз уязвила его:

— Я не возражаю, Рамиля. Ведь мой муж только на вид кажется батыром, а на самом деле я только и лечу его болячки. Как говорится в народе, по почам подкладываю соломку под помятые бока.

Тут громче всех захохотала Рамиля, и в ее смехе Муратову почудилось злорадство и издевка. Он поспешил направить разговор в другое русло.

— Чем сегодня занимаешься, Ишмурза-кустым?

— Да вот думаю вас угостить жареными хариусами.

Муратов приподнял крышку, увидел десяток почищенных и выпотрошенных рыбин, завистливо присвистнул:

— Ого! Когда и где успел столько наловить!

— Утром ходил петлить, — пояснил вольерщик и добавил: — Пока еще рыбка в наших реках нет-нет да и попадается.

Муратов расслышал в его «пока еще» и «нет-нет» и упрек, и тревогу. Ответил задумчиво:

— От нас самих, Ишмурза-кустым, зависит, чтобы она никогда не перевелась да и реки наши не высохли.

— Верно! — обрадовался вольерщик, протянул чашу с рыбой Рамиле. — Давайте позавтракаем здесь, на траве?.. Я сейчас.

Он исчез в своей сторожке, а к костру незаметно подошел со стороны рощи Саюшев.

— О, какие у нас сегодня гости! — воскликнул он, целуя руку Мастуре и пожимая Муратову. — А я по лесу бродил, воздухом дышал. Хорошо!

Саюшев вздохнул полной грудью, словно хотел вобрать в себя весь воздух этого чудесного утра. Муратов улыбнулся, взял его под локоть.

— Как теща? Блинами накормила? — они, балагурия, отошли в сторонку.

Ишмурза принес треножник, сковородку, соль, масло, лук. Рамиля все это приняла у него. К ней присоединилась Мастура, женщины стали хлопотать у огня. Вольерщик топтался возле, не зная, что ему делать.

— Ступай к гостям, — приказала Рамиля, — мы здесь сами управимся. — Ишмурза не очень охотно подчинился.

Оттого что женщины были почти не знакомы, разговор у них сначала не клеился. Натирая рыбу солью, Рамиля время от времени поглядывала на чистящую лук Мاستуру. Эту спокойную, судя по всему, домовитую супругу министра Саюшев всегда хвалил за гостеприимство, сдержанность, умение вкусно готовить. К тому же, как вчера выяснилось, она прекрасно поет... Рамиля чувствовала, что в ней нарастало раздражение против этой спокойной, обстоятельной женщины, но вслух она, чтобы начать разговор, пояснила:

— Мы буквально перед вами сюда пришли. Никита Барович притащил меня: давай, говорит, этого странного Ишмурзу проведем. А он действительно странный. Вы не находите?

— Да, вчера вечером он явно был чем-то возбужден, — согласилась Мастура, дую на кончик носа и вытирая тыльной стороной руки глаза. Недаром же говорят: кто лук раздевает, тот слезы проливает. — Но сегодня он выглядит совсем другим, счастливым каким-то, что ли.

— Вы знаете его биографию?

— Так, в общих чертах, Гильман сегодня рассказывал... Бедняга! Очень с ним жизнь круто обошлась.

— Но, знаете, — продолжала Рамиля, — человек он совестливый, я бы сказала, даже интеллигентный. Когда сегодня утром мы пришли к нему с мужем, он очень смутился и долго извинялся за вчерашнее.

Мастура, наливавшая на сковороду масло, вскинула брови:

— Да ведь он вчера не хамил, не хулиганил...

— И все-таки чувствовал сегодня себя неловко... Но мой Никита успокоил его...

— Секретарь райкома партии и в воскресенье работает, — улыбнулась Мастура.

Рамиля было вспыхнула, но вовремя сдержалась... Укладывая на раскаленную, шипящую сковороду рыбу, она со вздохом сказала:

— Да уж я привыкла к тому, что у него ни выходных, ни приходных. При живом муже живешь, как вдова.

Мастура участливо поддакнула.

— Что поделаешь, Рамиля, уж такая судьба наша, жен начальников. Мой тоже иной раз уедет куда и дней семь — десять где-то пропадает. Ждешь-терзаешься: не случилось ли что?

— Честно говоря, — разоткровенничалась Рамиля, — так жить просто неинтересно. Многие женщины нам завидуют, а побыли бы в наших шкурах!

— Вот, вот! — подхватила Мастура. — С нами по соседству живет семья. Муж работает электриком и жена его в том же цехе. Я думаю, вот счастливые люди! Все время вместе! А как-то зашла ко мне соседка за чем-то, ну и разговорились. Она и говорит: ох, Мастура, пожить бы хоть немного так, как ты. Вот счастье-то! Ну, что ей было ответить? Сказать, что быть женою крупного начальника совсем не мед, не поверит, смеяться будет. Промолчала я, а сама думаю: немного, соседушка, ты так бы, как я, пожила, а вот если всю жизнь? Выдержишь?

Рамиля перевернула на сковородке рыбу, спросила, чуть поколебавшись:

— Мастура, и все-таки, наверное, Габит Салихович неплохой семьянин?

— Грех жаловаться, но ведь работа у него такая, что ему мне и детям некогда уделять много внимания... А твой-то вроде прост, не кичится своим положением. Я вообще рано просыпаюсь — детей в школу собирать, мужу завтрак готовить, а тут, в деревне, вообще встала ни свет

ни заря. Слышу — удары топора. Поглядела в окно, а твой уже дрова колет.

— Это у него любимое занятие, — неприятно отрезала Рамиля, задумалась, потом встрепенулась: — Подгорает рыба. Пойду-ка я, поищу для второй порции муку у этого Ишмурзы.

Она скрылась в сторожке и отсутствовала довольно долго — Мастура успела снять готовую рыбу со сковородки и, притушив огонь, ждала ее с мукою, — а когда возвратилась, глаза ее были красными.

«Плакала, — догадалась Мастура и забеспокоилась. — Уж не обидела ли я ее каким неосторожным словом?» Спросить она не решилась, обвалила рыбу в муке и уложила ее на сковородке...

А Ишмурзу сегодня будто подменили. Видя, что начальство не вспоминает о вчерашнем, да и вообще держится с ним на равных, он коротко, но охотно отвечал на вопросы, высказывал свои суждения, улыбался шуткам. После вчерашнего вечера, когда он спел свою песню, что-то очистилось в его душе, обрадовал его и приход гостей. Приглашая их к импровизированному на траве столу, Ишмурза ругнул себя в душе за то, что вчера выпил водку. Но гости, то ли подчиняясь духу времени, то ли соблюдая приличие, и виду не подали, что к этому утреннему завтраку рыбой, лесной зеленью нет ничего горячительного, ели с удовольствием, шутили, непринужденно смеялись.

Муратов, совсем как сельский или лесной мужик, облизнул пальцы, откинулся на траву, сказав:

— Такой вкусной рыбы я сроду не ел.
Потом он встал.

— Тебе, Ишмурза, за рыбу, за чудесный завтрак большое спасибо. Когда будешь в Уфе, непременно заходи к нам. Хариусов жареных не обещаю, но кое-что думаю, у моей женушки в холодильнике найдется.

Пожимая вольерщику руку, он похлопал его левой ладонью по широкой спине.

— Выше голову, парень! Ты еще в той поре, когда можешь заставить землю дрожать.

Попрощались с ним и Саюшевы. Ишмурза, проводив их до ворот, возвратился к потухшему очагу.

Он тряхнул головою, вошел в сторожку, засунул за пояс охотничий нож, взял тетрадь, карандаш, краюху хлеба... «Карта — картой, — размышлял он, — а не мешает еще раз осмотреть земли, которые займет вольер. Похоже, начальство заинтересовалось идеей лесничего всерьез...»

По лесу шагал он бодро. Весенние деревья осыпали золотистую пыльцу на его плечи, ему кланялись лесные цветы своими яркими головками, ему пели веселые песни лесные птицы, душа его переполнялась умилением и счастьем, мысли, распрямив крылья, уносили к облакам... Он поднялся на хребет, окинул лежащий под ним лес, и вдруг подумалось, что природа, не случись что-либо страшного, была и пребудет вовеки, что и эти столетние сосны, двухсотлетние дубы будут помнить его и после его смерти, потому что природа, лес — вечны.

Он набрал полные легкие воздуха, крикнул:
— Лес ты мой! Друг мой вечный!

И эхо возвратило ему его крик, в котором троекратно прозвучало:

— Вечный! Вечный! Вечный!..

Часть вторая

I

В последующие дни в лесничестве было так много работы, что Гильману не оставалось для личных дел ни одной свободной минутки. Но нет худа без добра: из-за своей занятости он не смог встретиться и объясниться с Зубаржат. Девушка, чувствуя его отношение и видя, как он занят, в гости и на разговор не набивалась. А дело с организацией вольера закрутилось, набирая обороты, сразу же, как только Муратов уехал. Потребовалось оформлять десятки бумаг, выбирать место под новый большой питомник, искать кадры. К тому же в Иманкулове на базе местного лесхоза начало создаваться первое объединение, руководителем которого, по слухам, назначили заместителя Муратова Халитова, которого Тулькусурин хорошо знал по работе в министерстве. Лесничего это обстоятельство ободрило: последнее время Қозин на все просьбы о помощи сквозь зубы цедил: «Сам заваривал кашу, сам и расхлебывай».

Но теперь можно будет через голову директора лесхоза обращаться непосредственно к генеральному директору объединения. Это понимал и Козин, потому и злился.

Когда Гильман зашел к нему в кабинет подписать командировочное удостоверение для поездки за изучением опыта в Прибалтику, Петр Максимович встретил его неприязненно.

— Объявил в своем лесничестве месячник тишины, а сам — в кусты? — проворчал он, вертя удостоверение в руках.

— Петр Максимович, — волнуясь, сказал Гильман, — вы говорите о лесничестве, будто это мой собственный участок, а месячник покоя нужен мне лично. Но ведь проводится он по согласованию с вами и на территории вашего, — нажал Гильман на это слово, — лесхоза.

— Вот как? — вскинул брови Козин. Встал из-за стола, подошел к Тулькусурину вплотную. — Заруби себе на носу, если ты своей авантюрой сорвешь мне выполнение плана рубки и сенокос, голову оторву! И не побоюсь твоих защитников в министерстве!

— Не кричите на меня, — спокойно сказал Гильман. — Я за свою работу отвечаю больше, чем головой, — партийным билетом.

— Ишь ты, идейный какой, — едко усмехнулся Козин. — Поглядим, поглядим, что у тебя получится, а в случае чего и голову снимем, и партбилет отнимем.

Ничего не сказав, Гильман круто повернулся и пошел к выходу, слыша, как директор вслед ему прошипел:

— Ты еще поговоришь у меня, молокосос!

В самолете, пока Тулькусурин летел в Вильнюс, из головы у него не выходил этот неприятный разговор, но в лесах Прибалтики он о нем почти

забыл. И было от чего. У литовцев и в Карелии имелся отличный опыт организации больших заказников, искусственного воспроизводства леса и зверя. Особенно потрясло Гильмана знакомство с лесным хозяйством, которым руководил семидесятилетний ученый Юхан Вольфович Марцинкявичус. Подвижный, жизнерадостный старик рассказывал о лесе, о деле всей своей жизни с таким юношеским темпераментом, так откровенно, что казалось, говорит он о каком-то выдающемся шедевре искусства. Да и то, разве лес не чудо, не шедевр?

В поезде, по дороге в Карелию, башкирский лесничий, конспектируя наставления старого литовского лесовода, с горечью думал, что такие, как Козин, вряд ли поймут и поддержат грандиозные идеи ученого, они будут всячески вставлять палки в колеса, чтобы перестройка застопорилась, чтобы все осталось по-старому. Значит, надо уже сейчас искать веские аргументы, копить силы, подбирать единомышленников, чтобы противостоять тем, кто не хочет ничего нового, что нарушало бы их спокойную, болотную жизнь...

Питомнические хозяйства Карелии были для Тулькусурина не новостью. Он, учась в академии, дважды наезжал сюда на каникулах подрабатывать. И все-таки кое-что интересное удалось увидеть и здесь.

В Уфу Гильман возвратился в приподнятом настроении.

Муратов принял его приветливо, внимательно выслушал, задавая по ходу разговора уточняющие вопросы, детально изучил заявку на технику и специалистов. Вздыхнул:

— Все это, Гильман-кустым, конечно, очень тебе нужно, но из двадцати видов запрошенной тобою техники я могу тебе выделить только одну

машину. — И видя, что молодой лесничий растерялся, успокаивающе положил ладонь на его руку.

— Да ты не тушуйся. С пустыми руками, конечно, в бой не пойдешь, но ведь у тебя кое-что есть. И люди, и техника. Так что ты не совсем безоружен. Пока начинай с тем, что есть, а там поможем. Да и сам посуди, техникой кто-то должен управлять, а кого ты на нее посадишь? То-то. Сейчас мы открываем курсы по подготовке механизаторов-лесовиков и работников питомников, так что срочненько подбери десятка полтора-два толковых парней, девушек...

«Легко министру говорить! А где их брать, столько парней и девчат?» — размышлял лесничий.

В кабинет вошла миловидная молодая женщина с чуть приплюснутым носом. Муратов представил ей Гильмана:

— Знакомьтесь, Фарида. Это лесничий из Каратау, Гильман Тулькусурин, а это, — кивнул он на женщину, — зоолог-лесопатолог Фарида Саттарова. Между прочим, единственный в министерстве специалист. Отдаю тебе по давней дружбе, — улыбнулся министр.

Гильман и Фарида рассматривали друг друга.

— Какой вы институт заканчивали? — поинтересовался Тулькусурин, чтобы как-то разрушить неловкое молчание.

— Свердловский.

— Это хорошо, очень хорошо, — пробормотал зачем-то Гильман. Фарида прыснула.

— А вы, наверное, тоже недавний студент?

— Да... Я в лесной академии в Ленинграде учился.

Муратов, с любопытством наблюдавший за молодыми людьми, сказал, выпроваживая их:

— Улицы Уфы широки, побродите, поговорите в свое удовольствие. В Каратау вам придется вместе работать. Вы, Саттарова, готовы к отъезду?

Фарида тряхнула стриженной головой:

— Мое хозяйство — один чемодан.

— Не беда, — успокоил Муратов, — обзаведение хозяйством после учебы как раз и начинается с чемодана.

...На улице моросил дождь, Фарида, легко одетая, поежилась.

— Вот что, — предложил Гильман. — Вы ступайте домой, а то промокнете, а я пойду, куплю билеты. Жду вас завтра на вокзале. Проверю вашу точность и желание ехать в нашу глухомань.

Фарида надула и без того толстые губы, передернула плечами.

— Мы такие испытания уже давно прошли, — и застучала каблучками, не попрощавшись.

«Кажется, обидчивая», — размышлял Гильман, ловя такси. Он решил поехать в центр города, чтобы купить подарки дедушке Бикмурату, Нафисе-зенге¹ да и себе кое-что из продуктов.

По улице Ленина он шел бодро, расстегнув плащ, словно хвастаясь перед малочисленными прохожими своим великолепным рижским костюмом. В дорогом плаще, в мягкой велюровой шляпе, в белоснежной сорочке и при галстукке, он казался себе в стеклянных витринах магазинов прямо-таки иностранным франтом. И вздрогнул от знакомого, насмешливого голоса.

— Ба! Я думаю, что это за денди такой появился на улицах Уфы! А это же грозный лесничий Каратау!

¹ Зенге — жена старшего брата.

Гильман обернулся. Перед ним стояла промокшая до нитки, но улыбающаяся Нина. У парня отнялся язык, ноги стали ватными. Нина была в тонком коричневом платье, которое, намокнув, плотно облепило ее фигурку, прядь мокрых волос прилипла к усеянному капельками дождя лбу. В руках она держала кейс.

— Ты чего на меня уставился? Язык проглотил? — посмеивалась Нина, чуть выпячивая нижнюю губку и дуя на прилипшую прядь.

— Что ты тут делаешь? — наконец выдавил Гильман и тут же сообразил, начал сдирать с себя плащ: — Ты промокла, надень, вот...

Нина засмеялась.

— Хочешь, чтобы я запуталась в нем и упала? Ты вон какой длинный!

Гильман растерянно молчал. Плащ был ему короток, но на Нине он действительно волочился бы по земле.

— Да все равно я промокла уже, так что лучше надень его снова, побереги свой великолепный костюм.

Гильман подчинился и уже спокойнее спросил:

— Давно ты здесь?

— Да уже порядочно. Сдала вступительные экзамены, сейчас хожу на установочную сессию.

— Поздравляю.

— Спасибо! — Нина, взяв пальчиками кончик платья, присела.

Возле ресторана Гильман остановился.

— Давай, зайдем, покушаем?

Ни мгновения не колеблясь, она согласилась.

— Давай. А то когда еще бедному шоферу выпадет счастье посидеть в ресторане с таким... э... респектабельным мужчиной.

Нина ерничала, но в душе была рада этой встрече. Гильмана она не видела с тех пор, как

он ночевал у них, и за все это время, к ее досаде, ей ни разу не выпал наряд ехать в Каратау. При воспоминании о немного нескладном симпатичном парне из глухого лесничества щемяще-сладко ныло сердце. Ей нравилось поддразнивать этого лесного увальня, видя, как он теряется, краснеет.

Вот и сейчас, усевшись за стол, она сделала вид, что смущена.

— Мне, мокрой курице, право, стыдно, господин джентльмен, сидеть за одним столом с вами.

Гильман смотрел на нее во все глаза и находил ее еще более прекрасной, чем раньше.

— Ну, как ваши дела, грозный лесничий? — продолжала она. — Удалось ли получить в министерстве все, что требуется для успешной организации вольера?

— Откуда знаешь? — удивился Гильман.

— Забыли, чья дочь с вами? К слову, отец тоже в Уфе.

— Вот как? Я в министерстве его не видел. Когда же он приехал?

— Вчера. Оказывается, Ражапова берут в новое объединение, вот отец и приехал в министерство искать себе нового главного лесничего.

— Нашел?

— Да вроде бы пока нет. Тех, кого ему предложили, отец отверг, а какой ему нужен, он, наверное, и сам не знает.

«Знает, — подумал Гильман. — Козину нужен если не единомышленник, то верный, покладистый человек, который бы с точностью автомата выполнял его распоряжения. А такого найти нынче действительно нелегко».

Официантка принесла закуски и бутылку шампанского, бросив мимоletный, заинтересованный взгляд на красивого, представительного клиента. Нина моментально засекла этот взгляд, порадо-

валась в душе и даже немножечко взревновала, Гильман же сосредоточил свое внимание на открывании бутылки. Делал он это с видом знатока, хотя никогда сам такие бутылки не открывал, не знал, что для того, чтобы шипучий напиток не вылился, надо бутылку наклонить, желательно над стаканом. Он же решил откупорить ее с шиком, то есть хлопнуть пробкой в потолок, потому даже взболтнул и, открутив проволоку, держал бутылку у своей груди вертикально. И вскрикнул, вскочил, когда пробка, действительно, хлопнула, но белая пена вина ударила ему в лицо, пролилась на шикарный костюм и белоснежную сорочку.

— В бокал! Скорее в бокал! — смеясь, командовала Нина. Растерявшись окончательно, Гильман бухнул вино в бокал, и оно, шипя и пенясь, выползло из него, залило скатерть. Он поспешно вылил остатки в другой, но и тот оказался переполненным. Казалось, смеху Нины не будет конца.

— Ах, Гильман, Гильман! — хохотала она, впервые называя его по имени. — Как же ты был в цивилизованной Прибалтике и даже шампанское открывать не научился!

Она взяла щепотку соли, посыпала пятна на пиджаке, деловито сказала:

— Давай быстренько покушаем и пойдем в мое общежитие. Надо почистить костюм и застирать рубашку, а то потом пятна от вина вывести будет невозможно.

Услышав это, Гильман успокоился и почувствовал, как радостно-тревожно встрепелось его сердце. Она приглашает его к себе! Конечно, костюм почистить надо, но... Значит, значит, Гильман все-таки ей не безразличен!

...В комнате Нины были две девушки.

— Познакомьтесь, — представила она подружкам лесничего, — мой земляк Гильман Тулькусурин.

Девушки, стесняясь, вложили по очереди ладошки в широкую лапу лесничего и под благовидными предложениями быстренько исчезли.

Нина озорно рассмеялась.

— Видишь, какие у меня подруги сознательные? Создали нам интимные условия! Но сначала мы с тобою поиграем в жмурки. Стань-ка у двери спиной ко мне, закрой глаза шляпой и не оборачивайся, пока я тебе не разрешу.

«Что она затеяла?» — недоумевал Гильман, но сделал так, как девушка ему приказала.

— Молодец, — похвалила Нина. — Будь таким послушным всегда.

Она зашуршала одеждой, забрякала какими-то застежками, и Гильман понял, что девушка переодевается. Он представил ее нагую и почувствовал, как перехватило дыхание. Почему она устроила это переодевание за его спиной? Почему не выпроводила на время за дверь? Ему вдруг захотелось резко повернуться и посмотреть на нее. Он конвульсивно дернулся, шляпа выпала из рук и покатилась по полу.

Нина засмеялась.

— Ладно, подними...

Гильман, прежде чем нагнуться за шляпой, поглядел на девушку. В легком голубом платьице она была какой-то домашней, доступной. Не отдавая себе отчета, он шагнул к ней, крепко обнял и стал искать губами ее губы. Она чуть уперлась в его широкую грудь руками, но не отталкивала, сама подставила свой ротик и ответила на его долгий горячий поцелуй. Парень чувствовал, как голова его пошла кругом, как поти-

хоньку обмякает в его объятиях жаркое девичье тело, как она льнет к нему и ее руки сжимают его плечи.

Но вот она резко отстранилась, змейкой выскользнула из объятий.

— Хватит заниматься глупостями! Снимай пиджак, будучи чистой.

— Не беспокойся, — сказал он охрипшим от волнения голосом и опять потянулся к ней, но она уклонилась.

— Хорошего понемножку, товарищ начальник! И снимайте свой роскошный пиджак.

Нина сказала это так, как говорит любящая жена мужу, оттого Гильман почувствовал себя свободнее, послушно снял пиджак. Нина, смочив под краном щетку, стала чистить лацкан. Сидя на стуле, Гильман любовался ее ловкими движениями, и ему было так хорошо, будто она не его пиджак терла, а ласково гладила его по голове. В дверь постучали.

Не оборачиваясь, Нина обыденным тоном крикнула:

— Заходите, девушки!

Гильман так и не понял, какая сила и когда сорвала его со стула, разогнула, поставила «во фронт» — на пороге стоял тоже, похоже, растерявшийся... Козин. Отцу Нины, конечно же, и в голову не приходило встретить у своей дочери строптивного лесничего, но он быстро справился с замешательством, шагнул в комнату, протянул руку.

— Здравствуй... Когда вернулся на родную землю?

— Сегодня утром, Петр Максимович. Сходил в министерство, отчитался да и... — Гильман запнулся, а Козин с усмешкой продолжил:

— ...пришел сюда.

— Я не сам! — зачем-то запротестовал Гильман. — Случайно встретил Нину, случайно испачкал пиджак, вот она...

— Так-так, — задумчиво-издевательски сказал Козин, потирая бритый подбородок. — Все у тебя, выходит, случайно произошло?

Гильман растерялся окончательно, зато Нина поспешила на выручку.

— Ну, что ты привязался, папка! — капризно укорила она. — Произошло все действительно случайно. Он испачкал по моей вине пиджак, вот я и пригласила его к себе. Что же тут такого?

Козин покашлял в кулак и тем же издевательским тоном продолжал:

— Почисти, почисти... Святое, можно сказать, дело делаешь, — потом крутнулся к Гильману. — Что столбом торчишь? Садись!

Гильман плюхнулся на стул. Козин прошелся по комнате, потирая подбородок и поглядывая то на дочь, то на Гильмана.

— Я сегодня уезжаю домой на своей машине. У тебя еще дела есть в городе?

— Дела я свои закончил, Петр Максимович и, если есть в машине место...

— Найдется... А ты, Гильман, чего так разговариваешь, как бедный родственник, который набивается в попутчики? Машина не моя личная, а лесхозовская. Значит, и твоя.

Гильман потупился. Козин повернулся к дочери.

— Тебе денег до возвращения хватит?

— Еще и останется, папа... Постой! Я же купила маме в подарок летнее платье! — Нина вытащила из-под койки чемодан, достала из него сверток.

— Вот, передай. Думаю, оно ей понравится.

Козин принял сверток, радуясь за дочь. Не истратила же деньги на свои модные девичьи тряпки, матери платье купила! И не удержался, похвалил:

— Молодец, доченька. Мама, конечно, будет рада, — и бросил на Гильмана потеплевший взгляд. — Ну, трогаем?

Лесничий встал.

— Только надо сначала заехать на вокзал, взять мои вещи в камере хранения, а потом... — он вдруг вспомнил о купленных билетах, о Фариде Саттаровой. — Петр Максимович! Я же совсем забыл: к нам едет специалист из министерства.

— Это для меня не новость, — усмехнулся Козин.

— Может, захватим и ее?

Директор вдруг стал ледяным, процедил сквозь зубы:

— Почему я должен возить каждого человека, едущего ко мне на работу? Доберется сама.

Тулькусурина резанули эти слова: «я должен возить...», «ко мне на работу», — ведь только что директор, приглашая его в попутчики, напомнил, что машина не его, Козина, а государственная.

— Тогда поезжайте без меня, — решительно отрезал Гильман. — Я обещал девушке поехать вместе, а раз вы не хотите ее брать, доберемся завтра автобусом.

— Что же ты мне голову морочил? — озлился Козин. Потопал к двери, на ходу бросив: — Завтра загляни в контору, — и ушел, не попрощавшись.

— Ох, уж этот папка! — вздохнула Нина. — Станный у него характер, на вид бывает злой, а вовсе — не злой, подумаешь — смирный, а он — лягается.

Гильман невесело засмеялся и, чтобы как-то скрасить нехорошее впечатление, философски заметил:

— Когда у человека на уме серьезное дело, о своем настроении он не заботится. — Надел пиджак, осмотрел его — пятен не было.

Нина прыснула в кулак.

— А когда он неожиданно сюда ввалился, ты был похож на воришку, застигнутого на месте преступления, — она откровенно, до слез расхоталась, и ее веселость передалась и парню.

— А сама-то! Сама?

— Да и я струсила немножко. Уж больно неожиданно все получилось.

— И хорошо получилось! — воодушевился Гильман. — Давай, коли вечер у тебя свободный, сходим куда-либо? В кино, например, или в театр?

Нина лукаво на него поглядела.

— А что скажет та девушка?

Гильману почему-то сразу представилась Зубаржат, но Нина ведь ее не знала.

— Какая девушка? — упавшим голосом спросил он.

— Ну, зоолог-лесопатолог. Очень нужный вам с отцом человек?

У Гильмана отлегло от сердца, он раскованно засмеялся, обнял девушку за плечи, привлек к себе.

— Уж не ревнуешь ли ты меня к ней? Да я ее всего один раз и видел.

— Отпусти! — Нина освободилась из его объятий. — Слишком много для вас чести, товарищ лесничий, чтобы я ревновала вас к каждому дереву, — говорила она нарочито грубовато, а голос ее пел в душе Гильмана.

Они посмотрели кино, побродили по вечерней Уфе. Гильман в самых красочных тонах рассказывал ей свою поездку по Прибалтике, делился планами переустройства своего лесничества. Нина вспоминала смешные случаи, всякие студенческие проделки, которые были на вступительных экзаменах.

Когда расставались у общежития, Гильман поцеловал ее и попросил, как только она возвратится в лесхоз, позвонить ему в Иманкулово.

— Не беспокойся, товарищ лесничий, звонить не буду — собственной персоной приеду. Ну, до встречи.

Гильман, махая ей рукою, ликовал в душе, но потом вдруг представил, что Нина встретится нечаянно с Зубаржат, и поуявл...

В гостиницу он брел не спеша, путаясь в своих думах...

...Сегодня, возвращаясь из лесу, он вспоминал эту последнюю встречу и гадал: возвратилась из Уфы Нина или нет. Если возвратилась, почему не приехала, как обещала? Позвонить самому, узнать? Но можно напороться на Козина, а что ему говорить? Нет, надо набраться терпения.

У дверей конторы его поджидал сын Мурзая Гайсар. Гильман не подал виду, что удивлен: с какой стати здесь вертится лесник, если рабочий день давно закончен? Деловито спросил:

— Показал колхозникам их участки сенокоса, кустым?

— Показал, они довольны.

— А что сам не в духе?

Гайсар ковырнул каблуком кирзового сапога землю.

— Увольте меня с работы, лесничий-агай.

— Что это ты? Дело знаешь, и конь теперь у тебя есть... Может, тебя чем обидели?

— Вы меня ничем не обидели, но жить я здесь больше не буду.

Гильман быстро понял, что в душе у парня что-то надломилось, поэтому потянул его за рукав, усадил на скамейку, сел рядом.

— Давай поговорим откровенно, Гайсар-кустым. Что случилось, если ты намерен оставить родные места?

Гайсар молча долбил землю каблуком.

— Не хочешь говорить? Ну так послушай меня. С работы я тебя не уволю, хватает летунов и без тебя.

— А я все равно уеду, — набычился парень, — и держать вы меня не имеете права. Не хочу я здесь ни работать, ни жить!

— Так-так... Тогда расскажи чуть подробнее, что же все-таки произошло?

— Нет больше сил терпеть выходки отца! Он все считает меня мальчишкой, запрещает ходить в клуб, на улицу... Отбирает все заработанные мною деньги да еще и ворует в лесу деревья! И требует, чтобы я молчал. А я не могу молчать! Он свалил молодой дуб, валил на моем участке. Я составил акт, — Гайсар выхватил из кармана вчетверо сложенную бумажку. — Вот! Читайте!

От неожиданности Гильман даже растерялся. Этот молчаливый, забитый на вид парнишка, оказывается, тоже умеет бунтовать! Знать, крепко допекло его, коли он на родного отца акт составил!

Гильман взял бумажку, развернул... Все честь по чести.

— И что же отец? — спросил он.

— Кричит, если покажешь этот акт лесничему, не приходи домой.

Гильман поднялся.

— Ну-ка, пошли к нему.

— Нет, я больше в те ворота не ходок, — покачал головою Гайсар.

— Пошли, говорю! Иначе зачем ты ко мне приходил? — Гильман направился к выходу. Гайсар неохотно поплелся следом...

Крепок и внушителен двор Мурзабая! Огорожен таким плотным бревенчатым забором, что и мышь не проскочит. А во дворе — дом-пятистенок, добрый амбар, лестница — все это сработано из крепких смолистых бревен и плах. Казалось бы, все у этого человека есть и можно деревья выписывать по дешевке, ведь и хозяин, и его сын работают в лесхозе, но Мурзабай, видимо, считал лес своим, потому что, жадничая, тащил из него бесплатно лесины. Вот и сейчас он в сарае обтюкивал топориком уворованные дубки. Увидев лесничего и сына, внезапно выросших на пороге, старик от неожиданности уронил топор и застыл с широко раскрытыми глазами.

— Идут дела, Мурзабай-агай? — как ни в чем не бывало бодро спросил Гильман, протягивая хозяину руку. Тот поспешно сдернул с ладони брезентовую рукавицу, сунул свою. Тулькусурин почувствовал, что ладонь Мурзабая, горячая и потная, слегка дрожит. Испугался старик. Ведь эти дубы он не выписывал, значит, украл.

Гильман попинал ногою уже очищенные от коры и сучьев бревнышки.

— Мурзабай-агай, чего тебе не хватает? Зачем воруеть?

Старик, не проронив ни слова, все так же изумленно глядел то на лесничего, то на сына.

— Я ведь извинился перед тобою, оставил тебя на работе, — так же миролюбиво, даже с каким-то горьким сожалением продолжал Тулькусурин, — ружье тебе купил взамен того, что разбил вгорячах... А ты?

Спокойный тон лесничего отрезвил Мурзабая. Он со злостью шлепнул о землю рукавицей:

— Если тебе одного паршивого дерева жалко, на, бери! Подавись им!

— Зачем кричишь, Мурзабай-агай? — Все так же миролюбиво укорил Гильман. — Я пришел спокойно поговорить с тобою.

— А я не хочу с тобою разговаривать, выродок Тулькусурин! — все больше распаляясь, завизжал Мурзабай. — Пошел вон отсюда, а не то! — он быстро нагнулся, схватил топор, занес его над головою. Между отцом и лесничим прыгнул Гайсар. Рванул на груди рубаху, обрывая пуговицы:

— На! Руби! Убей родного сына!

Мурзабай попятился назад, бормоча:

— Ты что, сынок, ты что?

Гильман приобнял Гайсара за плечи.

— Эх, Мурзабай, Мурзабай. В кого ты превратился? Эдак из-за своей жадности ты, действительно, и родного сына убить можешь... Сейчас же запряги лошадь Гайсара, погрузи ворованные бревна и отвези их на лесопилку. Не то ответишь перед судом... А ты, Гайсар-кустым, выбрось свои мысли из головы. Никуда из деревни, из нашего леса мы тебя не отпустим. Такие, как ты, честные, стойкие люди нам сейчас вот как нужны! — и Гильман черкнул себе ребром ладони по горлу.

Мурзабай, кажется, что-то понял, потому что, подняв голову, с тоской спросил сына:

— Ты что, действительно, думаешь уехать из деревни?

— Из деревни я не уеду, а из дому уйду, — отрезал Гайсар и пошел к выходу. У ворот обернулся: — Я запрягу коня, помогу тебе погрузить эти бревна... Повезешь сам.

Мурзабай, ошеломленный и приходом лесничего, и своей вспышкой ярости, и намерением сына, ничего не ответил. Уже когда они возились около телеги, Гильман услышал его жалобный глуховатый голос:

— Ты, сынок, не того... Ну, погорячился я разок, а ты уже сразу — уйду из дому.

— Ты горячился не один разок. Нестерпимо мне!

— Прости старого дурака... Прости и не позорь меня, — просил Мурзабай.

II

Погрузив бревна и проводив отца в сторону лесничества, Гайсар прислонился к столбу ворот... Что же делать? Лесничий говорит, что не хочет его увольнять. Но ведь, по правде говоря, и сам Гайсар не хочет расставаться с родной деревней и ехать невесть куда. И на работе уже с ним считаются, уважают. Вот сегодня, когда показывал приезжим колхозникам выделенные для них сенокосные угодья, их старший похвалил:

— Хотя и молодой, а хорошо знаешь землю-воду.

Это он сказал после того, как Гайсар растолковал им: «Стога ставьте вон на том краю, ближе к дороге. Если сметете посредине поляны, на будущий год на месте копен будут расти только сорняки, да и потопчете землю машинами, когда будете забирать сено. Шалаш разбейте у реки: и вода будет близко, и не дай бог пожара... Вот вам билеты на лес для изготовления шалаша, таганка, притужин¹. Если хоть одно дерево сруби-

¹ П р и т у ж и н а — длинный гибкий шест, которым при перевозках крепят сено (*просторечие. Прим. авт.*).

те сверх положенных, пеняйте на себя: сено вы свое не вывезете».

— Ай-бай! — зацокали языками колхозники. — Ты, кустым, уж больно строг. Другие лесники не такие.

— Других не знаю, — отрезал Гайсар. — А мне так приказал лесничий Тулькусурин.

Это имя знали и уважали все. Колхозники больше не пререкались.

Как же здорово чувствовать себя хозяином земли! И вот бросить все, уехать... Но самый уважаемый им человек в деревне Гильман Тулькусурин угадал его любовь к делу, не хочет отпускать... Но ведь и с отцом жить дальше просто невозможно! Это он сейчас, застигнутый врасплох, юлит и унижается, а пройдет день-два, ну от силы неделя, и примется опять за свое. Таков уж у него характер. Все знает об отце Гайсар! И что тот незаконно бьет в лесу лосей, а потом таскает домой по частям, продает мясо на сторону, и что, выписав два, скажем, куба леса, обязательно свалит не менее пяти, и что утаивает шкурки ценных пушных зверьков, а потом в городе продает их втридорога. Эти махинации, эта жадность отца претили Гайсару. Ведь их зарплаты, огородов вполне хватало, чтобы жить безбедно, да и незаконно вырученные деньги отец не тратил, не отдавал матери — куда-то прятал. Зачем? Для кого он старался? Перевоспитать, переубедить отца было уже невозможно... Нет, надо уходить из дому. Но куда?

Он вспомнил свою мысль жениться на Зубаржат и опять загорелся этой идеей. О том, что она в то памятное раннее утро вышла из квартиры Тулькусурин, Гайсар старался не думать, вернее, давно оправдал ее: возможно, заходила

за чем-то нужным... А что рано утром, так мало ли... Жениться на ней, перейти в ее дом...

Гайсар не заметил, как ноги принесли его сами к дому Зубаржат. Распахнув ворота, он вошел во двор и столкнулся с молодой хозяйкой, которая несла охапку дров. Удивленно выгнув бровь, Зубаржат насмешливо сказала:

— Ты чего это, Гайсар, так воротами хлопашь, как будто пожар случился? Сломаешь ведь, а чинить их у нас некому.

Смущаясь, Гайсар осторожно закрыл ворота. Ха! Говорит, некому починить? Да он ей новые ворота поставит!

Зубаржат поджидала его на крыльце.

— У тебя ко мне какое-то дело по работе, Гайсар? — поинтересовалась она.

— Разве к тебе можно ходить только по работе? — довольно смело спросил парень. — А если я пришел просто в гости, прогонишь?

Зубаржат лучезарно улыбнулась.

— Кто же прогоняет гостя! Открой-ка мне дверь, видишь, руки у меня заняты.

Сердце парня радостно екнуло. Она обратилась к нему, как к своему! Он распахнул дверь, предложил:

— Может, принести еще охапку?

— Принесешь, спасибо скажу.

Окрыленный, Гайсар побежал к дровянику. Набирая поленья, он радостно думал: «Вот дурень, боялся к ней идти, а она вон как встретила! Спасибо, говорит, скажу, если дров принесешь. Да я тебе, милая Зубаржат, не то что дрова... Я тебе не позволил бы и пальчиком дотронуться до грубой домашней работы!»

Гайсар так много взял дров, что с ними еле-еле протиснулся в дверь. Высыпал у печки, поглядел на девушку. Та, улыбаясь, подковырнула:

— Все забрал или кое-что на зиму осталось?
От этой улыбки, которую так любил Гайсар, у парня стало тепло в груди.

— Могу еще принести!

— Да уж хватит. И так считай, дня на три притащил.

Гайсар, тиская в кулаке кепку, топтался у двери, делал вид, что разглядывает обстановку в комнате.

— Что стоишь? Проходи, садись, — предложила хозяйка.

Гость неловко сел на табурет у стола и еще раз осмотрелся. Только сейчас он понял, что в избе они одни, старой Факиги-аби дома не было.

— Что-то я тебя сегодня на работе не видела, Гайсар, — начала разговор Зубаржат. — Где ты был?

— Делил сенокос степным людям.

— Ох, нам с мамой тоже надо уже заготовить сено для коровы. Не знаю, как и справимся!

Гайсар приподнялся со своего места, вперил горящие глаза в лицо девушки.

— А я на что? — Зубаржат недоуменно отшатнулась. Парень смутился, сел, сказал спокойнее: — Коли надо, помогу, и лошадь теперь у меня есть...

— Спасибо, Гайсар, добрый ты человек... Но будет ли у тебя свободное время? Твой отец...

— Мне отец отныне не указ! — прервал ее Гайсар. — Я с сегодняшнего дня ухожу от него.

— Уходишь? Куда?

— К тебе! — ляпнул парень и, видя, что девушка очень изумилась, путаясь и запинаясь, заговорил о главном: — Знаешь, Зубаржат... Я к тебе не потому, что жить негде... Я ведь это... Я тебя очень люблю... и без тебя не могу жить... Если ты согласна... давай жить вместе! Вот...

Зубаржат слушала его монолог со смешанным чувством страха, изумления и какой-то тихой радости, а когда он кончил и утер обильный пот кепкой, уронила лицо в ладони и расхохоталась. Гайсар смотрел на нее, закусив нижнюю губу.

— Ох, Гайсар, Гайсар, — всхлипывала она, промокая кончиком платка слезы, — и насмешил же ты меня! Значит, ты решил на мне жениться и пришел сам себе сватом?

— А что тут такого? Чем я хуже людей?

— Да не хуже ты, Гайсар, не хуже... Ох? Только вот свататься ты пришел не по адресу.

— Мне кроме тебя никто в мире не нужен, Зубаржат! — в отчаянье сжал он кулаки. — Я тебя с давних пор, с самого детства...

— Потихе, потихе, Гайсар... А то люди подумают, что мы деремся... Вот что я тебе скажу... Подумал ли ты, что я старше тебя на целых четыре года?

— Любовь не знает возраста! — возразил Гайсар.

— О боже! — Зубаржат опять засмеялась. — Прости меня, Гайсар, я не хочу тебя обидеть, но не могу удержаться от смеха. Парень ты видный, работающий, но у меня есть человек, которого я люблю и которого ни на кого не променяю.

Фотографической вспышкой возникла в мозгу Гайсара картина: раннее утро и выходящая из комнаты Гильмана Зубаржат. Тем не менее он пылко продолжал:

— А я тебя этому другому человеку не отдам! Убью или его, или себя!

— Да что ты мелешь, Гайсар? — округлила глаза Зубаржат. — Что ты во мне-то нашел? Мало тебе молодых девушек?

— Не нужны они мне!

— И мне другие парни, Гайсар, не нужны, кроме... — она не договорила, так как в коридоре послышался стук, шарканье ног и в комнату вошла Фагиля-аби. Зубаржат так и застыла с открытым ртом, а Гайсар врос в табурет.

— Где ты ходишь, мама? — нашлась Зубаржат. — Видишь, у нас гость!

— Кто это? — старуха подслеповато сощурила глаза. — А Гайсар! Здравствуй, сынок. Ты уже приходил к нам, а ее, — кивнула она на дочь, — дома не было, так и не явилась тогда ночевать.

Зубаржат, потупившись, прикусила язык, а Гайсар, тяжело взглянув на нее, встал и нетвердыми ногами направился к выходу. Когда за ним захлопнулась дверь, Факигя-аби пробормотала:

— Ишь, как шибает его!.. Небось, выпивши?

— Да нет, мама, он по делу приходил.

— Знаю я их, нынешних молодых парней, дела, — ворчала старуха. — Денег, небось, приходил занять на поллитру. Они, нынешние парни-то, займут и напьются. Тьфу!

Зубаржат рассердилась.

— Ты ошибаешься, мама! Гайсар не пьет.

— Ладно, ладно... Хорошо, коли не пьет... Тогда зачем же он приходил? — допытывалась старуха.

Два ее сына жили в зятях, на стороне, навещали редко, а младшенькая Зубаржат, молодец, никуда не уезжает, доглядывает ее, старую, больную... Только вот нет дочке счастья. Уже за двадцать ей, а замуж не выходит, намекаешь ей, а она, знай, смеется: молода я еще! Да уж молода... Так и в старых девах остаться можно. А вышла бы замуж, легче было бы и хозяйство вести... Все ведь валится без мужских рук.

Старуха с трудом, кряхтя, взобралась на кровать, улеглась, предавшись своим всегдашним невеселым думам. А Зубаржат развела в печке огонь, налила чугунок воды и уставилась на пляшущие языки пламени...

Удивил ее, потряс Гайсар! Теперь она перебирала в памяти встречи с ним и открывала то, чему раньше не придавала значения. Парнишка краснел до мочек ушей, когда она к нему за чем-либо обращалась, смущался и заикался, когда она подшучивала над ним... Значит, он ее любит! Вот ведь незадача... Гильман, которого она любила всем сердцем, Гильман, который заставил ее потерять голову, забыть свою гордость, избегает ее, особенно после той ночи, а этот мальчишка, ничего о ней не зная, любит ее! Что же ей делать? Как объясниться с Гильманом? Опять набраться смелости и пойти к нему на квартиру? Подумает, что она навязывается в жены... Стыдно!

Когда Гильман был в командировке, Зубаржат не находила себе места. Она тосковала по нему, она ревновала его ко всем прибалтийским, ленинградским, московским и уфимским девушкам, она иссохла за эти две недели, а он, возвратившись, поздоровался с нею, как со всеми другими, не пригласил приласкать, поговорить...

Она же не посмела к нему обратиться... Не посмела? Но, может, он после той ночи стесняется ее? Может, ждет от нее первого шага? Что же, так и сидеть, ждать пока какая-либо бойкая красотка уведет его из-под носа? Нет уж! Надо сходить к конторе, будто по какому делу, подкараулить его и сказать ему все.

Девушка решительно встала и начала быстро переодеваться.

— Куда это ты, доченька? — беспокоилась в своей комнате мать.

— Забыла в конторе одну бумагу, — ответила Зубаржат. — Положи в воду картошку, матушка, я сейчас вернусь.

И выскочила наружу, громко хлопнув дверью...

* * *

Гайсар брел в лесничество, все время думая о Зубаржат. Говорит, есть у нее любимый парень. Это, конечно, Гильман Тулкусурин... но любит ли он ее? Впрочем, Гильман ли? Она говорит, что старше его, Гайсара, на четыре года, а Гильман еще старше ее... Впрочем, при чем тут возраст! Вот сейчас он придет к лесничему и поговорит с ним начистоту.

В комнате лесничего горел свет. Парень вошел на крыльцо и, чувствуя, что решимость, с которой он направлялся сюда, его покидает, осторожно постучал. Внутри послышались твердые шаги, дверь распахнулась, и на пороге выросла мощная фигура хозяина.

— Здравствуйте, Тулкусурин-агай, — пробормотал Гайсар, зачем-то кланяясь. — Вот... пришел к вам...

— Пришел, так проходи, — посторонился Гильман, пропуская гостя. — Наверное, у тебя дело какое? Садись, — подвинул он Гайсару стул.

— Спасибо...

Парень неловко сел, несколько минут молча глядел в пол. Молчал и Гильман, с любопытством ожидая, что же привело к нему в столь поздний час этого стеснительного, затурканного отцом парнишку? Гильман нетерпеливо поглядывал то на него, то на книги, которые он привез из командировки. Только что лесничий конспектировал труд по лесному делу профессора Марцинкяви-

чуса. Гайсар оторвал его от увлекательной работы... Вспомнился и разговор с Мурзабаем. Старый охотник, свалив бревна, стал униженно просить не передавать дело в суд и даже совал десятку, оправдываясь, что пригласить он лесничего к себе в дом не смеет, пусть выпьет Гильман за их будущие нормальные отношения или купит себе какой-либо сувенир. Тулькусурин чуть не плюнул в лицо браконьеру, но сдержался, сказав: «Если до суда дело дойдет, суду и заплатишь». Мурзабай, приложив руки к груди, кланялся и божился, что теперь и хворостинки в лесу без его, Гильмана, ведома не срубят. На том и расстались. Придя домой, Гильман наскоро поужинал, немного успокоился и углубился в чтение. И вот пришел сын Мурзабая. Уж не по сегодняшнему ли случаю с теми самыми бревнами, со ссорой с отцом? Наконец парень шевельнулся на своем стуле, кашлянул.

— Тулькусурин-агай... Я ушел от своего отца.

Гильман поглядел на него с жалостью и уважением. Этот немногословный, забитый на вид парень в последние дни все время открывался ему в неожиданных качествах.

Тулькусурин дотронулся до его острой коленки, сказал дружелюбно:

— Гайсар-кустым, это не доблесть — бросить отца-мать.

— Не доблесть, но жить я с ним больше не могу! — упрямо отрезал парень.

Гильман вспомнил свое сиротское детство, горько покачал головой.

— Эх, кустым, кустым... Ты вот уходишь из родного дома, а я его и не знал вовсе. Знаешь, о чем я мечтал в детдоме? Хотя бы денек побыть среди родных матери-отца! Как я завидовал мальчишкам и девочкам, у которых есть свой дом,

мать, отец, сестренки, братишки! Хорошо ли ты подумал, приняв такое м... м... серьезное решение? Может, вместе попробуем исправить твоего отца?

— Поздно.

— Русские говорят: горбатого исправит могила. Но какая от этого польза? Кому? Мы попробуем лечить его живого. Вот сегодня он поклялся мне, что больше не станет в лесу воровать. А ведь все это благодаря тебе! Ему это большой урок!

— Этот урок он тут же забудет, как только я возвращусь под его крышу. Крик поднимет: отца родного предал!

Гильман в душе подумал, что старый Мурзай будет не совсем неправ, если так скажет... Хотя... И решил подойти к парню с другой стороны.

— Ну, хорошо, уйдешь ты из дому. А где жить будешь? Один? Да знаешь ли ты, как это трудно, как тоскливо? Я вот постарше тебя и опыта житейского у меня побольше, а иной раз такая тоска по вечерам, хоть волком вой.

— А я женюсь! — выпалил Гайсар.

Гильман недоумено поднял на него глаза.

— Женишься? На ком же, если не секрет?

— На Зубаржат!

Гильман вздрогнул. Что за притча? Зубаржат клялась в любви и верности ему, Гильману, а этот парнишка говорит о своей женитьбе на ней, будто дело это между ними уже решенное. Что же делать? Расхваливать выбор Гайсара, значит, будто бы сватать? Получится, что Гильман хочет избавиться от Зубаржат... И это после той ночи? Сказать, что она Гайсару или он ей не пара, подумает: Гильман сам на нее имеет виды.

— Да-а... — раздумчиво протянул он — Дела... а... — Некоторое время помолчал и не нашел ничего лучшего, как спросить: — Она-то согласна?

— Упрямится. Говорит, что старше меня и что у нее уже есть парень, которого она любит.

Гильману почему-то стало приятно, он засмеялся, встал, заходил по комнате, решил играть до конца.

— Кто же этот парень, не сказала?

— Скажет, как же! Но я думаю, это она ерунду говорит, чтобы цену себе набить.

— Может быть, может быть... Но вот тебе мой совет: ты не очень-то ее упрощай, не преследуй ее. Знаешь, — вспомнил он слова Пушкина, — чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей!.. Пусть она сама за тобой побегает.

— Но как это сделать? — растерянно спросил Гайсар. — Зубаржат, знаете же, гордая.

Знал Гильман Зубаржат. Знал и ее гордость, но парню сказал:

— Это ты уж сам подумай. Я ведь тоже холостяк и опыта у меня с женщинами, считай, никакого, чтобы давать советы другим... — Гильман умолк, вспомнив Нину. Тихо сказал: — Мне бы самому кто посоветовал... Но не горюй, парень! — ударил он гостя по плечу, и тот, погруженный в свои думы, встрепенулся. — Утро вечера мудренее. Ложись-ка спать у меня, вот на этом диване, а завтра что-либо придумаем...

III

Янтура и Нафиса уже долгие годы жили в своем большом деревянном доме со старым Бикмуратом. Двое старших сыновей погибли на войне, Хакима давно перебралась в районный

центр — Иманкулово, вторая дочь далеко, аж в Средней Азии, а с Ишмурзой, их младшим сыном, на кого у родителей были последние надежды (не ему ли оставалось беречь и укреплять фундамент дома!), после той беды, — тюрьмы, случилось что-то непонятное. «Зачем он поступил на эту ничемную работу, подальше от людей да и от родителей, — горестно подумывала Нафиса, — вот и домой приходит лишь помыться в бане да сменить одежду. Все время хмур, слова из него клещами не вытянешь. Стыдится своего прошлого? Но с кем греха не бывает! Говорят же, конь о четырех ногах и тот спотыкается. Да и пора бы сыну быть на людях, подыскать более уважаемую работу... И невесту подыскать пора бы...»

Эти разговоры Нафиса затевала ежедневно, пилила Янтуру:

— Можно было бы единственного сына не гнать в лес на работу сразу после возвращения из такого места. Пусть бы с нами, стариками, побыл, глядишь, отмяк бы душою. А ты, старый, даже вроде обрадовался, что он в эту глухомань забрался. Спит в своей будке, как — тьфу! — пес какой-то. И с Гильманом не поговоришь. Свой же он нам человек! А о таком не зря говорят: чужой не простит, свой не убьет. Разве не нашел бы он ему работы поближе к дому? Ну, чего молчишь? Ты этим своим молчанием да несмелостью составил меня наполовину.

А что мог обычно разговорчивый Янтура ответить жене? То, что Ишмурза уродился ни в дядю Тулькусуру, ни в него, отца, а в молчаливого, основательного дедушку Турумтая. Тот тоже жил не торопясь, не любил пустых разговоров, обещаний, не принимал скоропалительных решений. Вся его жизнь была связана с лесом. Знал он в нем все тропинки, луга, просеки, все медвежьи берло-

ги, барсучьи норы, речки и ручьи, где водилась норка, выдра. Он часто брал в лес внуков, учил их лесной жизни, вот почему и старшие, погибшие на войне, мечтали работать в лесу: один до войны был объездчиком, другой — лесником... Война проклятая разрушила их мечту, и похоронены они не в милом вечном лесу, а в голой суглинистой донской степи, неподалеку от станции Клетской, где грудью преградили путь фашистским танкам... Ишмурза остался верен детской мечте, и, кто знает, как бы сложилась дальше его жизнь, не попади он в ту неожиданную беду. Знает ли кто, что творилось на душе старого лесника, когда суд приговорил его последнюю надежду и опору, его сына Ишмурзу, к семи годам исправительно-трудовых лагерей? Что было исправлять в Ишмурзе? А уж трудиться он мог и любил трудиться на зависть многим!.. Нет, не хныкал старый Янтура, не впадал в отчаянье. По-мужски терпеливо и молча переживал он страшное горе. Он знал, что сын терпеть не может воровства, хамства, подхалимства, неуважения к лесу и его богатствам... Может, потому при виде несправедливости в Ишмурзе вдруг просыпались известные всей округе черты характера нетерпимого к подлости дяди, батыра Тулькусуры. Он становился вспыльчив, резок. А тут еще, придя из заключения, Ишмурза как-то горестно проговорился, что *там* он насмотрелся на несправедливость, ложь, обман и еще больше все это возненавидел.

Не стал Янтура подробно расспрашивать сына о его жизни в лагере, чтобы не бередить раны, посоветовал только: наказан ты был по закону, хотя и схватился за правду, постарайся поскорее забыть прошлое, у тебя жизнь впереди. Старый лесник видел, что слова его не то что не дошли

до сына, а выслушал он их довольно равнодушно и глаза его были как два остывших уголька. Значит, в душу его закрались безразличие, тоска. Это тревожило Янтуру. Не зря же говорят: «От святых надежд моих не отврати меня, бог мой». Похоже, что пока в душе Ишмурзы теплилось совсем мало этих самых святых надежд. А что без них человек?

Вот и не противился мудрый Янтура решению сына удалиться от людей, вот и не шел к Гильману просить за него. Понимал: время лечит всякие раны. Ишмурзе надо самому разобраться в себе, подумать в уединении, снова окупиться в жизнь родного вечного леса, а эта жизнь и не такие раны врачует.

Мог ли он все это объяснить жене? Мог бы, но женщина есть женщина, тем более, если эта женщина — мать. Она бы все равно не поняла то, что понял он, Янтура, и не одобрила бы ни поступка сына, ни молчаливого согласия с ним отца.

Но, кажется, сердце Ишмурзы последнее время заметно оттаяло, Янтура при всей своей проницательности не мог понять, почему сын, придя на той неделе домой, вдруг весело взялся за пилу «Дружба», и как говорится, не успел он, Янтура, сказать «хе!», как длинные березы были распилены на чурбаки, поколоты и уложены в аккуратные штабеля. Янтура бросился было ему помогать, но сын весело сказал:

— Не надрывайся, ата. Через неделю приеду, все доколю.

Да вот не приехал... Правда, работы у него эти дни невпроворот: размечает границы нового вольтера, прикидывает, где сделать навесы для укрытия, лабазы для соли, корма, Янтура с Фаридой тоже втянулись в это дело: с зарей уходили в лес, с зарей приходили.

Фариду на постой привел Гильман. Нафиса и Янтура с радостью согласились, чтобы она жила у них: все веселее, да и, — тьфу! тьфу! — может, Ишмурзе славная девушка приглянется?

Но пока Фарида стариков не радовала. Сидя вечерами дома, она жаловалась: «Разве для того я закончила институт, чтобы торчать в этой глуши?» Иной раз она беспричинно начинала плакать.

Нафиса-аби утешала ее, называя ласково дочкой.

— Не печалься, дочка. Это тебе поначалу кажется, что у нас скучно. Народ у нас дружный, приветливый, гостя не дает в обиду. И кино есть, и танцы. Чего не сходишь?

— Нужны мне ваши танцы! — всхлипывала Фарида. — Здесь и танцевать-то не с кем. Я выросла в районном центре, училась в городе, привыкла к шуму, веселью, к своим друзьям. А здесь что? Нет, не смогу я в вашей глухомани жить.

Когда она приехала, то даже на коромысло глядела с удивлением, потому и ходила по воду с одним ведром. А много ли наносишь одним ведром воды для большого дома? Но постепенно Фарида привыкла к коромыслу, и теперь, встав пораньше, она почти бегом бежала к речке, натаскивала воды на весь день. Нафиса, с плеч которой коромысло, казалось, не падало с тех пор, как Хакима вышла замуж и уехала в райцентр, теперь только готовила завтрак, любовно поглядывая в окно на стройную девушку, которая семенила на цыпочках, балансируя коромыслом, на котором плескались (все еще пока плескались!) большие ведра. «Ничего, — тепло думала Нафиса, — оботрется-обомнется, городская нежность повыветрится, и, глядишь, добрая хозяйка будет».

Не так думал Янтура. «Коли она городская и без города, говорит, не может, зачем же выбрала лесное дело? — недоумевал старый лесник. — Коли не лежит у нее душа к нашей лесной жизни, толку с нее не будет. Лес не любит плакс и неженюк». Вспомнился и недавний спор с Фаридой. Когда зашел разговор о строительстве навеса для зимнего укрытия лосям, Янтура сказал:

— Надо построить большой сарай. Что у нас, леса мало, что ли?

Фарида поучающим тоном парировала:

— Лоси привыкли жить на воле, бабай. Если их держать в слишком теплом месте, они обленятся, заболеют. Вот почему в бураны и дожди достаточно для них и такого укрытия, как навес.

— Э, дочка, — усмехнулся Янтура, — ты не знаешь наши зимы! Такие морозы случаются, такие метели, что, как говорится, хороший хозяин собаку на двор не выгонит. А тепло костей не ломит, так что не спеши мне перечить. Прислушайся и к умному, и к глупому.

— Содержать диких животных в тепличных условиях неверно, — стояла на своем Фарида. — Звери хорошо растут, размножаются, не болеют, лишь когда они живут на воле.

Янтура открыл было рот, чтобы что-то возразить, но неожиданно вмешался молчавший до сих пор Ишмурза.

— Отец, Саттарова говорит правильно, — резко отчеканил он. — Мы ведь здесь не открываем фермы по разведению лосей и косуль, — Фарида прыснула в ладошку, Ишмурза покосился на нее, закончил: — Животные будут жить так, как жили раньше. Мы же им должны лишь слегка помочь.

Янтура развел руками:

— Я хотел как лучше... Уж и не знаю, что сказать... В науках ваших не разбираюсь.

Фарида открыто улыбнулась Ишмурзе, и тот от этой улыбки и одобряющего взгляда девушки вздрогнул. Ему снова с пронзительной болью попало, что Фарида кого-то напоминает. Но кого? В деревне нет ни одной девушки, похожей на нее: ни у кого нет такой ладной, стройной фигуры, длинных ног, коротко, почти по-мужски, стриженных иссиня-черных волос. Ишмурза украдкой покосился на Фариду и снова поймал ее улыбку, и снова внутренне вздрогнул. Да ведь Фарида и глазами, и осанкой, и улыбкой, в которой светились искренность, теплота и гордость, напоминала ему Рамилю!

А в первые дни он ее не разглядел, не понял и потому испытывал к ней неосознанное чувство, похоже на неприязнь. Девушка показалась ему капризной, важной. Не нравился ему и тон, которым она разговаривала с ним и отцом: как будто отдавала приказания. Но вот эта улыбка, вот это знание лесной жизни растопили лед в душе вольерщика, заставили взглянуть на столичную девушку по-другому и увидеть в ней черты Рамили. Конечно, Ишмурза быстро спохватился и понял, что он желает видеть не то, что есть на самом деле, а то, что ему самому страстно хотелось. Нет, нет, не будет второй Рамили!

И все же, когда они после работы подошли к его домику, он не ушел к себе, как обычно, а протянул девушке руку:

— До свидания, Фарида Хатиповна. Вы сегодня очень постарались.

Девушка зарделась. То ли от похвалы, то ли оттого, что суровый, немногословный вольерщик задержал ее руку в своей лапище дольше положенного.

...Было воскресенье. На этот раз перед самым сенокосом отдыхали все. Ишмурза, который и

раньше-то в выходные дни редко показывался в деревне, решил провести воскресенье дома. Свою тягу к людям, желание увидеть Фариду в домашней обстановке он оправдывал намерением сегодня же переколоть дрова, потому что если поленья полежат еще немного, подсохнут, с ними труднее будет управиться. Кроме того, начинался сенокос, а в этом году сена нужно будет заготавливать не в пример прошлогоднему: Гильман сказал, что к осени в вольер привезут тридцать—сорок голов лосей, несколько десятков косуль...

Он шагал по деревенской улице, и встречные не узнавали его, и он не узнавал встречных, так как раньше он, проходя деревней, глядел обычно под ноги, и люди, заведя угрюмого вольерщика, тоже опускали взоры, а некоторые даже от него шарахались. Теперь Ишмурза с необъяснимым для него самого любопытством смело глядел по сторонам и с удивлением замечал, как разрослась, похорошела деревня за его долгое отсутствие. Прибавилось и молодежи. Ребята, радостно треща моторами, проносились на «Явах» и «Ижах», к их широким плечам льнули, повизгивая от удовольствия, девчушки в брючках, их разноцветные кофточки пузырились и хлопали, словно крылья луговых бабочек.

Встречные при виде повеселевшего сына Янтуры-агая примолкали, здоровались, и он отвечал кому обычным «здравствуйте», кому кивками.

Возле магазина его остановила Нагима-аби — мать Рамили. Ишмурза, хотя жили они через забор, после возвращения видел ее лишь однажды и то почти не разговаривал.

— Почему на глаза не показываешься?— Старуха заулыбалась, протягивая обе руки. Ишмурза осторожно пожал их и решил отшутиться:

— Как видите, показался.

Нагима погрозила ему коричневым от работы и старости пальцем.

— Ах, Ишмурза, Ишмурза! Когда был маленький, часто забежал к нам, а теперь совсем забыл старую соседку?

И вдруг вольерщик подумал: а что, если подарить ей что-либо? Рамиля бывает редко, а больше никого у старухи нет... В кармане брюк лежало три зарплаты — деньги Ишмурза за это время почти ни на что не тратил.

Подхватив старуху под руки, он бодро сказал:

— А вот пойдем со мною в магазин, Нагима-аби, и я докажу, что не забыл свою добрую старую соседку.

В глазах женщины вспыхнули огоньки любопытства.

— Что ж, пойдем, — не колеблясь, согласилась она.

В воскресенье в магазин обычно привозили товары, и в этот раз здесь царила несусветная толчея, от которой Ишмурза отвык.

Покупатели и продавцы перестали галдеть, устали на необычную пару — старую Нагиму в выцветшем платье и улыбающегося вольерщика в старенькой, но чистой и аккуратно заштопанной гимнастерке, в таких же галифе.

Не обращая внимания на окружающих, Ишмурза подвел старуху к прилавку, на котором громоздились яркие тюки штапельных и шелковых тканей.

— Выбирайте, Нагима-аби.

Старуха смекнула, что сосед хочет сделать ей подарок, ахая и охая пересчитывая узловатыми пальцами материю, бормоча: «Это для молодых... это тоже не для меня...»

— А что бы вам хотелось? — спросил несколько смущенный Ишмурза.

— Мне бы ситчику, — призналась старуха.

Ишмурза даже не спросил ничего, а только посмотрел на толстую моложавую продавщицу, повел вороненой бровью, и та порхнула жирной бабочкой в подсобку, вынырнула оттуда с рулоном, плюхнула его на прилавок. Развернула.

Толпа ахнула, подалась к прилавку — на нем, казалось, раскинулся весенний башкирский луг.

— А говорили — нету! — закричали женщины.

— Для передовиков! Ситец только для передовиков! — отбивалась продавщица.

Ишмурза купил два отреза — Нагиме-аби и матери, потом купил отцу темные штаны и рубашку, а себе дорогой финский костюм, белую рубашку и модный галстук.

И продавщица, и покупатели были совсем сражены этими покупками. Ишмурза краем уха ловил недоуменный шепот, восхищенное цоканье. Разобрал он и тихий голос кумушки: «Одинокый он, а теперь, видно, девушку какую сватает».

Усмехнувшись, он с покупками вышел на улицу. (Нагима-аби еще раньше, прижав к высохшей груди подарок, кланяясь и бормоча слова благодарности, побежала к деревенской модистке.)

Мать, отец, Фарида были дома. Старый Бикмурат все еще гостил у зятя Юлдашбаева в районном центре.

Фарида поздоровалась с ним довольно холодно, чуть скользнув раскосыми глазами по покупкам, и опять уткнулась в книгу, зато мать не скрывала удивления и радости.

Разглядывая подарки и так и эдак, она то прикидывала на себя отрез, то заставляла смущенного Янтуру мерить новую теплую рубашку и все приговаривала: «Ах, сынок! И где ты нашел та-

кие хорошие вещи? Теперь, Янтура, не будут мерзнуть твои косточки».

На глазах матери сверкали слезы радости. Ишмурза, не ожидая такой реакции на свои скромные подарки, смутился, но вдруг вспомнил, что раньше — и *до того* и *после* — он никогда ничего не покупал родственникам, наоборот, о его одежде, обуви заботились отец и мать. Ему стало так стыдно, что запылали уши. Он скосил глаза на Фариду и увидел, что та, оторвавшись от книги, наблюдает за хозяевами с усмешечкой, хотел уйти в другую комнату, но мать добралась до его костюма.

— А это что, сынок?

— Да вот... Себе купил...

Мать немедленно развязала тонкий шпагат. Костюм, посверкивая блестками, сам собою развернулся. На дорогом материале не было ни единой складочки.

— Ии-ех! — ахнула Нафиса и плюхнулась на нары. — Сколько ж ты отдал, сынок, за такую вещь?

— Неважно, неважно, — бормотал довольный Янтура, осторожно щупая заграничную материю. — На той неделе такой же костюм мерил директор школы. Не купил. Дорого, говорит.

— Вот видишь, сынок, даже директору дорого, — обратилась к Ишмурзе мать.

— И пусть для него дорого! — вспыхнул Янтура. — А нашему сыну как раз. Вспомни, старая, много ли он костюмов за свою жизнь износил.

— Ох, верно! — согласилась старуха. — Примерь, сынок, примерь. Поглядим, как сидит.

Ишмурза снова метнул взгляд в сторону Фарида и опять столкнулся с ее зеленоватыми насмешливо прищуренными глазами. Отстранил рукою протянутый матерью костюм.

— Потом, мама... — И видя, что старуха обиделась, поспешно добавил: — В бане надо бы сначала помыться.

— И то верно, — успокоилась старуха.

Она повесила пиджак в шифоньер, подсемила к сыну, прильнула к нему, глядя его по спине.

— Спасибо, сынок.

— Да ладно уж...

— А теперь пойдемте завтракать.

Ишмурзе не хотелось сейчас сидеть за одним столом с Фаридой, то и дело натекать на ее насмешливый взгляд. Ругнул себя в душе: надо было и девушке что-то подарить. Но что? И как бы она приняла его подарок?

— На сытое брюхо трудно работать, — отмахнулся он. — Вот поколю дрова, тогда и поем, — и, прихватив в чулане топор, вышел во двор...

Работалось ему хорошо. Березовые чурки с треском разваливал пополам с одного раза. Он чувствовал в себе какую-то легкую задорную силу, которую давно не ощущал, и все дивился этому своему состоянию, до конца не понимая, откуда у него это сегодня?

Он так увлекся работой, что не слышал, как подошла Фарида. Вздрыгнул от ее вкрадчивого насмешливого голоса:

— Топорик не ломайте, Бикмуратов-агай!

От неожиданности он задержал колун в воздухе, и тот ткнулся в чурку, застрял в ней. Ишмурза резко ударил ладонью по топорщику, топор выпал из бревнышка.

Разогнувшись, он снял рукавицу, вытер тыльной стороной ладони вспотевший лоб.

— Видите, Фарида Хатиповна, какое крепкое топорщице? А вы говорите, ломается.

Оба засмеялись.

— И что это вы меня в нерабочее время называете по фамилии? — продолжал Ишмурза. — У меня есть имя и, по-моему, не такое уж плохое и трудное.

— У меня тоже, — отрезала Фарида. — И тоже вроде бы неплохое и вовсе нетрудное. Оно, по-моему, хорошо звучит и без отчества.

Они засмеялись снова.

Фарида, как давеча он, приложила тыльную сторону ладони к сухому лбу, пожаловалась.

— Что-то голова болит. Это, верно, от хандры.

— Я знаю хорошее средство от этой напасти, — живо откликнулся вольерщик.

— Ах, я терпеть не могу всяких таблеток. Или вы, лесной человек, меня хотите попотчевать какими-то волшебными травами?

— Когда всерьез пожелаете, попотчую. А пока лучшее средство от вашей болезни вот это, — он кивнул на ворох дров и, перехватив недоуменный взгляд девушки, пояснил. — Надо перенести их и сложить вон там, возле сарая. Уверю вас, болезнь ваша тут же пройдет.

Фарида разочарованно усмехнулась, но, колебавшись мгновение, обошла кучу поленьев, пальчиками обеих рук уцепила пару плах, понесла к сараю.

Наблюдая за ее неумелыми действиями, Ишмурза вздохнул: «Городская... Непривычная к нашей лесной работе». Он снял рукавицы, протянул девушке.

— Это чтобы вы ваши ручки не занозили, а то «Скорой» у нас в деревне нету.

Фарида смело взяла рукавицы, сунула в них узкие ладони, повертела воздетыми вверх руками.

— Идет?

— Лесному человеку все нужное для дела должно идти.

Фарида рассмеялась, и смех этот кольнул Ишмурзу в сердце. «Как она похожа сейчас на Рамилю!» — подумал он, принимаясь за новый чурбак...

Скоро он заметил, что девушка носит уже не по два полена, как начинала, а приноровилась накладывать на одну руку штабелек, придерживать его свободной рукою и так нести сразу несколько дровинок к месту.

— Научились ведь! — крикнул он ей. — Так я за вами и не поспею!

Не снимая рукавицы, Фарида откинула локтем волосы, прилипшие ко лбу, подула на него через верхнюю покрасневшую губку, заулыбалась.

— Стараюсь постигать лесное житье-бытье.

— Ну, а как ваша головная боль?

— Вы знаете, товарищ доктор, — важно проговорила Фарида, — кажется, ваше лекарство мне помогло.

Они расхохотались, и смех этот слышали в доме старики. Нафиса-аби, которая и до этого все поглядывала в окно, радуясь ладу между сыном и девушкой, теперь вовсе прильнула к стеклу, возбужденно покрикивая:

— Отец! Отец! Да погляди ты на детей! Как у них все хорошо-то! Как они смеются! Да брось ты свой чертов хомут, пенек старый!

Но Янтура, которого тоже распирало любопытство, не бросал своего хомута — не ронял мужского достоинства, бормотал сквозь зубы, в которых сжимал дратву:

— Ну... чего там... Дело молодое. Жизни радуются...

— Э, э, да что с тобой говорить! — махнула на мужа рукою Нафиса, выскочила во двор. — Дети! Кушать! Кушать! Вы и так уже много сделали.

— Доколю последние, — ответил сын, вздымая над головою толстое бревнышко. Он ударил обухом по колоде, и бревнышко разлетелось на две аккуратные половинки.

— Ах, ах! — закудаhtала мать. — Осторожнее, сынок. Так можно и поясницу надломить. Ну, побегу я, побегу суп наливать. А ты не задерживайся! — и посеменила в дом, прихватив с собою Фариду.

Ишмурза уже хотел воткнуть топор в колоду, как с улицы послышались шум и крики. Вольерщик бросил топор и вышел за ворота. На пыльной улице сцепились два парня. Их, визжа от страха, растаскивала в стороны какая-то женщина. Парни, осатанев, награждали и ее тумаками. Не долго думая, Ишмурза в два прыжка оказался около дерущихся, рванул их за шивороты. Драчуны плюхнулись на землю. Один из них остался лежать на спине, из уголка его рта показалась струйка крови. Ишмурза похолодел. Мгновенно вспомнилось *то, давнее*, что не давало покоя и сегодня. Тяжело дыша от волнения, он шагнул к лежащему. Это был начальник лесопилки Хайри. Ишмурза уже нагнулся над ним, но Хайри вдруг резво вскочил на ноги, обтер разорванным рукавом кровь, подступил к вольерщику.

— Чего лезешь? Пусти! Я растопчу этого щенка!

Ишмурза отстранил его рукой, оглянулся. Сзади стоял побитый, исцарапанный Гайсар. Парни были заметно выпивши. Вольерщик сказал брезгливо:

— Нажрались среди бела дня. Драку устроили!

Хайри высморкал сукровицу, снова обтерся рукавом.

— Ха! Указываешь еще! А сам-то ты кто? Тюремщик чертов!

Ишмурза вздрогнул от неожиданности, занес было кулак над головой Хайри, и тот отшатнулся, втянув голову в плечи, но вольерщик сдержался. Плюнул в побитое лицо Хайри, и тот, не утершись на этот раз, повернулся и, высоко подбрасывая пятки, побежал прочь.

— И ты чеши отсюда! — зло приказал Ишмурза Гайсару. — Еще молоко на губах не обсохло, уже водку пьешь.

Гайсар, виновато опустив голову, побрел по дороге.

Ишмурза огляделся. У ворот стояли отец с матерью и... Фарида. Кольнуло сердце: девушка, конечно, слышала, как этот негодяй Хайри обозвал его тюремщиком. Ведь Фарида не знала прошлого Ишмурзы. Да откуда ей было его знать? Народ в деревне не очень-то разговорчивый, а Ишмурза о себе предпочитал не говорить вовсе.

Он тяжело вздохнул, подошел к домочадцам. Фарида как ни в чем не бывало засмеялась:

— Слишком сильно трянули вы бедняжек. Кости не поломали?

Ишмурза не ответил. Отказавшись, к огорчению матери, от завтрака, он сослался на неотложное дело и направился в сторону вольера.

IV

Спал он плохо. То и дело вскакивал с жесткого топчана, выходил наружу, курил. Слушая и не слыша ночную жизнь леса...

Утром на оперативке Гильман сказал:

— Сегодня на вольере дел немного. Не подвезли нужных материалов. Вы, Ишмурза, пройдите по обходу, посмотрите, как растут саженцы, где уже можно не сегодня завтра начинать сенокос. Можете взять с собою Фарида Хатиповну.

То, что можно было этот день провести в лесу, устраивало Ишмурзу, но вот то, что рядом с ним весь день будет Фарида, несомненно слышавшая вчера от Хайри это слово «тюремщик», угнетало. На оперативке (конечно же, о драке тотчас узнала вся маленькая деревня) в ответ на вопросы Гильмана, почему начальник лесопилки подрался с молодым рабочим, Хайри бубнил в ответ.

— Был пьян, ничего не помню.

— То, что вы были пьяны вчера, не героизм, — веско возразил лесничий, — и не оправдание. Потому за вчерашнюю позорную драку спросим с вас вдвойне.

— Я же пил в выходной, — оправдывался Хайри. — И напился первый раз. А с Гайсаром помирились. Простите, братцы.

Но «братцы» не простили. По предложению Гильмана Хайри отстранили от должности, так как из сбивчивого рассказа Гайсара выяснилось, что начальник лесопилки, подпоив простодушного парня, предложил ему навозить с его, Гайсара, участка бревен, распилить их, а доски продать.

Комкая в руках кепку и глядя в пол, Гайсар тихо мямлил:

— Ну, я это... Говорю, мол, так нехорошо. Воровство, мол, это... А он смеется... Боишься, говорит, тогда дай свою лошадь, я сам привезу бревен, а не дашь, говорит, сам возьму... Ну, я ему

и пригрозил: возьмешь, мол, сам, лесничему скажу. Тут он и вцепился в меня, как бешеный... Ну, я тоже... того, не удержался.

Гильман тут же вызвал бухгалтера, велел взять еще двоих людей и срочно сделать ревизию в цехе распиловки.

На улице Ишмурза искал глазами Фариду: он хотел немедленно объясниться. Девушка стояла возле лавки, установленной на косогоре, и смотрела в долину Каратау-Айры.

— Красиво как! — улыбнулась она застенчиво и тепло Ишмурзе, и от этой улыбки ему стало легче. Он присел на лавку, смахнул ладонью невидимые пылинки:

— Присядьте, Фарида Хатиповна.

Девушка лукаво улыбнулась.

— Думаете провести инструктаж, товарищ Бикмуратов?.. — Она запнулась, наклонила голову и впервые назвала его по имени. — То есть Ишмурза-агай.

В груди вольерщика потеплело.

— Да нет... Личный вопрос у меня. Скажите откровенно, Фарида Хатиповна, что вы думаете обо мне после вчерашней драки?

Глаза девушки округлились:

— Что я думаю? Горячий вы джигит, Ишмурза-агай, и сильный. Как тряхнули этих пьянчуг! Они чуть сознания не лишились. Поделом им.

— Я не об этом, — поиграл желваками вольерщик. — Я о тех словах, что бросил мне в лицо Хайри.

Смеющиеся глаза Фарида застыли, потом снова недоуменно округлились:

— О каких словах вы говорите? Я ничего не слышала. А что он сказал?

— Он обозвал меня тюремщиком.

— Насколько я знаю, — медленно начала Фарида, — тюремщик — это тот, кто работает в тюрьме. А вы что же, в тюрьме работали?

— Я в ней сидел, — брякнул Ишмурза.

Девушка вздрогнула, уставилась на него с пугливым недоумением.

— Да, сидел, — продолжал вольерщик, нервно поглаживая свое колено. — И довольно долго. Возвратился совсем недавно. А теперь подумайте, стоит ли вам жить дальше в нашем доме, общаться со мною...

— Что вы, что вы... — забормотала Фарида. — При чем тут — сидел, не сидел... Ведь все в прошлом.

— Да, в прошлом, — согласился Ишмурза, — но знаете выражение: мертвый хватает живого? Так и прошлое цепляет настоящее и влияет на будущее.

Столичная девушка с изумлением глядела на этого молчаливого, даже угрюмого человека, который, оказывается, в душе был философом. Женское любопытство пересилило деликатность.

— А скажите, Ишмурза-агай, если вам не тяжело... Что вы все-таки сделали? За что вас наказали?

Ишмурзе вдруг захотелось рассказать ей все, и он рассказал то, чего никому, даже отцу и матери, не рассказывал.

— Возвратился я, смотреть в глаза людям не могу.. Ведь все-таки я убил человека. Какого? Не так важно. Но ведь че-ло-ве-ка! Убил не на войне, да и не спасая свою жизнь... Вот и пошел я сюда, подальше от людских пересудов... А сегодня Гильман посылает вас со мною в лес. Не боитесь?

Она вдруг провела ладонью по его сидящим волосам, прошептала:

— Бедный вы мой бедный Ишмурза... Как же несправедливо обошлась с вами судьба... Конечно, этого до конца своих дней не забыть, но утешьте себя, что вы служите людям. Настоящим живым людям.

Она поднялась, потянула его за руку.

— Пора нам на работу. Пошли. — И первая направилась в сторону леса.

V

На первый взгляд ни в стиле работы, ни в распорядке жизни Козина ничего не изменилось. Все так же в лесхозе он был строг и деловит, дома — внимателен к больной жене и шаловливой дочери, рачительным хозяином в саду и огороде, предупредителен и открыт с друзьями, но лишь сам Петр Максимович знал, какой тяжелый камень носил он под сердцем последнее время. Прикидывая и так и эдак, обдумывая свое нынешнее положение, он пытался успокоить себя тем, что организация объединения его не очень-то затрагивает, что лесхоз, которым он руководит долгие годы, был и остается на хорошем счету, но все-таки *камень* давил, давил неизвестностью и неизбежностью. С созданием объединения он, Козин, уже не станет единственным и почти бесконтрольным хозяином этих богатых сельхозугодий и не ему будут кланяться, как сейчас, все, вплоть до районных, а то и областных властей, а он вынужден будет преклонять голову перед всякими сошками, которых до недавнего времени и в упор-то не видел. Могут открыться и фокусы, благодаря которым лесхоз всегда выглядел во всех отчетах благополучным, даже передовым. Нет, крупно-

масштабных приписок, взяток или там других уголовных деяний, конечно же, не обнаружат — их просто не было и нет, но обнаружат другое: несовременность, а потому и некомпетентность самого директора в быстро прогрессирующем лесном деле. Потребуют работать по-новому. А как? С кем? С Гильманом Тулькусуриным?

Петр Максимович выбил потухшую трубку о край массивной пепельницы, продул мундштук, вздохнул... Гильман умен и дело, конечно, знает, потому-то опасен. Сабирьянов? Не сумел провести его Петр Максимович в главные лесничество. Заместитель Муратова сослался на то, что у Сабирьянова нет высшего леснического образования. А у кого оно есть? Да у того же Тулькусурина, а к нему благоволит сам министр... Вот и сиди, жди, кого пришлют. Не исключено, что того же Гильмана, а тогда... Впрочем, без согласования с райкомом и райсоветом главного лесничего даже министерство назначать не будет. С другой стороны, кандидатуру лесничего, если ее предложат сверху, из министерства, районные власти тоже без всяких оснований не отвергнут. Вот ведь какой расклад!

Петр Максимович совсем разнервничался. Вспомнил, что сегодня главный бухгалтер опоздал на двадцать минут, вызвал секретаршу и продиктовал ей приказ о выговоре своей «правой руке» за опоздание. Привело его в гнев и сообщение секретарши, что ревизор-контролер уехал без его ведома в Бирагачевское лесничество. Он телефонограммой приказал срочно возвратить его, а когда тот вошел в кабинет, строго выговорил ему за самовольство, потребовал акты ревизий прошлых месяцев по этому лесничеству.

Ревизор-контролер недоуменно хлопал глазами, оправдывался:

— Так ведь это же очередная ревизия... Я же по графику...

— А кто вам утверждал этот график?

— Вы его никогда не требовали, — капризно надулся ревизор.

— Какие меры приняты по прошлой ревизии? — наседал Козин. Это было совсем что-то новое, и ревизор совсем смешался.

— Так ведь мое дело фиксировать случаи нарушения.

— Фиксировать? — грохнул по столу кулаком директор, так что пепельница подпрыгнула, а ревизор вздрогнул. — Ты что же, думаешь, зафиксировал, а там хоть трава не расти? А кто план выполнять будет? Пушкин?

— Мое дело, — начал было ревизор, но Козин жестко его прервал:

— Твое дело, как и дело всякого работника лесхоза, план выполнять. Любой ценой, а не бумажками отделяваться. И без моего ведома никуда не отлучайся! Иди!

Ревизор как-то странно на него поглядел, криво усмехнулся и молча вышел.

«Не испугался, — понял Козин. — Почему? Чует мою шаткость или времена такие?»

Он, морщась, ослабил узел галстука, посидел успокаиваясь... А успокоиться надо было, так как предстоял нелегкий разговор в райисполкоме и, может, в райкоме партии. Нет, за выполнение полугодового плана он особенно не боялся. Сабирьянов, умница, уже успел внести в отчетность кубометров сто нераспилованной клепки для бочек, санитарные вырубки, выросли человеко-часы, потраченные на уход за посадками и посевами леса — тут и комар носа не подточит: от процента выполнения и перевыполнения этих работ зависел и заработок и квартальные, полугодовые премии

все работникам лесхоза, так что дураков не найдется разоблачать. Это только в кино находятся какие-то чудачки, которые отказываются от премии: она, видишь ли, ими не заработана. Где в жизни авторы видели таких альтруистов? Козин лично за всю жизнь таких не встречал. (И тут же перед его взором мелькнуло сосредоточенное лицо Тулькусурина... Да, этот действительно альтруист, но он — один. И все-таки надо проверить, чтобы по его лесничеству все было чин чинарем.)

Но Козин прекрасно знал, что если выполнением плана можно обрадовать председателя райисполкома Юлдашбаева, то первого секретаря райкома Саюшева этим не удивишь. Он встречает такие отчеты как должное, не уставая повторять, что план и дается для того, чтобы его выполняли. Учит: надо смотреть вперед, искать резервы и в то же время беречь лес... Чем его можно задобрить? Раньше, когда не было в райцентре газа, достаточно было вовремя, да побольше, да подешевле завести дров в школы, больницы, в другие райучреждения, участникам войны, но с приходом Саюшева в райцентр пришел и газ... Что ж, там, где его еще нет, дрова уже завезены, но ведь и этим секретаря райкома не возьмешь. Скажет, вы исполнили свой долг. Что же, что же предпринять?.. Козин несколько раз прошелся по кабинету, потирая лоб. Остановился, поглядел без всякой цели в окно. На самой верхушке телеграфного столба висел молодой парнишка и, должно что-то насвистывая, ловко скручивал провода. Стоп! Козин даже ударил себя ладошкой по лбу. Вот оно! Спасибо тебе, веселый парнишка! Животноводческий комплекс — детище Саюшева, а к нему нужна электролиния. Когда на днях он, Козин, был в кабинете у Юлдашбаева, председатель райисполкома униженно кланялся в Баш-

энерго подвести к осени электролинию, но ему отказали, сославшись на нехватку материалов, рабочих рук, наконец, на незапланированность этой самой линии в этом году. Доводы Юлдашбаева, что комплекс они сдают раньше на год, успеха не имели. Ему довольно язвительно заметили, что о такой их прыти, наверное, понятия не имели в Госплане республики и ни куска проволоки, ни одного изолятора, ни единого столба на иманкуловский комплекс в этом году не выделили.

— Ускорение, — проворчал Юлдашбаев, повесив трубку. — С такими ускоришься. Они, видите ли, резервы не планируют, ну а нам где их брать?

Козин тогда сочувственно поддакнул, но промолвил, что у него на складах уже давно лежит несколько тонн электрической проволоки, тысячи изоляторов, предохранителей и прочего электрооборудования... А уж столбы-то... Не в лесу ли живем!

Тогда промолчал, потому что твердо пообещал Бирагачевскому лесничеству подвести в этом году постоянное электричество. Но теперь Козин решил, что лесничество подождет еще годик, надо проявить районный патриотизм, протянуть эту проклятую линию к комплексу, благо там всего километра два от высоковольтки, на это потребуется и столбов-то и людей немного. А столбы взять у Тулкусурина, не обедняет. Правда, он может, по своему обыкновению, заартачиться: на столбы ведь пойдет не абы какой лес, а лучшие сосны, но на стороне его, Козина, теперь будет и Юлдашбаев, да и сам Саюшев. Тем более что эту линию придется подарить, сделать, так сказать, в порядке шефской помощи. Что же касается Гильмана Тулкусурина, надо не в Бирагачевское, а в его лесничество срочно послать ревизора-

контролера. Пусть копнет поглубже, все равно что-либо да найдет, а коли так, значит, и строптивый лесничий будет сговорчивее.

Приняв такое решение, Петр Максимович облегченно вздохнул, затянул галстук, поправил воротничок рубашки и зашагал в райисполком.

...Юлдашбаев встретил его почти что радостно, что совсем успокоило, но и насторожило Козина: уж не предложит ли сам председатель оказать ему эту самую шефскую помощь? Но Юлдашбаев, оказывается, имел в виду другое, когда, улыбаясь, прокричал:

— Хай! Что ждешь с небес, даст земля, или как русские говорят: на ловца и зверь бежит.

Спокойно пожав руку председателю и второму секретарю райкома Кадырову, Козин беспечно пошутил:

— Ловцы, вижу, грозные, только зачем им такой маленький зверь, как я?

— Ге, Петр Максимович, медведя и в заячьей шкуре видно. Так что зверь ты крупный в наших, конечно, в районных масштабах.

Все трое посмеялись. Козин сел, а Юлдашбаев подался к нему грудью, поиграл карандашиком, сощурился:

— Жалуетса на тебя мой родич Гильман Тулкусурин. Не помогаешь ты ему в скорейшей организации нового вольера. Вот, — потряс председатель какими-то бумагами, — письмо на мое имя написал.

— Так... — Козин нахмурился. — Телеги, значит, катать начал? Почему не на мое имя, а на исполком?

Кадыров усмехнулся.

— Не горячись, Петр Максимович, не горячись. Ну где ты видел, чтобы телеги, как ты выразился, посылали на имя того, на кого они напи-

саны? И что в исполком лесничий обратился, тоже правильно. Ведь вольер, что вы задумали, — Кадыров дружески сжал колено директора лесхоза, — не дело одного Тулкусурина и даже не только твое дело. Это дело всего района! Так я мыслю, товарищ председатель райисполкома? — обратился Кадыров к Юлдашбаеву. Тот шевельнул жирными плечами: о чем, мол, речь!

— И руководить строительством этого важного, э-э, объекта, — продолжал второй секретарь, — надо непосредственно тебе, Петр Максимович, а не неопытному лесничему. Ты же, похоже, самоустраняешься.

— Понятно, — буркнул Козин. — Только Тулкусурина стоило бы взгреть за то, что, не поговорив со мною, не высказав мне своих претензий, обращается к вам.

— Не высказав? Не посоветовавшись? — снова подался к нему Юлдашбаев, шурясь и играя карандашиком. — Ой ли, Петр Максимович! — И, видя, что Козин готов вспылить, добродушно улыбнулся. — Ладно, ладно. Простим Гильману его, так сказать, малолетство и неопытность. Но тебя, товарищ Козин, если к октябрю вольер не сдашь, не простим. Ты человек опытный и должен соображать, что создание такого огромного вольера на территории нашего района дело уже не районное, не республиканское даже. Там, — он ткнул карандашом в потолок, — заинтересованы и в случае провала сдерут шкуру, как с зайцев, с нас, ну а мы, прежде чем потеряем свои, с тебя сдерем. Уразумел?

— Уразумел, — Козин платком отер пот со лба, думая: «Сукин сын этот Гильман! Заварил кашу на мою голову. Да и кто думал, что все так обернется?» Даже он, Козин, не думал, хотя предчувствовал! Ведь предчувствовал, потому и про-

тивился, как мог, этому новшеству Тулькусурина. Но вслух повторил, пряча платок. — Уразумел.

— Ну, а коли так, — повеселел председатель, — слушай. В конце августа — начале сентября дадим тебе десятка два пэтэушников. Больше не проси, — поднял руки Юлдашбаев, как бы ладошками отталкивая порывавшегося что-то сказать Козина. — Сам понимаешь: время уборочное. Каждый человек на счету. Изволь распорядиться этими богатырями как следует. Организуй им жилье, питание, ну, соцкультбыт какой сможешь: танцы там, кино...

— За людей спасибо. Только ведь надо и материалы заготовить.

— Посылай человека в Стерлитамак, если надо, в Уфу — пусть срочно закажет на заводах из отходов производства железные решетки...

Кадыров добавил:

— У наших шефов на ТЭЦ есть списанные трубы. Заберешь их на столбики, я договорился.

— А курсантов мы тебе дадим — огонь ребята! С отделения электросварки. Так что они все тебе быстренько сварят, подладят...

Козин понял, что за вольер районное начальство взялось всерьез, сделал растроганное лицо, сказал без ложного пафоса:

— В ответ на заботу райкома и райисполкома обещаю не ударить в грязь лицом! — и перешел на шутливый тон. — Ну, а если вы уж о нас так заботитесь — эту заботу народ не забудет, — то и нам, коллективу лесхоза, хотелось внести свою, так сказать, лепту в районную копилку.

Юлдашбаев и Кадыров с интересом настояжились, а Козин неторопливо продолжал:

— В районе сложилось трудное положение с электрификацией животноводческого комплекса. А у нас есть нужные материалы, столбы, само со-

бой, найдем и людей. Окажем району посильную шефскую помощь.

Ни секретарь райкома, ни раис не уловили в последних словах директора лесхоза ни иронии, ни чувства превосходства. Юлдашбаев уже больше недели мучился над решением этого проклятого вопроса — электрификации комплекса, Кадыров же был обязан по решению бюро райкома курировать стройку, так что о нем и говорить нечего. Сколько дней они советовались, бились, уламывали шефов, шарили по сусекам местных крупных организаций, а проблему, оказывается, без их просьб одним махом решил Козин! Да, все-таки при всех своих недостатках Петр Максимович — голова. И в этот радостный для них момент ни раис, ни секретарь райкома не поинтересовались: откуда у директора лесхоза эти провода, изоляторы и прочее электрооборудование. Юлдашбаев вскочил:

— Да ты, Петр Максимович, прямо ясновидец какой-то! Пришел и боль нашу руками развел. Нет, честное слово, экстрасенс ты!

— Какой там экстрасенс, — отшучивался Козин. — Просто думаем не только о себе, но и о районе, хотим, чтобы и нас народ не забыл.

Все вспомнили недавнюю шутку Козина в адрес райкома и райисполкома, рассмеялись:

— Живешь-то как? — поинтересовался Кадыров.

— Да как в том анекдоте, — отмахнулся Козин.

— В каком это? — подался грудью любитель шуток Юлдашбаев.

Козин стрельнул глазами на одного, другого — веселы. Должны рискованный анекдот принять хорошо. Но на всякий случай сказал:

— Только, чур, речь идет не о присутствующих!.. Исключая меня.

— Давай, давай, — нетерпеливо подбодрил раис.

— На совещании в нашем министерстве лесного хозяйства в перерыве один директор лесхоза спрашивает второго: «Как живешь?» — «Э, — отвечает второй. — Так же, как и ты: как желуди!» — «Не пойму что-то, — говорит первый. — При чем тут желуди?» — «А при том, — отвечает второй, — что кто захочет, тот тебя и струсит, любая свинья тебя сожрет, а пожаловаться некому — кругом — дубы!»

И Юлдашбаев, и Кадыров, не вникнув до конца в суть анекдота, захохотали, схватившись за животы. Кончив смеяться, Юлдашбаев вытер толстым пальцем слезу с уголков глаз, тем же пальцем погрозил Козину, хихикая:

— Знаю, знаю, на кого намекаешь. Только струсить и сожрать тебя не дадим. Так как же, Салих Ахмедович? — повернулся он к Кадырову.

— Потому как мы вроде бы не дубы, — посмеивался Кадыров.

...В контору лесхоза Козин возвратился в приподнятом настроении. Секретарша доложила, что звонил Тулькусурин, беспокоился, когда же начнут работы на территории вольера. Козин чертыхнулся, помрачнел и немедленно вызвал незадачливого ревизора-контролера Басирова, строго наказав ему немедленно досконально проверить Каратауское лесничество.

— Да не на глазок прикидывай, особенно количество распиленной доски, а все замерь до миллиметра.

— Хорошо, хорошо, — кивал Басиров, что-то торопливо черкая в блокнотике.

— И смотри, сговоришься с Тулькусуриным, скроешь что-то...

— Что вы, что вы, Петр Максимович! — горячо воскликнул ревизор, и Козин с удовлетворением понял, что этот протест Басирова идет даже не от страха перед его угрозой, а от профессиональной честности ревизора. Такой, нашлись бы недостатки, не скроет. А что недостатки найдутся — у кого их нет? — в этом Козин не сомневался.

— Я ведь Тулькусурина знаю, — захлебываясь, продолжал Басиров. — Парень он, конечно, грамотный, думающий, только, как русские говорят, немножко без царя в голове. Горяч, норовист. Такие-то, не останови их вовремя, могут столько дров наломать! Тем более, работая в лесу, — позволил себе каламбур Басиров и ощерил редкие желтые зубы. Козин тоже чуть улыбнулся, похвалил:

— Молодец, что правильно все понимаешь. Наше стариковское дело наставлять, учить молодых, строго указывать им на те дрова, что они ломают. А то ведь так они могут и весь лес повалить, а? — и сам улыбнулся.

Басиров захихикал. Сомкнул уста, когда и Козин сомкнул. Обратился весь внимание.

— Короче говоря, сегодня же — дуй. Подробный отчет — мне на стол через три дня.

— Петр Максимович! — вяло запротестовал ревизор. — Тут бы за неделю управиться.

— Через четыре! — отрезал Козин и уткнулся в бумаги, давая понять, что приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Но только Басиров исчез, Петр Максимович откинулся от ненужных бумаг, довольно ухмыльнулся. Хорошо получилось и в райисполкоме, и здесь, с этим Басировым. А то утром ревизор что-

то ему не понравился. Теперь, вишь, шнурок, увидел по лицу, что из исполкома пришел спокойный, так и стелится, так и норовит лизнуть. «Петр Максимович, те-те-те-те... Будь сделано! Есть! Хе-хе-хе».

Козин в душе терпеть не мог угодников, но на работе, в общении их терпел, памятуя, что чужими руками всегда и безопаснее и больнее бить. С такими людьми директор не допускал панибратства, но все-таки и не отдалял. Наоборот, он покупал их мелкими благодеяниями, чтобы всегда иметь под рукою, чтобы в нужный момент встали бы за него грудью. Вспомнилось, что Басиров давно просил квартиру. Глянул теперь уже в нужные бумаги, вызвал председателя рабочкома Загитова.

— У нас квартира техника Баширова освободилась?

— Только вчера. Думаем дать ее трактористу Гаязову. У него четверо детей.

— Но у нас на очереди Басиров, — напомнил директор.

— Ревизор с женой и двумя детьми живет в довольно сносных условиях, хотя и тесновато, а Гаязов на квартире.

— Послушай, Загитов, — внушительно сказал Козин, — советские законы существуют независимо от обстоятельств и не нам их с тобой нарушать. Очередь Басирова? Так в чем же дело?

Председателя рабочкома так и подмывало сказать, что Петр Максимович до этого сам неоднократно нарушал эти самые законы. Вперед очередников давал квартиры нужным людям, той же своей секретарше вперед того же Басирова, главному бухгалтеру, завгару... да и мало ли еще кому! Тогда Петр Максимович напирал на производственную необходимость, на ценность спе-

циалистов, а о ревизоре-контролере говорил с пренебрежением: подождет, мол, над ним не каплет. Над семьей тракториста Гаязова в прямом смысле капало, малые дети часто болели. Упрекать директора он не стал, а о последнем обстоятельстве сказал:

— Но ведь четверо детей...

— Сам знаю, что семье Гаязова не сладко, — строго оборвал его Козин. — Но вспомни, какой год у нас работает Гаязов! Четвертый, верно. А Басиров? Со дня основания лесхоза. Хочешь, чтобы он начал на тебя телеги писать? И на меня? Ну, что молчишь?

А что мог сказать председатель рабочего комитета? Прав директор. Басиров давно первоочередник, уж сколько раз его обходили. Но ведь он-то стоит на у л у ч ш е н и е , р а с ш и р е н и е , а у многодетного тракториста совсем нет угла. Эх, чертова должность!

Загитов вздохнул:

— Я-то вас, Петр Максимович, понимаю, а вот поймут ли меня члены рабочкома?

— погоди, погоди, — сощурил на него глаза Козин. — Да ты что же, авторитетом среди своих не пользуешься? Твое слово, твои доводы для них — пустой звук?

— В условиях нынешней демократии и перестройки, — начал было Загитов, но Козин хлопнул ладонью по столу.

— Хватит болтать. Демократия не анархия, а нарушать советские законы никому не дано. Иди и работай. Тебя поддержит главный бухгалтер, он, если ты помнишь, член рабочкома.

...Рабочий день уже заканчивался. Не желая, чтобы кто-то к нему снова зашел и окончательно испортил настроение, Козин засобиравшись домой. Впрочем, на эту невинную отлучку чуть раньше

времени у него были довольно веские основания: Галина Сергеевна последнее время стала все чаще прихварывать. Вот и сегодня утром она вдруг побледнела, схватилась за сердце и со стоном опустилась на стул. Перепуганный Петр Максимович (Нина ни свет ни заря умчалась в какой-то дальний рейс) суетился около жены, спрашивая бестолково: «Что с тобой? Тебе плохо, Галя?», пока больная со слабой улыбкой не попросила его подать ей нитроглицерин из аптечного шкафчика... На предложение вызвать врача она категорически отказалась, не впервой, мол, пройдет, прилегла на диван. И тогда он поклялся ей, что сегодня же, завтра, в крайнем случае послезавтра, выхлопочет через министерство две путевки в Кисловодск, где они оба основательно подлечатся. Галина благодарно улыбнулась, кивнула, но все-таки тихо возразила:

— А как же тут Нина... без нас?

— Не маленькая, — буркнул Петр Максимович, и ему мгновенно вспомнилась сцена в общелитии, растерянный Гильман и дочь. — Не маленькая, — твердо повторил он и все-таки пошутил: — Не бойся, без нас замуж не выскочит, — поцеловал жену и пошел на работу. И вот замолтался, закружился и про путевки забыл, и даже домой не позвонил, не справился о здоровье жены. Эх, чертова жизнь! Взять хотя бы эти путевки, этот отпуск, в котором он не был два года. Ну, хорошо... Предположим, и районные власти, и в министерстве войдут в его положение, отпустят и путевки дадут, а тут без него как? Галина волнуется, как тут Нина без них будет... Козин хмыкнул, усмехнулся, машинально кивнул какому-то встречному... Да ведь Нина взрослая и толковая девушка, немножко капризная, с норовом, так это же она в него, в отца, зато готовить,

стирать, шить умеет, за себя тоже постоит... А если он, Козин, оставит на месяц, в разгар сенокоса, в разгар строительства этого чертова вольера, который строптивый прожектер Тулькусурин выдумал на его, Козина, голову, — директор даже скрипнул зубами, сплюнул под ноги и пропустил почтительное приветствие очередного встречного, — в разгар строительства этого самого животноводческого комплекса... Что без него сделают его замы, помы? Ведь провалят же все, как пить дать провалят! И почему большинство из них такие бестолковые, неинициативные?

Козин сунул в рот трубку, полез за табаком, но набивать трубку передумал — не хотел, чтобы на улице видели его курящим. Несколько раз потянул воздух через мундштук, чувствуя, как рот пощипывала пустая приятная горечь, спрятал трубку в карман, снова, на этот раз аккуратно, сплюнул и хотел было продолжать путь, но вдруг содрогнулся от мысли, которая давным-давно созрела в нем, но он все никак не хотел произнести ее вслух. Нет, не людям, а внутри себя, самому себе. Мысль эта опалила его, испугала так, что в первое мгновение ему показалось, что он прокричал ее всем, потому, втянув голову в плечи, испуганно обернулся и перевел дух: улица была пустынна, лишь далеко, на той стороне, мальчишки гоняли футбольный мяч, и он вдруг ни с того ни с сего подумал, что надо бы давно на пустыре за поселком построить стадион для лесхозовских ребятишек. Он ухватился за эту мысль, отгоняя ее ту, страшную, и шел уже бодро, прикидывая, сколько средств придется вложить в планировку стадиона, в строительство трибун, может, даже и забора, в разбивку беговых дорожек, в инвентарь, в прочую спортивную чепуху, которую он не любил и в которой мало разбирался. Но выходило

не так-то уж и дорого. Лес, он всегда выручит! Недорого!.. А в нынешнее-то время, когда все заталдычили о человеческом факторе, о строительстве объектов соцкультбыта, свой стадион в каком-то башкирском лесхозе, со своими — строить так строить! — теннисными кортами, гаревой мотоциклетной дорожкой, даже душевыми, это — ого-ого! Это не только в Уфе увидят и оценят, но и в самой Москве!

Козин окончательно повеселел, пнул в сторону мальчишек подкатившийся к нему мяч, хотел им даже крикнуть: скоро, орлы, будете сражаться на настоящем стадионе, но благодушно сдержался. Не надо кричать гоп, пока не перепрыгнешь...

Возле дома стоял грузовик Нины. Что это она? Рабочий день окончен, а она собралась куда-то ехать. Или с Галиной что? Да нет, вроде бы дома все спокойно. Небось опять сидят шушукаются. Последнее время они с дочерью о чем-то часто говорили один на один... Как-то Козин посоветовал, что Нина отбивается от рук, что становится не по годам самостоятельной, рассказав жене, как он застал в общежитии дочь в обществе каратауского лесничего. Супруга приказала, чтобы он не вмешивался в женские дела, она-де сама с нею поговорит, так как, ясное дело, лучше знает женскую душу, тем более душу родной дочери. Еще Галина заявила, что, на ее взгляд, Гильман симпатичен и не глуп, за плечами академия, работа в министерстве... Козин насупился и не стал объяснять жене, что этот чертов Тулькусурин стал ему костью поперек горла своими фантазиями, своеволием, своей полной поддержкой муратовской идеи о создании объединения. Понимает ли женщина, что это самое объединение фактически лишит ее мужа огромной власти, самостоятельности, что из передовых лесхоз мо-

жет превратиться в захудалое хозяйство, а ее муж из всесильного хозяина в мальчика на побегушках? Э, да ничего она не понимала, хотя и умна, и грамотна, но... — женщина!!! «Гильман симпатичен и не глуп», — мысленно передразнил он жену, машинально вытирая ноги о половик, и вдруг перестал шаркать ногами. Та же мысль, что недавно обожгла его, опять укусила злой осой: да ведь без него в лесхозе все завалится, что он, Козин, все всегда тащил на себе, не доверял другим, не терпел возражения и инакомыслия, не вырастил замену. А справился бы без него Тулкусурин? При всех своих фантазиях, резкости, непочитании старших? Справился бы! Да, справился бы! Но не Козин его вырастил...

Петр Максимович ожесточенно толкнул дверь веранды. Жена и дочь сидели за столом, на котором был только один прибор с объедками. Это, понял Петр Максимович, пообедала Нина. Жена, если он не в командировке, никогда без него не сядет за стол, впрочем, и Нина обычно дожидается папку, а тут... Чегой-то она?

— Как ты себя чувствуешь, Галочка? — спросил он как можно ласковее у супруги.

— Отлегло вроде, — улыбнулась она.

— Доктора не вызывала?

Жена махнула рукою.

— Я же сказала — обойдется.

Петр Максимович неопределенно хмыкнул. Недавнее раздражение не проходило. Повернулся к дочери:

— Чего машину в гараж не поставила?

— Ой, папка, — округлила та сиине, как у матери, глазищи. — Мне сейчас в Каратау ехать. Везти на покос еду, инвентарь...

Отец вскинул разлатые брови:

— На ночь глядя?

Дочь пожала плечами.

— Приказы, папка, не обсуждаются.

— За такой дурацкий приказ твое промкомбинатовское начальство следует отдать под трибунал! — в тон ей возразил отец. — Что у них, горит, что ли? Ну, да я сейчас, — он шагнул к телефону. Дочь кошкой прыгнула наперед. Глаза ее, которые только что излучали доброжелательность и девичью незащищенность, сузились, в них полыхнули синие огоньки.

— Не смей меня позорить, папа! Я уже не маленькая, чтобы ты за меня все время заступался!

Козин на мгновение опешил. Он, конечно, знал упрямый характер дочери и даже иной раз в глубине души радовался, что это не от мягкосердечной жены, а от него, но тут он все-таки растерялся, не понимая причины злости и упорства дочери. Что крылось за этим?

— Ты, ты... как, — заклекотал он горлом. — Как с отцом разговариваешь? Ты, ты, — голос его обрел силу, загремел, — что себе позволяешь? Куда тебя дьявол несет в ночь? На свидание?

— А хотя бы! — дерзко ответила Нина. — Но я не на свидание еду. Там люди, косцы, сидят вторые сутки без пищи, без инструмента по вине вот таких, как ты, руководителей. А им с зари работать!

При обидных словах «по вине вот таких, как ты, руководителей» у Петра Максимовича кольнуло сердце. Он даже хотел дать дочери пощечину, но вдруг как-то постарел, согнулся, сказал, подавляя боль:

— Эх, доченька, доченька! Да разве твой папка когда-либо не заботился о человеке?

И она поутихла, пристыженная, подошла к нему бочком, неловко ткнулась головкой в грудь:

— Прости, папка...

— Пойми ты, — говорил он, поглаживая ее по мягким густым волосам, — ночь, лес, горы... А у меня ведь не пять дочерей... Да и хотя было бы пять. — Он кинул взгляд на жену. Та сидела на своем месте и тоже морщилась. Видно, и он, и дочь причинили ей боль, и Козин испугался, что у нее снова начнется приступ.

— Папа, да разве я первый раз в ночной рейс иду? Тут и езды-то всего ничего, — уговаривала Нина.

— И все-таки лучше встань пораньше и к началу косябы будешь там. А сейчас иди отдыхай.

Дочь оттолкнулась от него, направилась к двери.

— Ты куда? — всполошился Петр Максимович.

— Не оставлять же груженую машину на улице, — бросила на ходу Нина. — Отгоню ее в гараж.

— Но если ты поедешь в Каратау, — привычился отец, — можешь и оставаться у своего Тулькусурина!

Нина закусила губку. Ах, вон оно что! Честное слово, Нина ехала в Каратау по настойчивой просьбе начальства, понимая, что из-за головотяпства этого самого начальства заброшенные в глухомань косцы сидят уже двое суток без пищи. Но втайне она надеялась встретить Гильмана, которого не видела с той самой памятной встречи в Уфе. Тогда, в общежитии, девушка поняла, что отец питает сильную неприязнь к Тулькусурину, похоже, не жалуется отцу особым уважением и каратауский лесничий, но виновата ли она, что между ними пробежала черная кошка? Нина тянулась к этому не совсем складному, но обаятельному, сильному парню из лесной глубины, женским чутьем улавливая в нем сходные со своими

черты характера. Отец, конечно, проницательный человек, и понял, что не только чувство долга гонит ее на ночь глядя по опасной дороге в не близкое лесничество. Матери она призналась в этом сама, и мать, повздыхав, кажется, поняла ее, а вот отец... Отец не поймет, что это у нее еще не любовь, но и не флирт, не баловство, что ей нужна эта встреча, чтобы уяснить для себя что-то важное. И то, что отец сказал ей сейчас, то, что он разгадал ее тайное желание и одновременно оскорбил ее подозрением, обдало ее будто варом.

— Если захочу... останусь! — почти прошептала она и опрометью бросилась к двери.

— Видала? Видала? — подступил разъяренный Петр Максимович к жене. — Твое воспитание! Твое! Тоже мне педагог называется... Захотела идти на курсы шоферов, — пусть идет крутить баранку как какой-то шоферюга, — пусть крутит; теперь ехать к черту на кулички... к этому чертову Тулькусурину в полночь — пусть едет!

— Успокойся, Петя, — слабо попросила Галина Сергеевна. — Нина девушка умная и взрослая, пойми ты это... Сама себе на хлеб зарабатывает.

— Не нужны мне ее заработки! — бушевал Козин. — Я еще в состоянии прокормить и ее и тебя!

— Она не сомневается... Но не вечно же сидеть ей на твоей... нашей шее.

— Я за честь ее беспокоюсь!

— Только ли за ее? А может, больше за свою?

— Да! Да! И за свою! — взревел Козин, бросаясь к выходу.

— Ты куда, Петя? — в отчаянье рванулась за ним Галина Сергеевна, но острой иглой пробило сердце, и она, охнув, рухнула на стул.

Петр Максимович ничего этого не успел заметить. В ослеплении он забыл и о болезни жены, и о том, что не повинился перед нею за то, что из-за проклятой работы поездка на курорт опять откладывается на неопределенное время. Выговаривая жене свои резкие, но, на его взгляд, справедливые слова, он все время поглядывал в окно и видел, что грузовик дочери направился явно не в сторону леспромхозовского гаража, а в сторону гор Каратау. Козин до конца не понимал, почему именно сегодня он ни за что не хочет, чтобы дочь ехала туда. Он пугал ее, пугал себя ночной поездкой, но какая, к дьяволу, ночь, если только шесть часов летнего вечера и, пожалуй, еще за-светло Нина будет в горах. Наверное, она встретится с Гильманом, но ведь было бы, как говорится, желание, — не сегодня встретится, так завтра. Но не в натуре Козина было отступать. Бунт дочери уязвил его, привел в ярость. Лесхозовский гараж был рядом, а там в уютном боксе дремал почти новенький «уазик», вездеход, для которого нипочем ни лесные, ни горные дороги...

Когда муж выбежал, Галина Сергеевна несколько минут сидела, откинувшись на спинку стула, зажмурившись, прислушивалась к сердцу. Она старалась не дышать, так как каждый вдох отдавался в груди острой болью. Ругнула себя в душе за то, что давеча не положила в карман халата ни валидола, ни нитроглицерина. Когда боль стала отдаляться, она поднялась, держась за спинку стула, доковыляла до шкафа. Рука наткнулась на стеклянную трубку с белыми большими таблетками валидола. Сунула одну лепешку под язык и, чувствуя, как едкий, колкий холо-

док распространяется во рту, течет куда-то по жилам внутрь, добралась до дивана...

Да... Не хочет и не может понять Петр Нину. А понимал ли он по-настоящему когда-либо ее, свою жену, с которой прожил вместе более двадцати лет? Может, и понимал в первые годы, потому что была любовь, были общие интересы, а потом... Потом, особенно когда стал директором лесхоза, *хозяином*, перед которым заискивали и ломали шапки люди, казалось бы повыше его по должности и положению, он все более, закрученный водоворотом дел, стал отдаляться от нее. Все чаще и чаще, приезжая поздно ночью с дальних командировок, он ложился спать в своем кабинете, утром бывал раздражителен, неразговорчив. Раньше он мог часами слушать о ее делах в школе, рассказывать о своих, делился планами, но последние годы Галина Сергеевна замечала за ним надменность, нетерпимость. Вот и сегодня... С какой стати он взвился на дочь? Откуда у него эта ярость, эта ненависть к Гильману Тулькусурину? Почему он на работе подмял всех под себя, почему вызывают его в ночь, в полночь, в выходной день по любому пустяку, который бы мог решить любой его заместитель, да что заместитель — диспетчер! Никому не доверяет? Но ведь так работать нельзя!

Галина Сергеевна пыталась несколько раз поговорить с ним об этом, но он не выслушивал до конца, презрительно обрывал и советовал: «Я не лезу в твои школьные дела потому, что ничего в них не понимаю, а ты по той же причине не лезь в мои».

Когда впервые он увидел, что она стала пользоваться лекарствами — сначала это были безобидные пустырник, валерьяновая настойка и таб-

летки, потом появились валидол и нитроглицерин, — он удивился: «Откуда у тебя эти сердечные колики? Я вон кручусь как белка в колесе, дергают меня и справа и слева, бьют и сверху и снизу, шпыняют, а еще ни одной таблетки не употребил? А ты в сорок лет дома аптечку завела».

Галина Сергеевна горько усмехнулась. Откуда сердечные боли?.. В школе нервотрепка, тревога за дочь... Но это еще бы ничего... Дома!.. Дома он царь и бог, слова не скажи, подумать по-другому не смей... Сначала он, похоже, вообще не верил в ее болезнь, называл ее «бабьими выдумками», но потом забеспокоился, даже сегодня путевки в санаторий пообещал... Но Галина Сергеевна знала цену этим обещаниям... Оставить работу, с которой он явно теперь не справлялся — воз уже был не по коню, Петр Максимович в разгар сезона не сможет. Пока все еще держится на его воле, на его энергии, на страхе перед ним, и люди лезут из кожи вон, выполняя его приказы... Райцентр был сравнительно небольшим поселком, и, хотя при ней, жене директора лесхоза, о делах мужа старались не говорить, Галина Сергеевна все прекрасно слышала и понимала, что ропот на методы руководства лесхозом, на устаревшее оборудование, транспорт, все обостряющуюся нехватку жилья, элементарных удобств — того же электричества в отдаленных лесных поселках — все это не просто досужие слухи. Петр не понимает, что, пока не поздно, надо честно свалить с себя непосильную директорскую ношу, взять поскромнее по своим силам и знаниям...

Таблетка давно истаяла, но настоящего облегчения не было, наоборот, казалось, что чья-то безжалостная твердая лапа сдавила сердце, и горячая, сухая боль прокатилась по всему телу — Галина Сергеевна осторожно сложила на груди

руки и затихла, ожидая, что боль и на этот раз отступит.

...Нина гнала машину в сторону Каратау, обидные слова отца звучали в голове: «Можешь у него оставаться!» Осталась бы, если бы Гильман предложил? Пожалуй, осталась бы. Все эти пятнадцать дней после их встречи в Уфе, казалось, не было часа, чтобы она не думала о Гильмане. Было ли это любовью, Нина не знала, вернее, боялась себе признаться, какая она, любовь? Девушка часто ловила на себе восхищенные взгляды парней в школе и работая в Иманкулове. Особенно же когда приезжала в Уфу. Ей нравилось внимание, были у нее и легкие флирты, и даже поцелуи были, но расставалась она со своими ухажерами легко, быстро выбрасывая их из сердца, а вот этого немного нескладного лесничего из Каратау, с ясным твердым взглядом, будто рубленым топором лицом, сильными руками, она не могла забыть после первой же их встречи в лесничестве, а особенно после нечаянного и до обиды нелепого свидания в Уфе. Не повезло в ресторане, не повезло и в общежитии, куда неожиданно-негаданно нагрянул отец и, конечно, страшно был поражен, увидев у нее своего строптивого подчиненного. А о том, что отец недолюбливает каратауского лесничего, Нина поняла с того времени, когда тот ночевал в их доме. Да и разговоры в леспромхозе о том, что Тулькусурин сторонник затеи Муратова, которую не поддерживает отец, до нее дошли, и о его вольере, что отцу явно не нравилось, девушка была наслышана. А сегодня отец просто пришел в ярость, услышав, что она должна ехать в Каратау. Понятно, догадался, что она встретится в лесничестве с Гильманом, да и кто проводит ее в горы, к косцам — дороги туда она, конечно, не знала. И все-

таки ярость отца была ей до конца не понятна. Почему он так упорно не хотел ее пускать в этот рейс, упирая на то, что едет она «на ночь глядя», хотя впереди был долгий летний вечер, заночует же она, действительно, там, так ведь ей не впервой ночевать в пути, и он к этому будто бы уже привык... Понятно, что разъярился отец из-за их возможной встречи с Гильманом. Но какое ей дело до их неприязни, а ему до их отношений. И еще неизвестно, встретятся ли они, а если встретятся, что из того?

Нина машинально взглянула в зеркальце заднего обзора и от неожиданности сбросила газ: метрах в ста позади нее нырял по ухабам лесхозовский «уазик», за рулем несомненно был отец.

Первой ее мыслью было остановиться, но через несколько мгновений шаловливый бесенок, все время живший в ней, толкнул ее под руку, вернее под ногу, и она резко нажала лапку акселератора. Гоняться так гоняться! Грузовик взревел зверем, рванулся вперед. Нина не сбавляла газ ни на резких поворотах, ни на спусках. Мощный мотор утробно уркал на крутых подъемах, но легко выносил тяжелую машину наверх.

Бросив взгляд в зеркальце, она убедилась, что отец далеко отстал и, засмеявшись, помахала ему из кабины рукою. Козин сосредоточенно рулил, закусив губу. Чертова девка! Как быстро научилась водить машину, словно заправский гонщик! Он, Козин, последние годы редко садился за руль, а уж в подобных ралли по пересеченной местности и вовсе никогда не участвовал. Да, пожалуй, и она тоже. А вот поди же! Но постепенно досада и даже злость на дерзкую дочь стали сменяться отцовским восхищением: «В меня. В меня. Никому не хочет уступать, никого не хочет пропускать вперед! И все-таки, если догоню, я ей!..» Но

что он ей сделает, Петр Максимович и сам не знал, однако бессмысленно повторял: «Я ей! Я ей!», нажимая изо всех сил на газ и намертво вцепившись в баранку.

...Нина не думала о наказании, которое ждет ее, когда отец все-таки настигнет. А что он ее настигнет в Каратау, не было и сомнения: ведь не бесконечно же будет продолжаться эта гонка! У Нины цель — Каратау, отец, конечно же, не оставит свое преследование. Но с беспечной легкомысленностью, свойственной дерзкой молодости, она вся отдалась скорости, и машина слушала ее как никогда. Мотор на спусках победно пел, на подъемах радостно урчал, на крутых поворотах весело повизгивали шины. Очнулась Нина, когда впереди замелькали домики лесной деревушки, лежащей между Иманкулово и Каратау. В деревушке, Нина помнила, было полно ребятишек, которые играли прямо на широкой улице. Там же бродили козы и гуси. «На такой скорости еще сшибу кого-либо», — мелькнуло у девушки. Она сбросила газ и, к беспокойству своему, поняла, что тягостное объяснение с отцом неотвратимо и близко. Ее изворотливый ум тут же подсказал, что готового взорваться отца можно разрядить шуткой — прием ею давно испытанный. Поставив машину на обочину, она спрыгнула, на землю и, повернувшись к приближавшейся на всех парах машине отца, подняла руку. Обдав ее пылью и горячим запахом перегретого мотора, отец затормозил рядом, распахнув дверцу, хотел было выскочить, но ударился головою, чертыхнулся, выпрыгнул наконец, быстро зашагал к ней, потирая ушибленный лоб. С его губ готовы были сорваться обличающие дочь слова, но та прохныкала:

— Товарищ шофер, дайте ведерочко бензина, у меня весь вышел.

Петр Максимович так и споткнулся с гневно открытым ртом, глядя на невинно улыбающуюся дочь, сплюнул в придорожную пыль.

— Тыфу, чертова девчонка! Знает ведь, что не могу на нее долго сердиться! — обнял Нину за плечи, и та доверчиво ткнулась ему носом в грудь.

— Ах, Нина, Нина, — вздохнул он, поглаживая ее по голове, — гнался я за тобою и понял, что навсегда ты улетела из-под моего крыла. Грустно мне...

Нине стало жаль отца, в глазах которого она увидела слезы. Сама почувствовала, что защемило в носу, искренне пошмыгала.

— Прости меня, папочка... Глупая я... Ты езжай домой, а я, я... Сегодня же ночью вернусь.

Отец легонько оттолкнул ее.

— Не вздумай! — в голосе зазвучал привычный металл. — Когда разгрузишься на сенокосе, возвращайся в Каратау. Там заночуешь у матери Саюшева. Очень гостеприимная и добрая женщина.

— Хорошо, хорошо, папочка... А мама знает, что ты уехал?

Что-то острое кольнуло сердце Петра Максимовича.

— Не знает.

— Вот видишь, вот видишь... Бросили мы ее, а она... она больная. Ах, дура я, дура! Поехали назад! Поехали!

Тревога дочери передалась Козину.

— Не расстраивайся, доченька, не расстраивайся, — забормотал он, направляясь к своей машине. — И с полпути никогда не сворачивай. Езжай по своим делам, а я мигом — домой.

Нина посмотрела, как отец лихорадочно-быстро развернул машину, с места взял в карьер, хо-

тя за ним никто не гнался и он никого не догонял, и нехотя залезла в свою кабину...

А Козин гнал, как не гнал он и давеча, догоняя Нину. Тревожные мысли вихрились клубами пыли, распирали голову. Как же он мог поддаться вспышке ярости, забыв о серьезной болезни жены? Как мог бросить ее в такие минуты одну! А ведь когда-то, когда-то...

Он вспомнил далекое, и грудь его стеснила теплая, душная волна.

...После того как они неожиданно познакомились, Козин стал часто наезжать в Кургашлы. Было там дело или не было, стояла хорошая погода или бесновалась распутица, он старался заглянуть в заветное село ради одной-единственной цели — увидеть ее.

Так было и перед тем апрелем.

Дружная весна вздула лесные и горные ручьи, расплавила теплыми водами и горячими солнечными лучами дороги. Ни телегой, ни санями (хотя в лесу кое-где еще лежали снега и наледь) до Кургашлы не доехать, но Козин дозвонился туда, сказал, что непременно будет, надеялся, что весть эта дойдет и до Галины. Он оседлал своего игреневого, пощурился на заходящее солнышко и неторопливо выехал за околицу.

На этот раз его намерения были самыми решительными: посвататься к девушке и предложить ей расписаться Первого мая. Ему не восемнадцать лет, чтобы бегать на свидания за двадцать пять километров, да и она привечает его с радостным теплом, растает, не скрывая грусти... Отказа быть не должно.

Как и всякий мужчина, готовящийся вступить в брак, Петр живо рисовал себе картины супружеской жизни, и в этих картинах было все хоро-

шее: любовь до гроба, лад, достаток, заботливое внимание жены, ее ласки.

Мурлыча песню, он подъехал к реке, на противоположном берегу которой стояла Кургашлы, и озабоченно остановил коня. Горная, летом почти незаметная речка теперь вспучилась, грозила выйти из берегов. Там, где был мостик из плохо подогнанных друг к дружке бревен, теперь топорщились черные сучки и корни огромного дерева. Петру стало ясно, что дерево принес вешний поток, бросил его на мосток, и получилась запруда. Одному, даже с конем, это огромное дерево убрать было нечего и думать, а через час-другой может случиться так, что масса воды раздавит хлипкий мостик, унесет его и деревня надолго окажется отрезанной от райцентра. Да и, считай, от всего мира. Значит, надо во что бы то ни стало переправиться на тот берег, организовать народ, ликвидировать, пока не поздно, плотину.

Так уговаривал себя Козин, направляя храпящего и прядающего ушами игреневого к едва заметному по веткам дерева силуэту мостика, а у самого же все время билась мысль: надо сегодня же, несмотря ни на что, увидеть Галину.

Конь, сторожко ступая и всхрапывая, брел по мосту и вдруг на самой середине то ли оступися, то ли провалился в выбитую водой прореху (Козин так и не понял), но без ржания ухнул с головой. Каким-то чудом ноги всадника выскочили из стремян. Отплевываясь и борясь с течением, он кое-как догреб до берега, выкарабкался на него, бросился назад к мосту, надеясь, что конь застрял в нем, но игреневого там не было. Не было его и ниже по течению. Козину до слез было жаль умного выносливого коня, но скоро он почувствовал, что его трясет, словно в лихорадке, что холодная мокрая одежда противно прилипла

к телу, что в сапогах, ставших пудовыми, чавкает чуть согревшаяся вода. Он присел на пригорок, снял сапоги, вылил воду и потрусил в сторону деревни. Возле околицы на фоне вечернего неба маячила знакомая фигурка. Петр чуть не вскрикнул от радости: конечно же, это была она, его Галина! Не дождалась, родная, вышла встречать за деревню, беспокоясь, что речка разлилась и переправа через нее будет опасной... И все-таки она не ожидала встретить его такого: мокрого, без фуражки.

— Что случилось? — бросилась она к нему с протянутыми руками.

Он прижал ее к себе, чувствуя, как тепло ее тела передается ему, несколько раз жарко поцеловал в губы, щеки, и она не сопротивлялась, но и не отвечала, вертя головой и ощупывая его мокрую одежду.

— Ты... пешком... шел?

— Конь утонул, наверное, я вот... выкарабкался.

Она вскрикнула, прижалась к нему изо всех сил, словно стараясь отдать ему все свое тепло, чтобы согреть его вздрагивающего, клацающего зубами, потом резко потащила за руку.

— Скорее домой! Ты же заболеешь, заболеешь ведь!

— А конь? — бормотал он, чуть упираясь и все-таки крупно шагая рядом. Она быстро семенила, таща его за собою.

— Коня поищем...

— Мостик там... дерево стащить надо... смолет, — клацал Козин.

— Стащим, стащим, — успокаивала она его и все прибавляла шаг.

Возможно, он бы и простудился и схватил воспаление легких, но она весь вечер отпаивала

его чаем с сушеной малиной, растирала ноги и грудь, а под утро и сама легла рядом, обдав его тело духовитым женским жаром...

На следующий день они пошли в сельсовет, где их без теперешних торжеств деловито «расписали».

Да, повезло Петру Максимовичу с женой. Любящая, деловитая в школе, домовитая в семье, рассудительная и уступчивая... Красивая до сих пор... Какая еще нужна такому мужчине, как Козин, жена? Не будь ее, закончил бы он институт, стал бы директором? А он часто ли ее слушал? — терзали Петра Максимовича поздние угрызения совести. — Вот и сегодня не уступил, бросился в погоню за взбалмошной дочерью, а ее, родную, любящую жену, кажется, даже оттолкнул! Что, теперь с нею?

Остановив машину возле дома, он вбежал по ступенькам, а когда увидел, что Галина Сергеевна лежит со скрещенными на груди руками, застонал, рухнул перед диваном на колени.

— Галя! Галя! — пугливо затормозил он ее плечо и с радостной надеждой увидел, что по лицу жены пробежала судорога, глаза раскрылись. Она прошептала:

— Нина... где?

— Не волнуйся, не волнуйся, Галочка, — чуть не запел от радости Козин. — Она утром вернется.

— Воды...

— Сейчас, сейчас... Ах я, старый дурак, прости меня, Галиночка, — суетился Петр Максимович, доставая воду из холодильника. Вздрагивающими руками — стекло мелко звякало о стекло — налил из кувшина в стакан, накапал туда валокордина, опять рухнул на колено, приподнял левой рукою голову жены, правой поднес к ее посиневшим губам стакан.

— Хлебни... вот... Легче станет. А я сейчас врача, врача, я сейчас...

Жена пила мелкими глотками, часто останавливаясь и морщась...

VII

В Каратау наконец-то пришел долгожданный дождь. Да не дождь, а целый ливень, от которого по оврагам загудели ручьи, в полноводных теперь Нуруше и Каратау-Айры заиграли повеселевшие рыбины. Изнывавшая доселе от жажды земля помолодела, задышала свободно. Вся подошва предгорья стала вдруг похожа на большой, пышущий духовитым теплом каравай.

Хотя на западе и прояснилось, северо-восток был угрюмо-свинцов, оттуда еще доносились ворчливые раскаты грома, в низких тучах трепетали синие кривые, напоминающие карагачевые ветки молнии. Казалось, природа недовольна, что так быстро пролетела здесь, в предгорье, гроза и обещала этими кривыми молниями и, будто ударами тяжелой булавы в пустую бочку, глухими раскатами грома еще раз вернуть тучи и опять обрушить водопады на уже посвежевшую землю.

Но ни люди, ни животные не боялись этих угроз. Ребятишки, как только уgomонились последние струи, веселыми стайками с гиканьем и свистом понеслись по дорожным лужам, за ними бросились вдогонку игривые деревенские козы и совсем поглупевшие от страшного грома овечки. Удовлетворенно переговариваясь, зашагали вперевалку важные гуси, щекоча желтыми клювами теплую дождевую воду. Закрякали довольные утки, поплыли по лужам, часто задирая к небу острые хвостики — выискивали на дне дождевую

живность. Высунулись из хат и домов взрослые, глядя с одобрением на вымытое и подсиненное летнее небо.

...Ливень Гильман переждал в сельском Совете, толкуя с Хановым о предстоящих делах. Больше всего их заботил сенокос. Понаедет много привлеченного люду, а среди них, как правило, полно безалаберных, не умеющих в лесу обращаться с огнем. Опыт подсказывал, что как раз в сенокосную пору возникает больше всего пожаров, плохо помогают и грозные, и увещательные плакаты, а пожарников столько где взять?

И тут Гильман предложил председателю сельсовета из школьников младших классов организовать... пожарную команду. Ханов сначала удивился, потом расхохотался, потом строго заявил, что за это и ему, и Гильману головы отвертят: шутка ли — заставлять детей тушить пожары. Но лесничий терпеливо подождал и пояснил председателю, что, конечно же, никто руками детей не собирается тушить пожары. Главное — не допустить их.

— Дети любят, чтобы им доверяли и поручали ответственные дела, — говорил Гильман. — Если им все объяснить, расставить в самых «горячих» точках, да еще снабдить кумачовыми повязками с надписью «пожарник», они не позволят в неположенных местах не то что костер развести, но и окурочек бросить. А уж коли увидят дым, тут же передадут по эстафете в наш штаб — убеждал лесничий.

Ханов подивился и... согласился. Вообще-то был Ханов хоть и резок, порою даже заносчив, но к дельным советам прислушиваться умел.

Сельский раис тут же по телефону вызвал для беседы директора школы Киньябаева. Гильман плохо знал этого человека, но отзывы слышал

о нем нелестные. Киньябаев приехал в Каратау из другого района, быстро отгрохал себе большой дом, обнес его высоким забором и, закончив дела в школе, спешит домой и там, в отгороженном от людских глаз дворе, что-то все время мастерит, роет. На заседаниях исполкома он обычно отмалчивался, общественную работу не вел, не считая одной-двух лекций в году на антирелигиозную тему. Голосовали все за что-либо, поднимал руку и молчаливый директор. Лишь один раз он вдруг воспротивился. Это было, когда Ханов предложил ему совместными усилиями «пробить» в районе, области строительство типовой поселковой школы. «А эти старые здания и пристройки, что вы нагородили, приспособим под интернат, спортзал», — горячился Ханов. Но Киньябаев твердо сказал, что затея это пустая, так как детей школьного возраста сейчас мало, а рождаемость не растет. И Ханов и Тулькусурин, конечно же, понимали, что директор просто не хочет обременять себя лишними хлопотами: ездить в министерство, обком, облоно, райисполком, но возразить было трудно. Пока школьников, действительно, было немного, но ведь и те занимались в две смены! Однако же, доказывал директор, в соседних районах и того хуже, а новых школ там не строят.

Не знал Гильман, что в столе райса лежала анонимка на Киньябаева, судя по стилю, написанная кем-то из учителей. Письмо было на имя Саюшева, а тот его, как водится, спустил сюда, Ханову, с резолюцией «Проверить факты. Навести порядок».

В анонимке сообщалось, что директор отгородился от народа высоким забором, занят лишь своим хозяйством и своими детьми, а на других ему наплевать, что как учитель не несет в массы знания и так далее, и тому подобное.

Но Ханову эти факты были давно известны, и он, закрутившись в водовороте дел, все откладывал да откладывал неприятный разговор с директором школы. И дооткладывались! С Киньябаевым побеседовал сам... Саюшев!

Произошло это так.

Когда секретарь райкома вместе с Муратовым был в Каратау, он утром, не заглядывая в сельсовет — был выходной, и Ханов уехал в дальний поселок к родственникам, — прихватив по дороге секретаря партбюро школы (у него, кстати, и оказалось то письмо), пришел в классы. Скоро уборщица, она же и сторож, сбегала за живущим рядом директором.

Саюшев без всяких вступлений попросил секретаря партбюро прочитать анонимку. Киньябаев прослушал всё очень спокойно, краешки губ его тронула улыбка.

— Кто написал эту клевету, Никита Барович?

— Не важно, кто написал. Важно узнать у вас, что здесь правда, а что — ложь.

— Все лож, — спокойно сказал директор. — Меня травят из-за того, что я здесь чужак, приезжий человек.

— Вот как? — иронически улыбнулся Саюшев.

— Да так! — продолжал Киньябаев. — Кому я здесь сделал зло? За что меня ненавидят?

Саюшев горестно поглядел на него. Притворяется или действительно ничего не понимает? Ему захотелось встать, стукнуть кулаком по столу и сказать этому директору такое... Но, как всегда, сдержался, только непроизвольно поиграл желваками.

— Вы спрашиваете, кому вы здесь сделали зло? А я вас спрошу: а кому вы здесь сделали добро?

— Я детей учу!

— Вам за это государство деньги платит. А без денег? По зову сердца? По душе своей учительской?

Директор потупился, вертя в сильных смуглых руках соломенную шляпу.

— Я спрашиваю вас как коммунист коммуниста: что в письме правда, а что ложь?

— Кое-что действительно правда, — промямлил Киньябаев, не поднимая головы. — Ну там... дом у меня всем на зависть... Так я же его своими вот этими руками, — потряс он сжатыми пальцами. — Детей у меня восемь душ! И «Москвич» есть, и лошадь...

— Зачем лошадь? — перебил Саюшев.

— На школьной не всегда все привезешь... Не на «Москвиче» же таскать дрова, сено, — усмехнулся директор.

— Коров сколько?

— Одна.

— Две, — вкрадчиво поправил молчавший до этого секретарь партийной организации.

— Вторая не доится, — снова повысил голос директор, — осенью зарезу... Мед я каждый год в сельно сдаю. Я не спекулянт какой-либо. И вообще, Никита Барович, что это за допрос? Сколько того, сколько сего? В решениях партийных пленумов...

— Я знаю, что сказано в этих решениях, — оборвал его Саюшев. — И я не осуждаю вас за то, что у вас крепкое хозяйство. Я только вижу, что забота об этом хозяйстве заслонила от вас главное ваше дело — воспитание детей, воспитание народа, если хотите. Вы забываете, Киньябаев, что директор школы не только и не столько хозяйственник — для этого у вас есть завхоз. Директор — сам учитель. И не просто учитель, а учитель учителей! А чему вы своих коллег учите?

Жить крепко? Этого мало. Вот скажите, что вы сделали полезного для жителей Каратау за последний год, помимо вашей службы, — нажал на это слово секретарь райкома, — в школе?

— Читал лекцию на атеистическую тему, — пробормотал директор и покосился на секретаря партбюро. — Так же?

— Так, — нехотя подтвердил тот.

— И какой прок от вашей лекции? Меньше стало верующих?

— Да у нас их вроде бы и вовсе нету, — шевельнулся секретарь партбюро.

— Слышите, Киньябаев?

— Слышу.

— Кому же и для чего вы читали эту лекцию? Для галочки? Стыдно! Я уж не говорю что ничего другого вы вовсе не сделали, уткнулись носом, извините, в свой навоз и дальше этой кучи ничего не видите. А ведь мы, коммунисты, надеемся, что в Каратау есть наш товарищ, наш идейный единомышленник, воспитатель подрастающего поколения, образец жизни для других. Выходит, мы зря надеялись, зря себя успокаивали? — Саюшев вздохнул, прошелся по комнате. — Скажите, Киньябаев, на моем месте вы бы доверили такому, как вы, воспитывать народ?

Директор подавленно молчал.

Саюшев повернулся к секретарю партийного бюро.

— Если у вас директор, можно сказать, первый в школе коммунист, погряз в частнособственническом болоте, абсолютно пассивен, то что можно подумать о рядовых учителях?

— Никита Барович, — встрепнулся секретарь, — да у нас есть очень хорошие преподаватели...

— Не сомневаюсь. Но у вас нет хороших воспитателей и пропагандистов, нет настоящих активных общественников. Поэтому предлагаю вам не позднее конца августа, когда все преподаватели возвратятся из летних отпусков, обсудить поведение директора на открытом партийном собрании, заодно и как следует поговорить о моральном облике сельского учителя. День и час сообщите заранее в райком. Пришлем своего представителя...

Сначала Ханов подивился было переменам в Киньябаеве: тот стал каким-то проворным, все время крутился на школьном дворе, самолично следя за ремонтом, появлялся чуть ли не каждый вечер в клубе — раньше и в кино не ходил, наседавал в сельсовете, чтобы поскорее завозили топливо, переложили печи. Потом (в деревне шила в мешке не утаишь) узнал о разговоре с секретарем райкома и все понял. Но рвения Киньябаева не сдерживал, наоборот, всячески поощрял, хотя понимал, что после строгих указаний Саюшева Киньябаеву вряд ли остаться на директорстве. Понимал это и сам Киньябаев, но все-таки старался, мечтал остаться в полюбившейся деревне, где так славно обжился, простым учителем.

Вот и сейчас он прямо-таки вбежал в сельсовет, пожал руки райсу, лесничему, выпалил:

— Вы по поводу участия школьников на работе в лесничестве? Работаем не покладая рук. Двадцать пять детей полют сосны, что посадили в прошлом году, двадцать школьников — на питомнике. К ним я и своих троих сынов-джигитов послал, — вытер пот со лба директор.

Ханов расхохотался.

— Пошла вам на пользу выволочка товарища Саюшева, Киньябаев-агай! Вы, гляжу, даже помолодели!

— Не смейся, кустым, не смейся, — отдувался директор. — Партийная критика всем помогает.

— Школьное лесничество в последнее время работает намного лучше, — повернул разговор в нужное русло Тулькусурин. — За это, товарищ Киньябаев, спасибо. Теперь мы вас хотим попросить о другом.

Директор насторожился, уклончиво сказал:

— Если наша помощь действительно нужна, мы рады будем ее оказать.

Когда Ханов изложил суть дела, Киньябаев нахмурился:

— Боюсь, как бы эта затея нам боком не вышла. Мальчишки сами горазды устраивать костры в лесу.

Тулькусурин поглядел на него укоризненно:

— Неудобно вам, педагогу, это говорить, но придется... Вам ли не знать, что подростки к порученному делу относятся с удивительной серьезностью! А воспитание в детях чувства ответственности — задача не только школы, но и всей общест-венности.

Киньябаев поморщился.

— Подобные лекции я слушал тридцать лет тому назад в институте, а жизнь диктует свои законы... — Он вдруг запнулся, увидев угрюмые лица райса и лесничего. Мигом вспомнил свое незавидное положение. Поспешно пробормотал: — Впрочем, отчего же не попробовать? Вот возьмем да прямо сегодня и организуем школьную пожарную дружину!

Гильман с удивлением глядел на человека, который так легко может менять свое мнение. Хамелеон — да и только!

— Что ж, — важно сказал Ханов, сам по образованию учитель, — хорошо, что мы с вами нашли общий язык. Действуйте, Киньябаев-агай,

немедленно. Отберите самых, так сказать, шустрых, достойных, проинструктируйте, выдайте им повязки, флажки, не мешало бы для внушительности свистки, а лучше пионерские горны. Список дружинников подайте в сельсовет.

Ханов повернулся к лесничему.

— Гильман-кустым, тут мне в голову одна мысль пришла. Надо бы пообещать, что наиболее бдительные школьники будут отмечены ценными подарками. Ну там, книгами хорошими, портфелями, коньками.

— Хорошая мысль, — одобрил лесничий.

— Хорошая-то хорошая, — вздохнул раис, — только на какие шиши все это покупать? В сельсоветской кассе даже мышей нету. А ведь, если дело пойдет, такую же дружину не мешало бы иметь и в будущем году!

Гильман еще раз подивился в душе проницательности и дальновидности этого неповоротливого, тугодумного на первый взгляд сельского раиса. В голове сразу замелькали варианты добычи денег на подарки: местком, директорский фонд... Что еще? Да ведь можно перечислить школе деньги за работу в питомнике, только бы уговорить Козина!

— Деньги найдем, — твердо пообещал он. Ханов повеселел.

Гильман повернулся к директору:

— Когда соберете детей, сообщите мне. Хочу им рассказать о лесе, об их задачах.

— Будет сделано, — кивнул директор. — Завтра к вечеру и соберем.

Дождь уже прекратился, Киньябаев пожал им руки, почему-то бормоча при этом: «Спасибо, спасибо», — и ушел.

Ханов откинулся на спинку стула, сощурил и без того узкие серые глаза.

— Ну, Гильман Ильгамович, вижу, ты сегодня добрый, не откажи еще в одной просьбе. Надо, понимаешь, отремонтировать больницу, а, — он поплевал в толстые пальцы, потер их быстро друг о дружку, — этого дела, сам знаешь... Доской не поможешь в порядке шефства?

— Кубометра два-три половой дадим. Дуб не нужен?

— Нужен! Еще как нужен, золотой ты мой Гильман Ильгамович! — заликовал Ханов. — На столбы нужен, на следи.

А Гильман подумал о тех бревнах, что отобрал у Мурзабая. Вначале он хотел передать дело о воровстве в суд, но, поостыв и трезво поразмыслив, пришел к выводу, что ничего этот суд, кроме штрафа да вреда Гайсару, не даст. Поэтому, хотя кража леса дело уголовное, прикинул: а не ограничиться ли судом товарищеским? Но таким, чтобы на нем присутствовало все лесничество. Решил посоветоваться с Хановым.

— Дубовые бревна лежат во дворе лесничества. Больница может забрать их хоть завтра.

Ханов удовлетворенно крикнул:

— Вот это разговор!

— А знаете, что это за дубы?

— Откуда мне знать? — удивился раис. — Мне это и знать не надо, пусть об этом дубы знают, — пошутил он.

— Нет, знать вам следует. Это дубы ворованные.

Ханов нахмурился:

— Уж не хочешь ли ты, Гильман-кустым, впутать меня в какое-то темное дело?

— Не думаю. Дело светлое, как день. Дубы эти украл в лесу Мурзабай, а Гайсар его поймал и составил акт.

— Гайсар? — ахнул Ханов. — Родной сын?

— Ему надоело уговаривать отца не халатно что под руку попадет, вот и пошел на крайнюю меру, — пояснил Гильман.

— Мда... — Ханов сложил на животе толстые пальцы, покрутил ими туда-сюда. — И все-таки... Гме? Родной сын...

— Вот я и предлагаю, дабы окончательно не вносить разлад в семью, ограничиться широкогласным товарищеским судом.

Ханов шевельнулся.

— Кража леса — уголовное преступление, есть твердое указание: за хищение особо ценных пород...

— Я знаю, — тихо перебил лесничий. — И все-таки прежде чем передавать дело следователю, а значит, и в суд, мы должны крепко подумать, пойдет ли кому такая мера на пользу или во вред.

Ханов зажмурил глаза, минутку молча покачался на жалобно поскрипывающем стуле и... дал согласие.

— На этом же суде предлагаю рассмотреть и дело Хайри Рафикова, — продолжал Гильман.

— А его за что? — удивился Ханов.

— За вовлечение молодого парня в пьянку, за драку на улице.

— Слышал, слышал об этом, — поморщился раис. — Ну, с кем не бывает? Выпили парни, подрались... Экая беда! На то они и парни. Накажи их в административном порядке.

Гильман знал слабину Ханова: не любил раис портить отношения с односельчанами, потому еще резче продолжал:

— Рафикова я отстранил от работы. И раньше рабочие говорили, что он заставлял ему в цех таскать водку. Но ведь не пойманный, как говорится, не вор. Теперь он пойман. Я вам удивляюсь, товарищ Ханов. Борьбу с пьянством надо

вести повсеместно, без всякого либерализма, а вы будто бы оправдываете пьянку. Ну, выпили, ну, подрались... А ведь Гайсару еще нет восемнадцати, ему осенью в армию идти...

— Уговорил, уговорил, — поднял руки вверх Ханов. — Наши мудрые старики говорят: два дела — все равно одно дело... Да, много мы с тобою дел сегодня сделали, Гильман-кустым.

— Дел пока не сделали, а наговорили действительно много.

— Э, кустым, слышал, говорят: договоренное дело — законченное дело. Давай-ка сразимся в шахматишки, все равно на улице, — кивнул он на окно, — лужи, грязь по колено. А пока я тебе поставлю мат, глядишь, и подсохнет.

Гильман бросил взгляд на часы. Седьмой... А Нина обещала приехать к восьми. Время еще есть, суп он приготовил, натушил мяса с грибами... Он знал, что раис заядлый шахматист. Каждое утро он кладет в портфель вместе с нужными бумагами небольшую шахматную доску в надежде, что заедет кто-либо из района, понимающий толк в этой древней мудрой игре. В деревне беззлобно передавали слова пятилетнего сына раиса. На вопрос какого-либо гостя, где отец, сынишка бойко отвечал словами матери: «Сёлт понес в сельсовет иглать в сахматы!»

Гильману не доводилось играть с Хановым, и теперь, наблюдая за его манерой, он дивился преображению этого человека. Шахматы для раиса были поистине «одной, но пламенной страстью». Делая хороший ход, Ханов потирал руки, подмигивал партнеру, выкрикивая бессмысленные междометия. Побив чужую фигуру, он переворачивал ее, плевал на основание, крикая и бормоча: «Вот так мы ее! Была ваша, стала наша! Это тебе не чурюньки разводить! Не знал, кто твой

дядя, будешь знать!» Если же сам допускал ошибку, страдальчески морщился, тут же снова хватал свою фигуру, ругал себя нещадно: «И куда ты, дубина стоеросовая, слона суешь? Ему же хобот там оторвут». Или: «Коня-то уволочут на чужую конюшню! Эх и дурак ты, братец!» Выиграв партию, он вскакивал, совершая какой-то шаманский танец, выкрикивая при этом всякие непристойности в адрес партнера и в свой тоже.

Увлеченный не столько самой игрой, сколько выходками Ханова, Гильман не заметил, как пролетел час. Поднялся из-за стола. Разгоряченный игрою, раис схватил его за локоть.

— Куда? Отыгаться не хочешь? Ну еще одну партишку сгоняем, а?

— Не могу, — приложил руку к сердцу лесничий. — Гостя жду.

— Гостя или гостью? — лукаво сощурился раис. Гильман смешался. — Ну, ну, — похлопал его по плечу Ханов, — дело молодое, пора и о гнезде подумать, сколько же холостяковать можно!

Гильман шел, выбирая места посуше, с тревогой думая, как бы этот ливень не задержал Нину. Правда, дорога каменистая, вода на ней не задерживается, но мало ли... В выбоинах теперь, конечно, лужи, можно так сесть, что без трактора и думать нечего выбраться. От этих мыслей ему становилось жутко: живо представлялись застрявшая среди ночного леса автомашина и маленькая хрупкая фигура девушки, тщетно вглядывающейся во тьму. Не выехать ли навстречу на тракторе? Так, тревожно размышляя, Гильман дотащился до лесничества и запнулся: в воротах стояла Зубаржат. Ах, принесло ее не вовремя! Чего надо в такой неурочный час? Злость на девушку, которая своим присутствием может помешать долгожданной встрече с Ниной, в первые

минуты взбеленила Тулькусурина. Но здраво поразмыслив — Зубаржат последние дни совсем не подходила к нему, даже сторонилась, а уж раз сегодня пришла, значит, что-то случилось, — лесничий шагнул к ней. Он хотел ее сухо спросить, в чем дело, но опять будто споткнулся, увидев глаза девушки, полные любви и печали.

— Здравствуй, агай, — тихо сказала она, протягивая ладошку. — Я давно тебя жду.

— В сельсовете задержался... Дождь, — стал зачем-то оправдываться Гильман. — А ты... что случилось?

— Случилось!.. Соскучилась я по тебе, сил моих больше нету, — и подалась к нему. Гильман отшатнулся. Но она, поймав его руки, уставилась вопрошающими, скорбными глазами. — Уж и обнять меня не хочешь?

— Ну, что ты, Зубаржат, — бормотал парень, не двигаясь с места. — Посреди двора... люди увидят.

— Пусть! — прижалась она к нему. — Я никого не боюсь.

— Конечно.. ты... не боишься, — бормотал Гильман, не обнимая ее и вертя головой, — а мне каково?

Девушка отпрянула от него, спрятала лицо в ладонях и разрыдалась. Гильман совсем потерялся. Переминаясь с ноги на ногу, он, едва касаясь, гладил ее плечо:

— Успокойся, Зубаржат... Ну, что ты, право...

— Я ждала, ждала, когда ты позовешь, — всхлипывала девушка, — а ты... Ты и не замечаешь меня... А я... Я почти не сплю... Все думаю и думаю о тебе.

Щемящая жалость подкатила к горлу парня. Он снова хотел произнести ненужные слова успокоения, но тут до его слуха донесся рокот мотора

автомашины. «Нина! — обожгла догадка. — Увидит с этой... Что подумает? Ах, черт бы меня побрал. Дурень я дурень!»

— Зубаржат, — начал он запинаясь. — Мне надо по срочному делу.

Она подняла на него глаза, полные слез.

— От меня бежишь?

Машина, прогудев по деревне, надсадно ревя мотором, стала подниматься к лесничеству. Гильман от отчаяния готов был разорваться на части, провалиться на этом месте. Но воли сказать девушке правду не было, и он вяло оправдывался:

— Ну что ты говоришь, Зубаржат! Ступай сейчас домой, потом поговорим.

— Ты всегда так! — капризно надула полные губки девушка. — Обещаешь поговорить, а сам и не смотришь на меня...

Гильман слушал ее вполуха, а сам, побелев, уставился в ту сторону, откуда должна была появиться машина Нины. Но урчание мотора стало удаляться, и парень облегченно вздохнул. Это была другая автомашина. Чувство жалости к Зубаржат опять охватило его. Он легонько обнял девушку, и она прильнула к нему, вздрагивая горячим телом.

— Ах ты глупая, глупая... Что я могу с собой поделать? Ладно, буду теперь все время смотреть на тебя и улыбаться.

Зубаржат быстро подняла голову, и опять ее взгляд ошеломил его. В ее глазищах плескались счастье, радость... Любовь. Она на секунду прильнула к нему, чмокнула в подбородок, потом отпрянула, закружилась на месте, махая ему руками.

— Спасибо тебе, Гильман! До свидания! Пошла я! Полетела! — и она действительно, раскинув руки, плавно выскользнула за ворота...

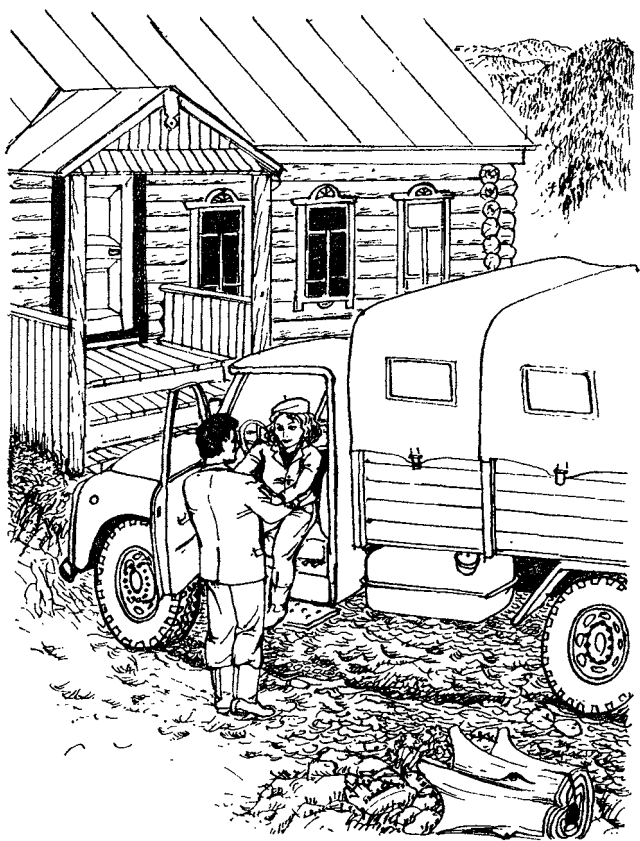
Гильман съежился... Посмотрел на часы. Без десяти восемь. Он быстро вошел в дом, поставил подогреть на электрическую плиту сваренный им суп, еще раз оправил койку, перетасовал на этажерке книги, прошелся по чистому полу веником. Размышляя, как бы теплее встретить долгожданную гостью, настроил свой приемник на «Маяк». Певец с кавказским акцентом надрывно выводил: «Представит трудно мнэ тэпер, что я не ту открыл би двэр, другой бы улыцей пашел, тэбя не встретил, не нашел». Но и эти дурацкие слова легли на душу влюбленного парня, который уже не мог представить себя без Нины. Забылась и Зубаржат с ее любовью, страданиями, но стоило ему бросить взгляд на подоконник, где неярко светили цветки деревца хны, поставленного Зубаржат в ту ночь, как перед мысленным взором снова возникла бедная девушка. Мучаясь угрызениями совести, он заметался по комнате. Ему казалось, что эти цветы — память о Зубаржат, о той ночи — оскорбят Нину, которая должна вот-вот зайти сюда. В отчаянии он хотел выбросить цветы во двор, будто вместе с ними мог навсегда выбросить и память о Зубаржат, потянулся к баночке, но отдернул руку. Послышался шум подъезжающего грузовика.

Опрометью Гильман выскочил наружу. Так и есть! Возле ворот, прыснув тормозами, остановился заляпанный грязью могучий ЗИЛ.

Гильман подбежал к автомашине, прыгнул на подножку, поскользнулся и упал бы, если бы маленькая крепкая ручка из окна кабины не схватила его цепко за шею.

— Осторожнее, товарищ медведь! — крикнула, смеясь, Нина. — С такой прытью недолго и в грязь шмякнуться!

В те счастливые секунды Гильман не понял,



что он и так уже достаточно вывозился в грязи, даже не вспомнил о Зубаржат. Он распахнул кабину, взял Нину на руки, спрыгнул на землю. Девушка прильнула к нему. Парень неистово стал целовать ее глаза, щеки, губы, а она только легонько отворачивалась, говоря:

— Пусти! Ну, пусти же, медведь! Не умеешь себя вести, — и спрыгнула с рук.

— Заждался я, — оправдывался Гильман.

Нина прислонилась к замызганному крылу машины, провела тыльной стороной ладони по лбу с прилипшей челкой.

— Устала я...

— Конечно, конечно, — суетился Гильман. — Дорога вон какая. Я уж боялся, не засела ли ты где...

Нина насмешливо на него поглядела.

— Не такие мы шоферы, товарищ лесничий, чтобы в страдную пору по холодочкам рассиживаться.

— Да, да, — согласился Гильман. — Но, что же мы здесь-то? Айда в дом, умоешься, отдохнешь, покушаешь с дороги.

— Нет, — покачала головой девушка. — Ни отдыхать, ни умываться, ни кушать пока не будем.

— Почему? — испугался Гильман.

— Да потому что груз надо сегодня же доставить косцам. Видишь, — показала она рукою на восток, где еще сердито клубились тучи. — Как бы опять ливень не ударил. Тогда едва ли доберемся.

— Да разгрузим здесь, — запротестовал лесничий, — а завтра я трактором все отправлю.

— Ты меня, товарищ лесничий, на преступление не толкай. А то...

— Что сделаешь?

— Уеду вместе с грузом домой.

— А если я тебя вообще туда не отпускаю?

Нина с интересом поглядела на него:

— Ишь ты! Не забыл, кто мой отец?

— Да что мне отец!

— Джигит! — похвалила девушка. — Угости-ка меня холодной водою.

— Может, чаю? — заискивающе предложил Гильман.

— Разве чаем утоляют шоферы жажду? — топнула она ножкой. — Неси водички и похолоднее.

— Мы что, действительно, сегодня поедем к косцам? — все еще не теряя надежды Гильман.

— Я два раза повторять не люблю.

Он чмокнул ее в щеку, побежал в дом, вытащил из холодильника графин с водою, налил в кружку. Нина выпила с удовольствием.

— Ах, прелесть какая! Прямо из колодца?

— У меня здесь все хорошее, — уклонился от ответа парень.

— Посмотрим, — лукаво сказала девушка и взялась за ручку дверцы. Гильману пришла в голову удачная мысль. Девушка действительно очень устала. Дорогу на покос она не знает, а он ведь сам немножко шоферил когда-то, даже в академии получил водительское удостоверение шофера-профессионала третьего класса. Правда, последнее время за руль машины садился редко — все больше на мотоцикле, а то на тракторе, однако подменить Нину сможет.

— Давай я поведу, — предложил Гильман.

Девушка выгнула бровь.

— Умеешь?

— Мы, лесные люди, все умеем, — пошутил лесничий, протискиваясь в кабину.

— Гляди, это автомашина, а не драндулет, как говорит мой отец, товарищ Козин. Не свались где-либо в кювет.

— Не бойся, — протянул Гильман, заводя мотор и включая скорость. — Я по здешним дорогам могу ездить с закрытыми глазами.

Он плавно вел грузовик по разбитой вдрызг тракторами размокшей грунтовке. Машина то и дело норовила сползти в канаву, но Гильман крепко держал руль, был внимателен, хотя уставшая девушка склонила головку на его плечо. Она хотела было рассказать, как гнался за нею отец, потом решила, что ее рассказ помешает неопытному — она это сразу поняла, хотя и не подала виду — водителю. Да и отношения двух любимых людей — отца и Гильмана — были для нее загадочны, но сейчас не стоило уяснять — отчего это да почему.

Подъехали к маленькой шумной, после прошедшего ливня, речушке. Гильман притормозил у еле угадываемого в полусумраке брода.

— Может, мне сесть за руль? — встревожилась Нина. Гильман и сам почувствовал неуверенность, но мужское самолюбие было задето, и он опять процедил:

— Не бо-и-сь, — и стал медленно сползать со скользкого бережка.

— Переведи на вторую и прибавь газу! — крикнула девушка. Гильман бестолково задергал рычаг передач, газанул, но было уже поздно. Лишенная скорости тяжелая машина прочно «села» посреди потока и заглохла. Гильман снова завел мотор, яростно газанул, грузовик судорожно затрясся, но с места не двинулся.

— Не газуй без толку, — рассердилась Нина, — это тебе не лошадь, которая вытащит, коли

будешь сильно дергать вожжами да понукать. Заглуши.

Гильман пристыженно подчинился.

Она открыла дверцу, выпрыгнула и тут же взвизгнула.

— Что случилось? — всполошился незадачливый водитель.

— Да вот рыбу поймала!

Ничего не понимая, Гильман осторожно вылез из машины и по колено в воде побрел к Нине. Она, смеясь, протягивала к нему по локти черные от ила руки.

— Иди, дорогой, я тебя обниму! — дурачилась она.

— Думаешь, испугаюсь? — шагнул к ней парень и раскрыл объятия. Нина шарахнулась в сторону.

— Ну, ну, не дури!

Она вымыла руки, оглядела со всех сторон колеса грузовика, потом исследовала берега речушки. Гильман бродил за нею, талдыча:

— Дай мне топор, он же у тебя есть... Сейчас срублю пару берез — и как птицы вылетим.

— Ты же лесник, — укорила она его. — Не торопись губить деревья. Попробуем так.

Она решительно залезла в кабину, включила фары, подала тяжелую машину назад, и та, словно почуяв хозяйку, подчинилась. Потом тронула вперед, еще назад, еще вперед, разбивая колею, наконец, сильно газанула, и машина, радостно ревя и разбрасывая грязные брызги, выскочила на берег.

Пристыженный Гильман застыл по колено в воде.

— Товарищ лесничий! — услышал он насмешливый голос. — Вы там не утонули? Карета подана!

Гильман сел рядом.

— Учись, сынок, — похлопала его девушка по плечу. — Мы в твои годы рояли чинили, а уж ездили — собакам не догнать!

Оба расхохотались. Гильман пошутил:

— Эх, была бы у меня машина, да отпустили бы тебя с промкомбинанта, взял бы я тебя своим личным шофером.

Переключая скорость, девушка лукаво покосилась на него:

— Только ли шофером, товарищ начальник?

— Сначала шофером, а там бы посмотрел на твое поведение.

— Ишь ты! Поведение самое безупречное.

Гильман хотел ее приобнять, но она оттолкнула его локтем:

— Не мешайте, товарищ стажер. Стажер должен быть внимательным и послушным.

— Вот я уже и стажер, — улыбнулся Гильман и опять положил руку на ее плечи.

— Руку, товарищ стажер! — прикрикнула Нина. — Не забудьте, что вы еще и впередсмотрящий, проводник.

Гильман убрал руку и с деланной обидой пробормотал:

— Благодаря тебе я сегодня приобрел несколько новых специальностей. Теперь я и товарищ лесничий, и товарищ начальник, и стажер, и проводник, и даже медведь.

— А это тоже специальность?

— Специальность по меду и малине. Сюда сворачивай.

Так балагурия, они выехали на широкую лесную поляну, посреди которой стоял просторный шалаш. У входа в него горел костер. Языки пламени лизали закопченный круглый таганок.

— Люди! — позвал лесничий. — Принимайте груз!

Пока косцы, переругиваясь и подбадривая друг друга шутками, разгружали машину, Нина и Гильман попили кипятку, заваренного пахучими лесными травами. Нина назвничь упала на растеленный брезент, закинув под голову руки, а лесничий, таская воду из ближней речки, вымыл кабину, обдал заклепленное грязью лобовое стекло.

Косцы, слыша, как она шутливо называла лесничего стажером, подначивали:

— Нина! А стажер-то у тебя, оказывается, работающий.

— Не то что вы, — съязвила девушка. — За час косы, вилы да крупу разгрузить не можете.

— А куда спешить, — оправдывались косцы. — Ночь на дворе.

— Вам некуда, мне есть куда, — отрезала девушка.

Косцы загремели бодрее. Гильман поставил возле Нины полное ведро воды.

— Сними туфли, я вымою.

— Вот еще! — фыркнула девушка. — Хочешь, чтобы и тебя, и меня тут засмеяли?

Она вымыла ноги, потом туфли.

— Все, начальник! — доложил то ли ей, то ли лесничему грузчик.

— Хорошо, — поднялась Нина. — Приготовьте на завтра обед еще на двоих человек. Я их к полудню подвезу.

На этот раз Гильман не осмелился проситься за руль. До лесничества добрались без приключений. Заметив, что Нина остановила грузовик у ворот, Гильман забеспокоился.

— Почему во двор не засезжаешь?

— Так надо.

Сердце парня похолодело.

— Уж не думаешь ли ты в ночь ехать домой да по такой погоде?

— Посмотрим на поведение хозяина, на его угощение, — уклончиво улыбнулась девушка.

«Бог мой! Ну что за чудо! — ликовал Гильман. — Как говорится, ни обойти, ни объехать».

Он изо всех сил старался понравиться, расположить ее своим гостеприимством. Как только вошли в комнату, предложил ей вязаные носки, тапочки. Потоптался.

— Может, дать тебе свой спортивный костюм?

— Не беспокойся, — она положила на стол сверток, который он раньше не заметил. — Пойди-ка погляди, не угнали там мою машину.

Гильман похлопал глазами, не понимая, почему она его отсылает, и сообразил уже на дворе, куда она его, посмеиваясь, легонько вытеснила. Она же хочет переодеться! Значит, значит, думает остаться! А коли так, надо уговорить ее — завтра же в сельсовет. Ханов плюнет на формальности, поможет зарегистрировать брак. Но как ее уговорить, как? Но нужно ли сейчас настаивать? Такая независимая девушка, как Нина, конечно, и без родительского согласия сделает так, как захочет... Но захочет ли именно сегодня, сейчас остаться у него, стать его женою...

— Хозяин, где ты, ау? — прервал его тревожные размышления голос Нины.

Гильман вбежал в комнату и чуть не зажмурился. Девушка была в том самом голубом легком платьице, которое она надевала в общежитии, в его вязаных носках. От нее веяло домашним уютом, чистотой, нежностью.

Парень подхватил ее на руки, и она обняла его за шею, сама коснулась губами жаркой щеки,

счастливо засмеялась. Он усадил ее на диван, сам сел рядом, не снимая руки с ее талии.

Склонив головку на его плечо, Нина минутку молчала, потом шепотом попросила:

— Расскажи мне о себе....

— Что рассказывать-то? — так же шепотом спросил он.

— Ну, что-нибудь интересное.

— До сих пор моя жизнь была для меня малоинтересной.

— Говорят, у тебя нет ни отца, ни матери?

Гильман вздохнул.

— Что такое семья, любовь родителей, близких, я не знаю. Потому-то мне так приятно с тобой, такой родной, домашней, что ли...

— И девушек до сих пор ты не любил?

Гильман на мгновение смешался. Мелькнули полные любви и отчаяния глаза Зубаржат. Но любил ли он ее?

— Нет, не любил, — твердо ответил он Нине. — И не верил, что найду свою любовь.

— А теперь веришь?

— Теперь верю. Эту веру дала ты мне. — Он осторожно взял ее за подбородок, повернул ее лицо к себе. Приемник на столике бодро запел: «Птица счастья завтрашнего дня пролетела, крыльями звеня!» Не чувствуя банальщины и фальши, он прошептал:

— Ниночка... Ты птица моего счастья, — и прильнул к ее губам. Она отвечала на поцелуи. Он все шептал ей между поцелуями обычные затертые, тысячи раз до него сказанные всеми влюбленными всех веков и народов слова: «Любовь моя... Единственная моя... Будущая жизнь моя... Навеки с тобою, желанная моя». Но оттого, что эти слова и стары, как мир, и затертые, они не лишились своей хмельной крепости, своей колдов-

ской силы... Голова Нины уже лежала на подушке дивана, все тело ее от этих слов и поцелуев расслабилось, грудь от прерывистого дыхания вздымалась высоко, глаза были распахнуты и влажны. Руки гладили горячее тело девушки, и она не защищалась, не отстраняла их.

— Ты радость моя... Ты горе мое.

Может, последнее странное слово и отрезвило Нину. Она рывком села, отстранив обалдевшего от близости парня.

— Почему горе?

Гильман на время смешался. Он и сам толком не понимал, откуда и почему у него вырвалось это слово, но интуитивно чувствовал, что слово это верное.

— Понимаешь, Нина,— начал он запинаясь,— если бы жизнь состояла из одних радостей, она была бы пресной, неинтересной.— Говоря так, он все более воодушевлялся. — Вот сегодня я весь день ждал тебя, беспокоился: не случилось ли что с тобою? Не поломается ли в пути машина? Не застрянет ли? Приедешь ли ты вообще? Выходит, я горевал, а подумать глубже, эти огорчения, беспокойство мое были радостью ожидания, предвкушением нашей встречи. Значит, они были радостью! Раньше, когда у меня не было тебя, я никого не ждал, ни о ком особо не беспокоился, но, разобраться, был я самым разнесчастным человеком!

— Философ мой! — сказала она без иронии и потрепала его жесткие волосы.

— Постой-ка! — встрепенулся Гильман.— Философией и баснями соловья не кормят. У меня же суп на плите давным-давно подогревается. Сам варил... для тебя,— похвастал он и направился в чулан. Нина, посмеиваясь, пошла следом.

Отстранила его от плитки, подняла крышку кастрюльки, понюхала.

— Вроде бы не пригорел. Но из вашего супа, товарищ повар, в результате длительного кипения, получилась отличная рисовая каша.

Увидев, что лицо хозяина страдальчески сморщилось, гостья поспешила его успокоить.

— Я давно такой каши хотела. Тащи тарелки! Э, да тут и мясо есть! Вот это ужин!

— У меня еще вот что есть, — обрадовался Гильман, доставая из тумбочки консервы, сгущенку, конфеты, печенье.

— Ой, ой, ой! — запричитала гостья. — Богато живете, товарищ начальник.

— Как и подобает начальнику, — подхватил шутку Гильман.

— А чай у вас есть?

— Индийский.

— Тогда совсем хорошо.

...Она неторопливо ела Гильманову стряпню, на плитке сердито посапывал разбуженный чайник, царили домашний уют, благодать. За окном уже давно смеркалось, а хозяину были непонятны намерения его гости. Спросил напрямик:

— Нина... Тебе нужно непременно сегодня ехать?

Она вытерла пальчиками уголки губ.

— Непременно, милый.

— Что за спешка такая? Тебя кто-то ждет там?

— Ждет... Больная мама.

— Что же она...

Девушка взяла его за руку, заглянула в глаза. Глаза эти не лгали.

— Милый... Я и так мучаюсь, что ради того, чтобы увидеть тебя, оставила ее... больную. Пой-

ми меня, хорошо? Завтра к полудню я опять приеду.

— А потом снова уедешь,— помрачнел парень.

— Уеду,— кивнула Нина,— потом снова приеду... Ведь ты же сам только что говорил, что ожидание и беспокойство — радость.

— Мне нужна не только эта радость,— тихо сказал Гильман.

— Мне тоже...

Она склонила голову на его грудь.

— Я ведь давно твоя...

— Давно?

— С тех пор как впервые тебя увидела... — Сердце парня запело. Он схватил ее на руки, закружил по комнате, что-то выкрикивая по-башкирски.

— Разобьешь, сумасшедший! — счастливо смеялась девушка, прижимаясь к нему.

— Да я тебя... Я тебя пронесу через всю жизнь как драгоценную вазу! — ревел Гильман. — Я с тебя буду пылинки сдувать!

— Ох, ох! Не много ли обещаете, товарищ начальник?

— Да я клянусь! Я для тебя все сделаю!

— Вот как? Посмотрим. А пока спустите меня с небес на грешную землю...

Они простились у машины долгим поцелуем, Нина помахала ему рукою из кабины: «До завтра». Они крепко верили, что это «завтра» наступит быстро и непременно, не ведая, что этого «завтра», увы, не будет.

А пока же обалдевший от счастья Гильман, глупо улыбаясь, неторопливо убирал со стола. Он не пил сегодня, но был пьян, не ел, но был сыт.

В субботний день Муратов, погрузив семейство на машину, покати́л на свой садовый участок, который он два года тому назад по настоянию Мастуры купил в тридцати километрах от Уфы на бывшем пустыре. К тому времени пустырь уже бойко обустривался, разгораживался ягодными кустарниками, ершился фруктовыми деревьями. Яркими грибами росли на участках затейливые, разноцветные, будто игрушечные, домики. Всякий раз, проезжая мимо, Мاستура с вожделением глядела на возню чужих детей, радостную беготню городских ребятишек, вырвавшихся на природу, вздыхала и пилила мужа:

— Все люди как люди, одни мы... Смотри, чужие дети резвятся на свободе, лакомятся яблоками прямо с веток, ягоды собирают... А наши? Да и я от одиночества в четырех городских стенах устала. Одичала, считай... Почему не возьмешь участок?

Муратов отмалчивался либо отшучивался, что мол, негоже ему, министру, ко всем благам, что есть, иметь еще и дачу, да и когда ею заниматься, но жена возражала:

— И ты и я — от земли! Неужто не тянет тебя?

— В нее пока не тянет, — неуклюже отшучивался Габит Салихович.

— Я не о той тяге говорю, ты это прекрасно понимаешь, — раздражалась Мастура. — Человек, как ребенок пуповиной, связан с землею, и если эта связь нарушается... Вспомни недавние годы!

Муратов в душе подивился логике жены, ее зрелым, прямо-таки философским взглядам на проблему, которая стала давно притчей во языцах, и подумал, что последнее время они с женой

на такие темы почти не говорили. Всё о семье, о здоровье... А откуда быть здоровью, если действительно днями не вылезашь из прокуренных кабинетов, из городской квартиры, из самого города с его суетой, дымом, грохотом. А главное — ежедневная нервотрепка, взвинченный темп деловой жизни, ежедневное скольжение по невидимому, но опасному лезвию... Как и всякий трезво мыслящий человек, имеющий к тому же доступ к самой различной информации, Муратов видел, как годами желаемое выдается за действительное, как самые громкие призывы, броские лозунги, клятвенные обещания оказываются холостыми выстрелами, этаким салютом не делу, не конечному результату, а благим намерениям, которыми, как известно, «дорога в ад вымощена». Он видел, что наши замечательные идеи социального равенства, гласности, демократии профанируются, девальвируются понятия, священные для нас с детства, с первых дней Октября. Демагоги, прорвавшиеся к власти, через послушные им рупоры долгие годы внушали народу мысль, что все у нас идет как нельзя лучше, крепнет народовластие, набирает силу экономика, процветает творческая инициатива... Они и их предшественники, демагоги еще более безответственные, даже обещали народу в самом скором будущем самую короткую в мире рабочую неделю, самые лучшие в мире квартиры, самый высокий жизненный уровень и даже: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Демагоги сидели и сидят слишком высоко, с них не спросишь, и народ спрашивал и спрашивает с тех, кто на местах, кто не давал сказочных обещаний, не трубил о наших «выдающихся достижениях во всех областях народной жизни». Спрашивали люди с Муратова, с таких, как Муратов: где квартиры? Где самая

короткая в мире рабочая неделя, если для выполнения плана «любой ценой» работаем иной раз, считая сверхурочные, по 12—14 часов в сутки? Где самый высокий в мире жизненный уровень, если в магазинах нет ни мяса, ни масла, ни молока? Где «выдающиеся достижения во всех областях науки и техники», если годами работаем на устаревшем оборудовании, замечательные изобретения не реализуются, рацпредложения не внедряются, металл ни к черту, да и того не хватает, краны во всех квартирах текут, а воды не бывает, чтобы напиться...

На глазах губим реки, озера, целые моря, затопляем миллионы кубометров прекрасного леса, а построить баньку — попробуй достать бревна! О коммунизме говорим больше с горькой усмешкой: кое-кто действительно живет в наше время как при коммунизме: почти бесплатное питание, бесплатная государственная машина, прекрасная дача, курорт на Севере, курорт на Юге. Этот «коммунизм» был для избранных, этот «коммунизм» был весьма странным: при нем не надо было трудиться, надо было лишь создавать видимость работы, произносить речи, устраивать совещания, заседания, а после них пышные банкеты, на которых опять-таки произносить речи о неудержимом движении вперед, о невиданном процветании, просторе инициативы и демократии. Таких деятелей народ называл «кипучими бездельниками», их презирали и ненавидели, но они были сильны, мстительны, потому о них говорили шепотом, в узком кругу, анекдотами. Не лез на рожон и Муратов, хотя и он, как все честные люди, с болью видел, что в обществе воцаряется усталость и безразличие, души людей зарастают тиной равнодушия. Мучаясь бессонницей, анализируя жизнь и свои поступки, Габит Салихович

ловил себя на мысли, что и он теперь больше отмалчивается, покорно глотает и нелепые призывы, и глупые указания, успокаивая себя в душе, что все равно сделает по-своему, то есть как надо, как выгоднее производству, государству, людям, в конечном счете! Но эта двойственность, эта опасная игра изматывали больше, чем настоящая работа, городской бедлам, бесконечные командировки. Он чувствовал, что быстрее устает и виноваты тут не годы: пятьдесят лет — расцвет для мужчины, тем более руководителя. Конечно, как и всякий советский человек, Муратов имел право на отдых, на ту же дачу и, не будь он министром, давно бы ею обзавелся. Впрочем, его сослуживцы рангом пониже не стеснялись хапать лучшие участки, строить не домики-грибки, а настоящие дворцы. На бессребреника Муратова они поглядывали свысока, кто в сторонке, а кто и прямо в глаза посмеивались над министром-лесником, но он делал вид, что не обращает внимания, даже в душе успокаивал себя, что по крайней мере здесь-то он честен и чист перед народом, перед своей совестью. Постепенно у него даже выработалась какая-то аллергия к желанию подчиненных заполучить под городом клочок земли для садового участка. Он вбивал себе мысль, что это желание — не что иное, как новомодное поветрие, которым заразилось целое поколение.

Вот примерно такие мысли откровенно высказал он старику Уразметову, которого знал, еще когда работал директором лесхоза. Уразметов забрел вечером в его кабинет проведать, покалякать о жизни. Выслушав бывшего ученика, старый лесник вздохнул.

— Вижу, сынок, городская жизнь да министерский пост разжижили тебе мозги. Что же пло-

хого в том, что человек иной раз действительно хочет побыть только в кругу своей семьи, на природе? Я понимаю так: социализм — это вовсе не стадность. Да ведь и в стаде бывает: отобьется в сторону животное и стоит, о чем-то думает. Не замечал? То-то. Опять же, не бесхозяйственность ли давать земле дичать? Земля требует заботы, ласки, и за это она платит своими плодами. Ты вспомни, как мы после войны выжили, за счет чего? Да за счет земли же. Тогда ее давали почти по гектару: обрабатывай, сажай, собирай урожай, корми себя и страну. И хотя поначалу и копать было некому, и нечем, и сажать почти нечего, а все-таки выжили, страну подняли! И скажу тебе прямо: если бы эту землю не отняли у народа в свое время, не отбили бы у него охоту копаться в ней, ухаживать за скотиной, нынешних нехваток мы не знали бы. Так-то. Земля облагораживает человека, сближает людей. (Габит Салихович шевельнулся, чтобы возразить: были случаи, когда за клочок нечаянно или преднамеренно занятой чужой земли сосед убивал соседа, сын поднимал руку на отца, да и сейчас ходят по судам сутяги, но промолчал. Старика этим не убедишь.) На земле человек становится крепче, здоровее, — продолжал Уразметов. — Возьми хотя бы меня. Совсем уже от безделия и тоски собирался было помирать, а тут моя Марьям надумила взять садовый участок. Ну и пошло-поехало. Своими руками кустарник выкорчевал, воду подвел, сад посадил, малинник разбил, домик построил. Теперь с весны до осени мы с Марьям живем на природе. Видишь, каков я нынче? Сегодня в магазине продавщица назвала меня молодым человеком!

Старик ударил себя по коленкам и захохотал. Засмеялся и Муратов.

— Что с плодами-ягодами делаете? — спросил Габит Салихович, когда отсмеялись.

— Солим, сушим, маринуем, варенье варим. А лишние — на базар. Да ты не думай, с шести соток не очень-то разбогатеешь, но все-таки на ремонт, на удобрения, за электроэнергию заплатить хватает. Да иной раз и внукам по десятке сунешь. Но разве в этом дело? Мы на воле живем, себя обеспечиваем да еще помогаем решать продовольственную программу, — старик опять улыбнулся. — И, если бы таких, как мы, было в десять, двадцать раз больше, ей-ей, не нуждались бы мы ни в картошке, ни в плодах-ягодах. Земли ведь вон сколько пустует! Почему ее не раздадут всем желающим? Я думаю, потому, что тут пример не показывает начальство и ты лично, товарищ министр.

— Да, честно говоря, некогда мне корчевать, осушать, обводнять, строить, — вздохнул Муратов.

— Я тебя знаю, Салихович, — старик положил ему на колено корявую ладонь, — не будь у тебя совести, давно имел бы ты готовую дачу не хуже, чем у других министров.

Муратов болезненно поморщился.

— Понимаю, понимаю, — заспешил старик. — Поведение твое одобряю, но все-таки тебе, лесному человеку, негоже запираяться на выходные дни в городе.

— Но почему же! — вяло запротестовал министр. — Я бываю в деревне у родственников, в лесничествах...

— И — хорошо. Но ведь не каждый же выходной! А земля, она обязывает. Ты дома к газете или к телевизору, а она — к себе.

— Газета и телевизор тоже нужны...

— А как же! Тем более тебе, руководителю. У меня, на моей дачке и на них времени хватает.

И старик начал так живо и красочно расписывать свою сельскую жизнь, что Муратов загорелся. Оказалось, рядом с участком старого лесника срочно продается садик с довольно приличным домишкой. На следующий день они с Мастурой осмотрели участок и быстро сговорились с хозяином, молодым инженером-нефтяником, который уже отправил багаж в далекий Уренгой...

Так Муратов два года тому назад, к неописуемой радости жены, стал хозяином шести соток земли да легкого деревянного домика. Здесь она, бывшая сельская жительница, чувствовала себя полной хозяйкой, покрикивала на детей, заставляя их исправно трудиться, командовала мужем: переделай крыльцо, подправь окно, вкопай столб, полей грядки. И Муратов охотно ей подчинялся. Он обзавелся топором, пилой, рубанком, молотком и сначала с помощью старика Уразметова, а потом уже и сам подновил дом, даже долотом и лобзиком научился работать так, что на его наличники и резные ставенки ходили любоваться соседи. Пригодились и скудные агрономические познания, усвоенные с детства. Теперь, не побывав на дачке неделю-другую, он становился хмурым, вялым, руки буквально чесались что-то подтесать, подстругать, прибить, покопаться на грядке, поддержать в руках огурец или помидор, выращенный им самим... Муратов с детства приучил себя, что самым важным в жизни является не казаться, а быть. Он ненавидел суету и крикливость, сам никогда ими не страдал и от подчиненных своих требовал не громких обещаний, заверений, обязательств, а реального конечного результата. Его наставниками были простые люди, которые всегда презрительно относились к

пустобрехам и, прежде чем за что-то браться, что-то обещать, скрупулезно прикидывали и так и эдак, а когда было надо, не гнушались поучиться у соседа, спросить совета. Но эти же простые люди в критических обстоятельствах не боялись брать ответственность на себя, принимать быстрые решения. Это он наблюдал, работая и лесничим, и директором лесхоза, и потом в министерстве. Вот эти черты настоящего партийца: основательность в принятии решений, уважение к чуждому мнению, способность принимать ответственность на себя, доскональное знание жизни родного леса — и выдвинули тридцатипятилетнего директора лесхоза на самый высокий пост.

Свою жизнь Муратов с юности связал с лесом не для того, чтобы, как Козин, жить вольготнее, не потому, что, как Тулькусурин, был романтически влюблен в лес и считал себя обязанным продолжать дело своих предков — лесных батыров. Разумеется, подрастая в лесном селении, он не мог не влюбиться в лес, рано научился разбираться в породах деревьев, рано осознал, что лес — это величайшая кладовая, но вовсе не бездонная сокровищница, вроде волшебной пещеры Али Бабы. В этом убедили его и книги Докучаева, Костычева, Мичурина, замечательного русского писателя Пришвина... Еще в школе он зачитывался ими, и его острый ум, редкая наблюдательность рождали практические идеи, ставя сначала загадки одна труднее другой. Почему молодое дерево засохло, если рядом шумит веселой листвою точно такое же? Почему делянку, где вырублена липа, захватывает хилая осина — никчемное дерево — и даже на березовых порубках он растет вперемешку с березками? На участке же, где сведена сосна, буйно прет всякий кустарник? Какая здесь закономерность? Почему

упавшая осина быстро гниет, а дуб, особенно если свалился в воду или на мокрую землю, наоборот, с годами становится крепким, как железо? Отчего ветви некоторых деревьев хрупки, как стекло, а из ветвей других можно плести корзины, плетни?

Учась в Уральском лесотехническом институте, он жадно впитывал знания, не пропускал ни одной экспедиции, сам ставил опыты, скрупулезно вел наблюдения за жизнью леса и пришел к выводу: да, человек сильнее природы, сильнее настолько, что вполне способен вконец погубить ее, но тогда неминуемо погибнет и сам, ибо жизнь без леса, а значит, и без кислорода, воды просто невозможна! Человек, бездумно поднимающий топор на дерево, рубит под самый корень грядущие поколения. Истина вроде бы простая, но, зная ее, человечество упорно рубит сук, на котором сидит. Страшась атомного пожара, после которого разум, может быть единственный во вселенной, исчезнет навсегда, человечество забывает, что при таком варварском отношении к природе близится время, когда сверхбомбы будут просто не нужны, ибо люди сами себя уморят голодом, жаждой, удушат ядовитыми газами! Сделав для себя это открытие, подкрепленное чтением книг, Муратов твердо решил посвятить себя защите и умножению леса и его богатств... Но лесоводство такое дело, где невозможно только одним умом, опытом, знаниями и старанием что-то резко изменить. Отношение к лесу складывалось веками, на него смотрели, да и многие сейчас смотрят как на от века в век самовоспроизводящееся богатство, поэтому, беря от него все, ему не дают почти ничего. Да и что дать? Посаженные человеком деревья, до того как станут «деловой древесиной», растут десятки, а то и сотни лет. Иному

жизни не хватит, чтобы увидеть плоды своего труда.

Взять, к примеру, завод. Если рачительный директор, умные инженеры вовремя реконструируют его, поставят более совершенное оборудование, откроют новый цех, реорганизуют труд рабочих и всего коллектива — результат налицо! Средства массовой информации начинают трубить о новаторском подходе к делу, о работе по-современному. Хлеборобы, районируя новые высокоурожайные сорта, внедряя интенсивную технологию, получают такие урожаи, что рекорды прошлых лет едва заметны на фоне огромных урохов отборного зерна. Животноводы свои успехи связывают с новыми породами скота, с рациональным кормлением. На все это — и заводу, и хлеборобу, и животноводу — отпускаются немалые деньги. И никого это не удивляет. Удивляет как раз обратное, когда на такие цели средств не находится...

Но до недавнего времени многие удивились бы, услышав, что леса, реки, озера, луга для своей полноценной жизни, а значит, и для более полного удовлетворения человеческих потребностей, тоже требуют огромных затрат. Издавна человеческая психология складывалась из сказочного представления о богатствах природы, из незнания ее законов, из убеждения в неисчерпаемости ее возможностей. Руби, вали деревья, на наш век хватит, а детям еще нарастут! Черпай из рек, озер рыбу, еще разведется! Трави скотиной луга, весной опять травы поднимутся! В двадцатом веке люди поумнели, и все-таки это прежнее отношение дает себя знать. Одним росчерком пера, сотнями самых умных и доказательных речей и книг его сразу не переделаешь. Но, если бы каждый человек, работая с природой, на своем месте

настойчиво и разумно стремился к этому, взаимоотношения человека с природой менялись бы значительно быстрее. Так и поступал Муратов, работая лесником, лесничим, потом директором лесхоза. Он тщательно подбирал единомышленников, ставил их на самые ответственные участки, не ради формы наладил теоретические и практические занятия, приглашал ученых лекторов, настойчиво выискивал средства и способы воспроизводства леса и его обитателей, яростно боролся против загрязнения рек на своем участке, а потом в лесничестве, ездил в другие области, республики поучиться, корпел над зарубежным опытом... А годы были лихие. Требовались сиюминутные успехи, требовался вал, победные реляции о перевыполнении плана, опять-таки кубометры сваленных деревьев, а не воспроизводство чистых вод и воздуха. Да никаких планов по последним показателям и не было.

И все-таки Муратов, строго выполняя планы, сумел кое-чего достичь, его лесхоз из года в год признавался лучшим, уже и к нему дальновидные лесовики ехали за опытом... Работая директором лесхоза, мечтал ли он о больших масштабах, о более широких просторах для своих способностей? Конечно. Но не выпячивался, не лез наверх по спинам других, хотя и возможности такие были, и можно было успокоить свою совесть, что цель-де оправдывает средства. Но во всякие времена, какими бы трудными они ни бывали, находились вдумчивые, умные люди, которые замечали себе подобных, всячески поддерживали их...

Когда он прочел телеграмму, протянутую ему Мастурой, где его вызывали в областной комитет партии, то немного растерялся... Было, было предчувствие, что жизнь его должна вот-вот измениться. Оно поселилось в нем после неожиданного

посещения его лесхоза заведующим отделом Совета Министров республики. Уж очень скрупулезно вникал тот во все дела, очень дотошно выпрашивал Муратова о его планах и мечтах, очень откровенно делился с ним своим отношением к негативным явлениям и явно радовался, узнав, что так же к ним относится и директор лесхоза. Но все-таки телеграмма была неожиданно скорой, вот Габит Салихович и подрастерялся.

— Не иначе тебя коснулся лесной дух, — улыбнулась жена. — Наверное, хотят сделать министром.

И кто бы подумал, что ее шутка окажется правдой!

В обкоме с ним разговаривал заведующий отделом. Поговорил о здоровье, о погоде, о его, Муратова, планах, потом проводил к председателю Совета Министров. С этим человеком Муратову приходилось встречаться на совещаниях, а однажды он был у него на приеме по важному делу. Тогда председатель произвел на Муратова впечатление человека, знающего лесное дело. «Наверное, хотят провести в моем лесхозе какое-то совещание или семинар», — думал Габит Салихович, входя в кабинет председателя. Пожимая руку Наки Махмутовича, Муратов краешком глаза увидел на большом столе председателя свое личное дело.

— Известно ли вам, Габит Салихович, зачем вызвали? — улыбаясь, спросил предсовмина, держащая в своей пухлой ладошке горячую ладонь Муратова.

Тот пожал плечами.

— Есть мнение предложить вам пост министра лесного хозяйства. Как вы на это смотрите?

Наки Махмутович отпустил наконец руку директора лесхоза и жестом пригласил сесть. Сел

и сам и, видимо, давая посетителю время успокоиться и сосредоточиться, раскрыл папку с его «делом».

— Ваш райком партии дает хорошую характеристику, с первым секретарем в прошлый его приезд я сам беседовал. Мы поговорили о вас, о ваших планах, побеседовал я и с нашим заведующим отделом. Они-то вас и сватают. Ну что, согласны?

Муратов потер переносицу указательным пальцем, вздохнул:

— Мало у меня административного опыта...

— Ну, это дело наживное, — поощрительно улыбнулся предсовмина. — Я тоже не в этом кресле родился. Опыт придет со временем. Да и мы поможем.

— Тогда можно попробовать.

— Так дело не пойдет! — отчеканил Наки Махмутович. — Мы вам доверяем такой высокий пост не для того, чтобы вы экспериментировали, пробовали: понравится — пойду, не понравится — уйду. Министерство лесного хозяйства — новая организация, тут работы непочатый край! Так что сразу же засучивайте рукава и приступайте. Задача ясна?

— В общих чертах.

— А в деталях вы ее изучите на месте. Айда к Батыру Галиевичу, представлю.

Но представлять Муратова Бакирову нужды не было. Габит Салихович познакомился с ним еще два года назад при обстоятельствах почти курьезных.

Под вечер, немного усталые, они с лесничим сидели в конторе одного из самых отдаленных лесничеств, и Муратов выговаривал ему за серьезные промахи, советовал, как их исправить, избежать в дальнейшем, как вдруг в проеме от-

крытой двери выросла мужская фигура. Заходящее солнце било в дверь, и неожиданного гостя рассмотреть было трудно.

— Хозяева дома? — густым басом спросил гость.

— Проходите, — нехотя предложил лесничий, недовольный и неожиданным приездом строгого директора, и неожиданным вторжением незнакомца. — У вас ко мне дело?

Незнакомец, кряжисто ступая, так, что трещали половицы, прошел к столу. Его крепкая, полнеющая фигура, крупная голова с редкими, зачесанными назад седеющими волосами кого-то Муратову напомнили, но кого, он так и не мог понять, потому сидел, гадая, кто же этот знакомый незнакомец?

— Если что хотите просить, вот директор, — боднул подбородком в сторону Муратова лесничий. Гость простодушно улыбнулся.

— Дров бы попросил, да в мою квартиру газ подвели, сена для коровы, так и козы нету, а больше что с вас взять? — незнакомец развел руками. Но видя, что хозяева рассматривают его с хмурым недоумением, ближе шагнул к столу:

— А дело у меня к вам все-таки есть. — Протянул руку. — Давайте знакомиться. Бакиров. Еще называют Батыром Галиевичем.

Муратов, который никогда перед начальством не робел, на мгновение опешил, а бедный лесничий вообще потерял дар речи. Ведь незнакомец был не кто иной, как первый секретарь обкома!

— Простите, Батыр Галиевич, — пробормотал Муратов, подвигая гостю табурет. — Не узнал вас сразу. Видел всего один раз издали, в президиуме.

Бакиров сел, прищурился:

— А я узнал вас сразу, товарищ Муратов. Запомнил по одному выступлению на совещании. А что вы меня не узнали, вина не ваша, моя. Меня ведь запоминают в основном те, кто на бюро нахлобучку получает... А вы вроде бы не из тех, кого надо ругать.

— Да уж ругать мы научились, — проворчал осмелевший лесничий, еще не отошедший от трудного разговора с директором.

— Ругать, говорите? — повернулся к лесничему секретарь обкома. — Мы и хвалить за последнее время научились. Так нахваливаем, что иного хоть святым объявляй! Впрочем, Габит Салихович, — посмотрел он на Муратова, — и это вам не грозит. Не очень удобный вы руководитель для захваливаний. Все чего-то хотите перестроить, против повышенных планов заготовки леса воюете, какие-то деньги на воспроизводство леса требуете. Не так ли?

— Так, — собрался Муратов. — Из той огромной прибыли, что дает республике и всей стране наше лесное хозяйство, не грешно было бы определенный процент тратить на здоровье леса.

— На здоровье леса? — переспросил секретарь обкома. — Это вы хорошо сказали.

— Положение, Батыр Галиевич, складывается катастрофическое. Леспромхозы только рубят лес, не вкладывая ни копейки в его воспроизводство. Это при их-то технике, людских ресурсах, средствах! Даже простое наше требование не соблюдают: ездить в лесу по одним и тем же набитым колеям. Нет, прут куда глаза глядят, лишь бы короче, ломают деревца, уродуют почву, а прикрикни на них, они в ответ: у нас план! Лес — это бумага, это валюта! Не стойте поперек дороги, сомнем. И ведь сминают, Батыр Галиевич, смина-

ют все наши инструкции, добрые начинания и намерения!

Бакиров слушал это с мрачным лицом, на его лбу от нахмуренных бровей залегла глубокая поперечная борозда. Муратов спохватился.

— Простите, Батыр Галиевич, что не успели вы порог переступить, а я с жалобами. Уж слишком много боли накопилось в душе, а выплеснуть ее некому.

Секретарь обкома вскинул широкие брови:

— Вот как? Плохой же вы коммунист, товарищ Муратов, если не знаете, к какому доктору идти с вашими болячками.

— А к кому? Обком, простите за прямоту, занят больше промышленностью, зерном, мясом, молоком, до леса его руки не дотягиваются, «Башлес» же думает, как бы побольше кубов свалить, чтобы и отрапортовать вовремя и премии получить. В нашем лесхозе, например, два леспромхоза ежегодно вырубает сотни гектаров многолетних деревьев, не посадив взамен ни одного! А что может сделать лесничий с тридцатью работниками, людьми в основном престарелыми, да двумя никудышними тракторами! В лесном деле, Батыр Галиевич, просто жалобой в обком, Совмин или еще куда повыше порядок не наведешь. Нужна радикальная перестройка, нужно новое мышление, новое отношение к лесу. Пока же он гибнет.

— В этом мы все виноваты, товарищ Муратов, и вы, работники леса, в том числе. Мы там, наверху, — Бакиров ткнул пальцем в потолок, — действительно больше озабочены другими проблемами, лесоводство долгое время считали делом второстепенным. Планы по лесозаготовкам выполняются? Выполняются. Значит, все в порядке. Оказывается, не все. А вы виноваты, что не бьете

в колокол, не вносите конкретных предложений. Как бы лично вы, товарищи лесовики, посмотрели на организацию республиканского министерства лесного хозяйства?

— Это же мечта! — вырвалось у Муратова. — Наконец-то над лесом будет один хозяин!

— Это то, чего мы ждем давно, — добавил лесничий.

Бакиров крикнул, прошелся по комнате, прогибая половицы.

Вот и мы так думаем. Уверен, нас поддержит Москва... Теперь скажите мне, товарищ Муратов, каким видится вам лесное дело, так сказать, в идеале?

Габит Салихович с жаром высказал свои давние мечты, не преминул изложить и нужды своего лесхоза. Бакиров слушал внимательно, не кивая и ничего не записывая.

Через двадцать дней в лесхоз пришла разнарядка на получение двух новых тракторов и мощного двигателя для цеха обработки дерева. Муратов понял, что первый секретарь запомнил их разговор, но, конечно же, не знал, что при обсуждении кандидатуры нового министра в обкоме была названа и его фамилия...

И вот теперь Муратов входил в кабинет Бакирова. Секретарь обкома встретил посетителей, выйдя из-за стола, протянул широкую ладонь председателю Совмина, потом пожал, как старому знакомому, руку Муратова.

— Ну вот, Габит Салихович, у вас появилась возможность претворить свои идеи в жизнь. Согласны?

За Муратова ответил предсовмина:

— Да вроде бы не против.

— Ну и отлично. Мы вас, товарищ Муратов, рекомендовали Совмину на этот пост потому, что

на своей нынешней работе вы хорошо себя зарекомендовали, да и, не скрою, потому, что у меня из головы не шел тот разговор с вами. Надеюсь, не подведете?

— Постараюсь, Батыр Галиевич...

— Да вы садитесь, хотя разговор у нас будет недолгим.

Они уселись за общим столом, и Бакиров, сцепив мощные крестьянские ладони на столе, покрутил большими пальцами.

— Вашу программу бережного отношения к лесным богатствам областной комитет и Совет Министров республики поддерживают и одобряют. Но вы сами говорили, что инерция мышления велика, поэтому будьте настойчивы. Если возникнут какие-то препоны, вопросы, не стесняйтесь, обращайтесь к Наки Махмутовичу, ко мне. Сейчас вопросов ко мне нет? Тогда начинайте работать. А в понедельник прошу на бюро...

Сев за стол министра, Муратов сразу же почувствовал, что работы у него, действительно, непочатый край. Министерство уже существовало полгода, но не было укомплектовано надежными кадрами, да и как сразу узнаешь, надежен или ненадежен работник, если не проверил его делом? Был у Муратова заместитель по строительству, который перешел из «Башлеса». Мужчина вроде бы грамотный, опытный, исполнительный, но скоро Габит Салихович заметил, что его заместитель способен лишь передавать его же, министра, приказы, сам он начисто лишен инициативы, то ли за долгие годы хождения в замах в «Башлесе» ее в нем убили, то ли от рождения ею не обладал. В беседе с предсовмином министр рассказал о своем огорчении. Наки Махмутович согласился:

— Если человек, на которого ты рассчитываешь, только и ждет понукания, а потом понукает других, это не единомышленник. Подбери себе другого зама.

Муратов уже подобрал. Он назвал преподавателя института сельского хозяйства Хамитова, которого знал еще в те годы, когда тот был объездчиком, лесничим, потом главным лесничим соседнего лесхоза. Хамитов был влюблен в лес. Работая в лесном хозяйстве, написал на основании личного опыта диссертацию по выращиванию сосны в питомниках, с блеском ее защитил, а потом уже перешел (без особого желания) на ученую кафедру. И хотя сначала ректор института упорно не хотел отпускать знающего специалиста, доказывая, что у Хамитова нет административной жилки, он-де до мозга костей кабинетный ученый, в обкоме и Совмине скоро раскусили нехитрый прием ректора, взяли Хамитова (с его согласия) в новое министерство.

Новый зам, напичканный идеями, жадный до практических дел, к тому же высококвалифицированный специалист, оказался настоящей находкой для Муратова. Теперь Габит Салихович мог, не боясь, оставить на день, на два, неделю министерство, чтобы получше познакомиться с положением на местах, оказать непосредственную помощь, изучать свои кадры, узнать думы и заботы своих подчиненных.

Выезжали на места и организованные Хамитовым ученые комиссии. В их задачу входила не только инвентаризация лесного хозяйства, но и чисто научные изыскания: что в каком регионе лучше растет, дает большую отдачу? Раньше во всех лесничествах на месте старых вырубок дружно сеяли сосну, справедливо рассуждая, что она — лучший строительный материал. Но беда-то была

в том, что сосна в зависимости от климатических условий и почв не везде приживалась. Во многих лесничествах через год-два после посадки дерева гибли. На их месте высевались новые, и все начиналось сначала. Люди на местах знали, что у них испокон века лучше всего растут дуб, липа, береза, даже осина, но никак не сосна, к их же доводам не прислушивались, высокомерно обвиняя старожилов в заскорузлости мышления, в непонимании ценности (против березы и липы) и скороспелости (против дуба) строевой сосны. Гибель посадок чиновники объясняли неумением и нежеланием толково работать с нужным строительству деревом...

С организацией министерства, с приходом в него специалиста по сосне Хамитова эту порочную практику стали ломать. За опытом комплексного использования лесных богатств, научного воспроизводства леса Муратов выезжал в соседние области, в республики Прибалтики и увидел там много ценного. В лесхозах Коми АССР росли комбинаты по производству товаров народного потребления, что давало значительную прибыль, в Карелии высаживали в грунт не однолетние растения сосен, а четырех-, пятилетние — учли суровый климат, в Прибалтике пробовали наладить комплексное ведение лесного и охотничьего хозяйств. С горечью Муратов убеждался, что лесное дело в родном Башкортостане запущено, требует коренной перестройки. Впрочем, и во всей стране положение с лесоводством оставляло желать лучшего, научные формы ведения хозяйства внедрялись трудно, над здравым смыслом довлел пресловутый вал. Свои соображения он высказал в статье, которую опубликовала газета «Лесная промышленность». На коллегии министерства лесного хозяйства РСФСР ему дали сло-

во, но он от него отказался, сказав, что основные свои мысли изложил в статье, а тут хотел бы послушать других.

Заседание коллегии прошло бурно. У Муратова нашлось много единомышленников, озабоченных, как и он, судьбой российских лесов...

Побывав вскоре в Чехословакии и ГДР, Муратов стал рассказывать своим коллегам и подчиненным, как налажено лесное дело у наших друзей. Больше всего Муратова поразила чистота их лесов — ни одного гниющего валежника, ни одного сухого дерева, даже большой ветки. Все отходы идут в дело — на создание плит, отопительных брикетов, удобрений, потому чехи и немцы получают с каждого кубометра леса прибыль в пять-шесть раз больше нашей. Охотоведение и лес у них в прямой взаимосвязи, строго налажен учет дичи, ее отстрел и воспроизводство, потому на каждом шагу встречаются зайцы, куропатки, лисы.

На словах все в республике восхитились постановкой лесного дела за рубежом, приветствовали предложения министра использовать этот опыт в Башкортостане. На деле же... Первыми начали чинить всякие препятствия охотинспекция и руководители общества охотников и рыболовов. Понимая, что, согласившись на комплексное использование лесных богатств, они теряют самостоятельность и бесконтрольность, рьяные охотники как дулами двустволок ошетинились старыми инструкциями, доводами. Зачем ломать давно сложившийся порядок, при котором промысловики отвечают за план добычи пушнины, дичи, а лесники за воспроизводство леса? Мы вам не мешаем возиться с вашими саженцами, и вы нам не мешайте отстреливать то, что нам нужно, то, что требует страна!

Нашлись противники объединений и в самом Совете Министров. Муратов изложил свою идею заместителю председателя Совета Министров, в ведение которого входили и природные ресурсы. Тот с непроницаемым лицом выслушал, пообещал подумать, все взвесить и... полгода молчал. При встречах заместитель уклонялся от прямого разговора, а когда Муратов ему прямо сказал, что медлить больше нельзя, вспылил.

— Вы, молодой человек, должны понимать, что такие вопросы не решаются с бухты-барахты! Партия призывает нас к сокращению управленческого и административного аппарата, вы же вольно или невольно способствуете его раздуванию! Где прикажете взять специалистов в эти самые ваши объединения, базу, фонд заработной платы, наконец?

— Конечно, какие-то небольшие затраты неизбежны, — спокойно возразил Муратов, — но они окупятся сторицей. А основные же фонды, как и специалистов, надо перераспределить. Взять их в нашем министерстве, в госохотинспекции, у лесозаготовителей. Найдутся там и кадры. Ведь опыт братских социалистических стран, опыт прибалтийских республик показал, что только комплексное освоение лесных богатств дает ощутимую отдачу!

Зам поиграл тонкой улыбочкой, опять обидно назвал Муратова «молодым человеком»:

— Не все, что хорошо у соседа, надо копировать, — назидательно сказал он. — На моем долгом веку внедрялись всякие новшества, сулившие золотые горы, а на деле оказалось — пшик! Так что не будем спешить. Еще раз посоветуемся со специалистами, прикинем наши возможности, в том числе и финансовые, потолкуем в Москве, а там и будем решать.

Это Муратова не устраивало. Он понял, что многоопытный бюрократ решил утопить в пучине «согласований и увязок» хорошую идею, по крайней мере отодвинуть ее реализацию на неопределенное время. А приближалось утверждение финансового плана на будущий год. Значит, если в нем не будет оговорено создание объединений, их финансовая основа к трем годам борьбы прибавит еще год бессмысленной траты сил на доказательство очевидного.

Поняв, что старый заместитель из тех, кто, как черт лаdana, боится всяких новшеств, Муратов попросился на прием к Бакирову (председатель Совмина был болен), но первый секретарь не смог его принять, а в отделе обкома не решились взять на себя ответственность, не зная мнения первого, потому отфутболили настырного министра к ученым, в филиал Академии наук республики. А там у Муратова давно было много единомышленников. Они-то и снабдили его нужными данными. Промучившись несколько ночей, Габит Салихович написал большую статью о проблемах лесного хозяйства Башкортостана, связался с корреспондентом «Правды» по Башкирии. Тот одобрил статью, но предложил вычеркнуть фамилии и имена людей, противящихся новшеству. «Не будем мельчить, — убеждал собкор, — это проблема не только наша, но и всей страны. И... не будем гусей дразнить»

Но «гуси», прочитав его статью в самом высоком органе ЦК КПСС, гневно загоготали. Не успела газета со статьей лечь на стол строптивного министра, как позвонил тот самый заместитель и, не здороваясь, прошепелявил:

— А вы, оказывается, молодой человек, решили не считаться с нашим мнением?

— Ваше мнение еще не всеобщее мнение, —

сдержанно ответил Муратов. — Да и что мне оставалось делать, если хорошая идея губилась на корню?

— Мы еще поговорим с вами, — с угрозой сказал тот и положил трубку.

И — поговорили! Сначала его корили в отделе обкома за то, что вынес сор из избы, потом с ним строго беседовал один из секретарей обкома, называя обращение в «Правду» нетоварищеским, даже непартийным поступком. Хмур был на совещании лесоводов и Батыр Галиевич, хотя идею Муратова сдержанно одобрил. После совещания, где выступили многие защитники новшества, Бакиров пригласил его в кабинет, еще раз внимательно выслушал, потом сказал, что в скором времени бюро обкома партии примет по этому вопросу соответствующее решение, а пока надо в порядке эксперимента создать два-три новых объединения...

Да, нелегко давался Муратову высокий министерский пост. Люди, привыкшие ждать указаний сверху, смотрели на него, как на опасного чудака и идеалиста, другие видели в молодом министре выскочку и карьериста, метившего выше нынешнего поста.

Одним из таких противников был директор Иманкуловского лесхоза Козин. Вчера он позвонил из Стерлитамака, доложил, что там приняли заказ на изготовление решеток для будущего вольера и потребовал внушительную сумму денег для оплаты изделий.

Конечно, без денег ничего нельзя сделать. Правительство республики разрешило израсходовать часть прибылей министерства для перестройки лесного хозяйства, но ведь дело не только и не столько в деньгах, сколько в том, как они будут израсходованы, с каким умом, с каким сердцем.

Козин явно не желал внедрения новшества, поэтому ему все равно, на что и сколько потратить государственных денег. Такие, как он, не желают заглядывать вперед, отлично понимая, что там, в далеком будущем, их не будет, а значит, и их нынешние усилия не будут вознаграждены. Потомки же, уверяют они, вырастут умнее и грамотнее нас, тогда что-нибудь и придумают. Может, они вообще перестанут нуждаться в лесе, дичи, рыбе, перейдут на пластмассы, соевые шашлыки и синтетическую черную икру, а кислород станут добывать электрическим или иным путем из воды. Но все это отговорки! Защита природы это не только вопрос физического выживания, но и выживания морального. Природа — мать, природа — красота, и гибели в ней материнское начало, гибели красота, погибнет человечество!

Понимает ли это Козин? Пожалуй, понимает, не дурак ведь, но опять-таки для него вся эта фантастическая картина бездуховного апокалипсиса — дело далекого будущего, которое он никогда не увидит, не почувствует. Значит, надо сейчас жить только для себя...

Муратов повертел в руках выструганную доску. Она весело лоснилась и пахла смолой, будто кто-то вдохнул в нее лесную душу...

На заранее вкопанные столбы под яблоней он прибил доски, оглядел свою работу и остался ею не очень-то доволен. Захотелось стол сделать круглым, но плотницкий опыт Муратова был еще мал, и он в раздумье теребил подбородок. Подбежали дети: четырехлетний Ямил и Таслима — ей шел третий годик. Ямил залез под стол и радостно крикнул:

— Папа, папа! Это ты мне дом построил?

— Нет, сынок, это стол будет.

— А разве на улице столы бывают?

— Бывают. Разве ты не видел у дедушки Уразметова такой же?

— У дедушки — круглый!

— И у нас будет круглый.

А малышка Таслима тащила его за штанину к малиннику.

— Папоцька, папоцька, айда кусать малину.

Муратов взял ее на руки, подбросил, поцеловал.

— Бери, доченька, ведерко и пока собирай сама, а потом я тебе помогу.

— Холосо! — девочка радостно убежала, за нею — братик.

Муратова осенила простая мысль.

Он вбил посередине стола гвоздь, привязал к нему шпагат, на другом конце которого приладил химический карандаш. Этим импровизированным циркулем очертил круг и начал неторопливо отпиливать... Когда последний кусочек доски упал, он удалил заусеницы рубанком, отполировал края и поверхность наждачной бумагой, отступил на шаг, прищурил глаза, оценивая свою работу. Позвал:

— Мастура! Мастура! Иди скорее сюда!

Жена прибежала из кухни с ложкой, с которой капали рубиновые капли варенья:

— Что такое? Пожар, что ли?

— Гляди-ка!

Мастура осмотрела стол, тепло улыбнулась:

— Ах, Габит! Вон какой ты, оказывается, мастер! По-моему, зря ты министерское кресло протираешь, шел бы в плотники, тебе бы цены не было!

Габит Салихович рассмеялся, привлек к себе жену:

— Вот как ты заговорила! А то все пилила: люди и то делают, и это. Как видишь, и твой

муж кое на что способен! — Мастура чмокнула его в щеку.

Подбежала Таслима со стаканом малины, протянула ручонки:

— Папа, папа, я здесь покусая.

Так как скамеек пока не было, отец посадил ее прямо на стол и взялся за лопату, чтобы копать ямки под столбики скамеек, но в это время послышался добродушный знакомый голос:

— Вон они где, оказывается, прячутся!

За калиткой, увитой хмелем, стоял улыбающийся Саюшев.

— Никита Барович! — обрадовался Муратов и, раскинув руки, пошел встречать гостя. Обнялись. — Каким ветром?

— Да, можно сказать, попутным.

— Ну, проходи, проходи... Скамейки не успел сделать, так что пойдем-ка в дом.

Но Саюшев задержался возле нового стола, непритворно удивился:

— Неужели своими руками? И эти наличники, фронтоны?

— А ты думал как! Не боги горшки обжигают, — похвастал Муратов.

Саюшев покачал головою с какой-то тихой завистью. У него дачи не было.

В домике на стенах, шелеванных обожженными и покрытыми лаком досками, царили чистота и уют. К месту была здесь и репродукция знаменитой картины Шишкина. Лучи солнца через небольшое окошко падали прямо на морду озорного мишки, стоявшего на бревне, отчего казалось, что добродушный звереныш вот-вот затопает мохнатыми ножками.

Чуть пониже и в стороне от картины ветвились лосиные рога, вешалка, в углу на явно самодельной этажерке стояли томики Пушкина, Толстого,

Тургенева, Леонова, Пришвина, Есенина, Солоухина, Пескова, башкирских и татарских писателей... На верхней полке стопками лежали папки с надписью на корешках «Интересные факты такого-то года».

Будто оправдываясь перед гостем, хозяин сказал:

— По лесному делу я здесь книг не держу. Я ведь сюда отдохнуть приезжаю, забыться...

Саюшев добродушно засмеялся:

— Ай-хай! Когда каждая вещь в доме, каждая книга на полке говорит о лесе, можно ли не думать о своей работе!

Муратов махнул рукой.

— Через эти книги я смотрю на нее как через поэтическую призму...

— О! Неужто вы тут, в своей глуши тайно стихи пишете?

Габит Салихович тоже засмеялся:

— Да нет, до этого еще дело не дошло, но ведь, Никита Барович, настоящий лесник в душе своей всегда поэт! И мне все кажется, будто вот это я сам написал.

Поглаживая по корешку томик Есенина, Муратов с чувством продекламировал:

...Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь,
Тот почти березке каждой
Ножку рад поцеловать...

— Ах, как хорошо! — вырвалось у Саюшева. Он не очень любил стихи, но сейчас ему показалось, что это сказал не Есенин, не Муратов, а он, Саюшев, влюбленный каждой кровиночкой сердца в свой прекрасный, неброский, суровый край.

— Габит! — послышался насмешливый голос Мастуры. — Уж не собираешься ли ты нашего

дорогого гостя угощать одними стихами? Ну-ка, айда к столу!

...Когда плотно поели, расставив стулья вокруг нового стола (хозяева все напоминали гостю, что и эти помидоры, и огурцы, и рассыпчатая картошка, и малина выращены их руками), попили душистого чая с липовым медом и клубничным вареньем, мужчины присели на диван.

— Ну, Никита Барович, теперь выкладывай, зачем приехал? — предложил Муратов. Саюшев пробовал отшутиться:

— А просто так, нельзя, что ли?

— Знаю я тебя, — усмехнулся Габит Салихович, — на *просто так* у тебя нет времени.

Саюшев вздохнул.

— Что верно, то верно... Рекомендуют заметить Юлдашбаева.

Муратов даже привстал.

— Кто?

— Ваш лучший друг, тот самый заместитель Наки Махмутовича.

— Да уж друг... — Муратов покачал головой. — И чем же ему не угодил наш старик?

— Дней двадцать тому назад приехал этот зам в наш район и начал распекать Барыя Максютовича: то не так, это не так, ну а старик за словом в карман не лезет, вспылал, наговорил резкостей. Зам и сделал выводы. Действительно, в прошлом году сев затянулся — так ведь не только у нас весна была поздняя! — в двух колхозах пало много скота, строительству вольера слишком много внимания уделяем, а фермы ремонтируются медленно, заготовки леса снизили... Короче говоря, в районе всегда можно найти причины, чтобы обвинить председателя исполкома во всех бедах... Честно говоря, Юлдашбаев последнее время подустал. Видно, годы все-таки сказываются...

— Сколько ему?

— Пятьдесят восьмой. Но на пенсию его провозжать рано — есть еще порох в пороховницах у старика! Так этот зам покати́л на него бочку в Совмине, убедил Наки Махмутовича, что Юлдашбаев — был конь да изъездился, нашлись люди и в областном комитете партии, которые того же мнения.

— А ты-то почему молчал?

— Я не молчал... Но в их рассуждениях доля истины все-таки есть. Сейчас, когда такие большие дела предстоят, на месте председателя исполкома нужен человек более энергичный, более грамотный. Конечно, эти два года до пенсии Юлдашбаев мог бы дотянуть с пользой для общего дела. Но что решают два года?

Муратов посмотрел на товарища осуждающе.

— Многие решают! Каково человеку осознать, что он теперь не нужен?

— Да нужен он, очень нужен! Только в другом качестве. Я и приехал, чтобы посоветоваться: а не передвинуть ли его на пост директора нашего лесхоза? Он ведь по рождению и образованию — лесовик, работал директором, так что...

— Сейчас другие требования, да и Козина куда?

— Уверен, Юлдашбаев справится. А Козина... Что ж, от Козина тоже отказываться не следует. Предложим ему пост главного лесничего. Все-таки, надо ему отдать должное, лесное дело он знает.

Муратов посидел в задумчивости, щуря глаза.

— Мда... Обидим сразу и Юлдашбаева, и Козина...

Секретарь райкома строго посмотрел на министра.

— Они коммунисты, Габит Салихович... А личные обиды... Что ж, по-человечески их понять можно, особенно Юлдашбаева, но он не из тех, кто хнычет.

— Ну что ж, — Муратов поднялся, прошелся по крошечной комнатке. — За откровенность спасибо... И я открою один секрет. Генеральным директором организующегося у вас лесного объединения будем рекомендовать моего боевого зама Хамитова. Думаю, ваш райком партии с этой кандидатурой согласится?

— О! — потер руки Саюшев. — Лучшего человека и желать нечего! Он укрепит наш партийный актив.

— Только не думай, — погрозил Муратов пальцем, — что я вам отдаю его навсегда. За два-три года наладит дело, подготовит себе хорошую смену и вернется назад.

Секретарь райкома сдержанно кивнул, а Муратов продолжал:

— Об одном прошу, Никита Барович, уделяй больше внимания лесному хозяйству.

— Да мы и так...

— Знаю, знаю, — поднял ладони министр, — но ведь за всякой текучкой можно кое о чем и забыть. Спрашивают-то с тебя в первую очередь все-таки не за лес... Но без помощи вашей партийной организации начатое нами дело может погибнуть в зародыше. Помогите поскорее закончить вольтер, построить в Иманкулове ремонтную мастерскую. Без нее и Хамитов наплачется. Поможешь?

Саюшев снова кивнул.

— Вот и хорошо. Скоро, думаю, опять приехать в ваш район, там и решим окончательно, кому быть директором лесхоза.

Никита Барович хотел было заикнуться, что вопрос вроде бы решен, кандидатура Юлдашбаева не вызывает сомнений, но спохватился. Все-таки директор лесхоза — это номенклатура министра, райком может лишь рекомендовать, настаивать, а в конечном счете решать ему, Муратову. Да и хозяин вдруг перевел разговор на неожиданную тему:

— Как у тебя дома? Что... Решился?

Никита Барович пожал плечами:

— Рамиля, небось, сидит, клянет меня... Значит, нормально.

Но Саюшев слукавил, не захотел плакаться в тужурку. Дома давно уже все было ненормально, и причину охлаждения к нему жены, ее раздражительности и даже в последнее время какой-то безразличной неряшливости он никак не мог понять.

IX

Внезапный приезд ревизора не удивил и не испугал Гильмана. Дело есть дело, может, ревизор даже окажет какую-то помощь, вскроет недостатки. Когда Тулькусурин принимал лесничество, он толком все не проверил и лишь на днях, после инцидента с Хайри Рафиковым, приказал своему главному бахгалтеру сделать ревизию лесопильного цеха. Вчера комиссия закончила работу, сегодня напишут акт, и дело Басирова — верить ли этому акту или еще раз перепроверить все самому. Гильман уже достаточно изучил характер своего главбуха. Это был старый и опытный работник, честнейший человек. Такой ни на какие компромиссы с тем же жуликом, начальником лесопилки Хайри, не пойдет. Конечно,

какие-то недочеты в работе всегда найдутся, но самое главное — приписок, фиктивных нарядов — этого никакой строгий ревизор при всем желании обнаружить в хозяйстве Тулькусурина не сможет.

Вот почему Гильман был спокоен.

Но первый же разговор с Басиловым, которого Гильман знал как человека добродушного, непридирчивого, насторожил лесничего. Ревизор был исполнен каменной многозначительности, угрожал «все перевернуть вверх дном», потребовал документы проверок и отчетность за пять прошедших лет. Во дворе Басилов ткнул пальцем в дубовые бревна и строго спросил, почему они здесь валяются. Гильман пояснил, что бревна эти изъяты у охотника Мурзабая Шамова по акту, их решено отдать больнице сегодня, потому нет смысла перевозить их на лесосклад.

— Значит, самовольная порубка? — хмуро спросил ревизор.

Гильман пожал плечами.

Басилов нагнулся, придирчиво осмотрел комли бревен, хмыкнул:

— А где же клеймо СП?

— Я же пояснил, что подрубщика поймал его сын лесник и они вдвоем привезли их сюда.

— Порядок есть порядок, товарищ лесничий, — важно проговорил ревизор, — на ворованном лесе обязательно должна быть пометка СП — самовольная порубка. А так, докажите мне, что это те самые бревна, что вы отняли у порубщика!

— Да чего же тут доказывать! — возмутился Гильман. — Об этих бревнах все лесничество знает, да и товарищеский суд над Мурзабаем Шамовым на днях будет.

— Покажите мне копию документов, переданных товарищескому суду.

Лесничий развел руками.

— Я их еще не оформил. Ведь вопрос об этом решался только вчера в сельсовете.

— При чем тут сельсовет! — вскричал ревизор. — Лес наш, а не сельсовета. И нам за него отвечать. Вам лично, товарищ Тулькусурин! Какого числа срублены эти дубы?

Гильмана начал всерьез злить этот вопрос. Чего Басиров привязался к этим злополучным бревнам? Других, более важных дел нету, что ли? Еле сдерживая себя, он ответил:

— Дней пятнадцать тому назад.

— Вот видите! — поднял палец вверх ревизор. — Вы даже толком-то и дату не знаете. А между прочим, если в течение пятнадцати дней ворованные бревна не промаркированы, если не составлены никакие документы, вы не имеете право привлекать преступника к ответственности. Вы об этом знаете?

— Нет, — выдавил Гильман.

— Незнание закона не оправдание, — отчеканил ревизор, — своей расхлябанности. Теперь я с полным основанием могу написать в акте, что вы эти дубы хотели употребить для своих целей.

Тут Гильмана прорвало:

— Пишите! Черт с вами, пишите, что хотите!

— Я, товарищ Тулькусурин, представитель государственного контроля, — в голосе Басирова зазвенел металл, — и прошу на меня не кричать!

— Гильман Ильгамович, — поспешил на выручку бухгалтер, — есть же акт, составленный Гайсаром Шамовым... Покажите его.

— Не считаю нужным! — отрезал Гильман. — Окажите товарищу ревизору, — кивнул он на обиженно надувшегося Басирова, — всяческую поддержку, — и хотел направиться в школу, но бухгалтер взял его за локоть.

— Надо срочно подписать одну бумагу, Гильман Ильгамович. — По его умоляюще-настороженным глазам Тулькусурин понял, что бухгалтер хочет поговорить с ним без Басирова.

— Что ж, пойдёмте, — кивнул лесничий.

Дверь своего кабинета бухгалтер плотно приотворил и даже закрыл на ключ.

— Плохо дело, Гильман Ильгамович, — выдохнул он, промокая широким платком залысины. — Вот, — подал он бумагу, — обнаружили в пилоцехе более сорока кубометров сосны, семь с половиной кубов половой доски. Во то же время не хватает семьсот тридцать пять штакетников.

— Откуда взялся лишний лес? — удивился Гильман.

— Хайри утверждает, что двадцать три куба — лесхоза и по личному указанию Козина. Их не велено трогать. Остальные семнадцать кубов, говорит, образовались в результате неправильных замеров при приемке, а доски, мол, — школьные. Не успели вывезти.

— Но я не выписывал в этом году школе леса, — возразил Гильман, — и не давал разрешения, чтобы Киньябаев завозил какие-то бревна для распиловки. Откуда же они взялись?

Бухгалтер пожал плечами и опять промокнул лысину.

— Я сейчас пойду в школу и все выясню у Киньябаева, — поднялся Гильман. — А вы срочно напишите акт проверки по лесопилке.

— Гильман Ильгамович, — неуверенно начал главбух, — может, этот лес и доски, ну... лишние кубы пока не...

Лесничий посмотрел на него так, что тот осекся и вытер платком враз вспотевшее лицо.

— Не ожидал, агай, я этого от тебя.

Лицо бухгалтера побелело. Он снял очки, снова надел их, потом опять снял.

— Гильман Ильгамович, — заговорил он, еще больше волнуясь. — Вы меня, по-моему, достаточно хорошо изучили... Не в моих правилах идти на подлог. Но намерения Басирова мне ясны. Он приехал к нам не по графику, не по своей воле, и придирки его не случайны. Басиров из тех, кому прикажи — раздуют из мухи слона.

— Все равно, пишите все, как есть.

— Гильман Ильгамович!..

— Все, как есть! — твердо сказал Гильман. — А с этими бревнами и досками разберемся. Не такая это уж трудная задача.

...Возле школы пионеры строились на линейке. Был уже здесь и Ханов. Киньябаев подобострастно ему объяснял:

— Ремонт в школе, считайте, заканчиваем. В классах покрашены полы, так что поговорим здесь, на вольном воздухе.

Гильман удивился. Если ремонт в школе почти закончен, даже полы покрашены, зачем же, как утверждает Хайри, школе еще семь с половиной кубометров половой древесины? Но решил вопрос свой задать директору после линейки.

А тот уже говорил:

— Товарищи учащиеся! Вы знаете, что наша школа в этом году с честью выполнила план по сдаче металлолома, макулатуры, успешно трудимся мы и в нашем школьном лесничестве. Но партия и народ призывают нас идти дальше, по пути дальнейшего укрепления связи науки с производством. Последние решения пленумов ЦК и сессии Верховного Совета Союза ССР ставят перед нами трудные, но почетные задачи в деле перестройки...

Киньябаев говорил, а Гильман наблюдал за реакцией детей. Слушали дети обкатанную, как голыш, гулкую, как пустая бочка, речь своего директора невнимательно. Перешептывались, толкались, щипались, смотрели в небо.

Ханов хмурился. Он не любил высокопарных слов, произносимых к месту и не к месту, да и времени у раиса не было, чтобы разводить демагогию.

— Вы, которые будете жить в коммунистическом обществе, — заливался Киньябаев, — должны сегодня помогать нам строить его для вас.

Директор набрал полные легкие воздуха, чтобы продолжать речь, но Ханов горячо зааплодировал, и очнувшиеся от своих развлечений многие дети горячо ударили в ладоши. Киньябаев смешался, но понял, в чем дело, похлопал сам, а когда аплодисменты стихли, предоставил слово Ханову.

— Ребята, — просто начал раис. — От вас требуется большая помощь.

Ученики оставили свои шалости и все обратились в слух.

— Начинается самая жаркая пора лета. В это время, как вы знаете, у нас разгар сенокоса, все взрослые выезжают на заготовку сена, а в деревне остаются лишь малыши да старики. Вспомните, сколько у нас в такую пору бывает пожаров!

Школьники недружно загудели.

— Вот мы и решили обратиться к вам, — продолжал Ханов, — чтобы вы взяли на себя трудную ответственность: беречь деревню и лес от огня. Установить круглосуточное, по два пионера, дежурство на каланче.

Дальше Ханов рассказал, как он мыслит себе структуру пионерской пожарной дружины, на что обращать самое пристальное внимание, пояснил,

куда срочно обращаться, если замечен подозрительный дымок. И в конце пообещал наиболее отличившимся вручить ценные подарки.

Детское любопытство ликующе прорвалось наружу.

— А что подарите?

— А как узнаете, кто лучший?

— А кто нами будет руководить?

Ханов добродушно усмехнулся:

— Что подарим — пока секрет, иначе вам будет неинтересно работать. Но уверяю, подарку обрадуется каждый, его заслуживший, хотя не забывайте пословицу: подарок не бывает большим или маленьким. Подарок бывает подарком. Как мы узнаем, кто лучший? Так вы же сами их нам и назовете. Надеюсь, что в число лучших не попадут те из ваших пожарников, кто спит на дежурстве, как пожарник.

Дети весело грохнули.

— А командовать собою будете вы сами. Вот изберите сейчас штаб, командира, и — за дело.

Гильман обратил внимание, как сразу же лица детей стали деловито-озабоченными, даже важными. Разбившись на стайки, они громко обсуждали кандидатуры, наконец избрали и штаб, и руководителей групп, и командира. Им оказалась девятиклассница, комсомолка. Нацепив красные повязки с белой надписью «Пожарник», первые дежурные тут же гордо разошлись по своим постам.

Тулькусурин решил сегодня перед детьми не выступать — и так все хорошо и внятно сказал Ханов.

Гильман обратился к директору:

— Киньябаев-агай, что же вы не забираете у нас ваши доски?

— Какие доски? — удивился директор. — В позапрошлом году мы распиливали два кубометра, так мы их забрали, все они ушли на ремонт школы.

— А разве в этом году не пилили?

— Нет. А что?

— Да ничего... ничего.

— Что-то, товарищ Тулькусурин, не понял я смысла вашего вопроса, — забеспокоился Киньябаев.

— Хайри Рафиков утверждает, что у него лежит семь с половиной кубометров ваших досок.

— С ума сошел! — возмутился директор. — Это он, товарищ Тулькусурин, хочет моим честным именем обелить свои черные делишки! Рафиков такой. Сегодня он скажет, что это доски мои, то есть школьные, завтра — сельсовета, а послезавтра и вообще — ваши! Лишь бы выкрутиться. Поверьте мне!

И Гильман поверил, ибо не знал, что за водку Киньябаев немало потаскал с двора лесничества в свой двор отличного леса. Не знал он и то, что вчера ночью Хайри в панике ворвался к своему давнему клиенту, предлагал ему почти за бесценку семь кубов отличной доски, лишь бы тот ночью вывез, только бы от них избавиться немедленно, однако умный Киньябаев все понял и от лакомого куска наотрез отказался. Теперь он разыгрывал возмущенную невинность.

— Я лично спрошу у этого беспутного пьяницы, почему он наговаривает на меня. Я на него в товарищеский суд подам! За клевету!

— Успокойтесь, Киньябаев-агай. Разберемся сами, а суд над Рафиковым на днях состоится. За его пьяные художества.

Они с Хановым вышли со двора школы. Гильман рассказал раису о придириках ревизора и по-

просил срочно вывезти в больницу эти злополучные дубовые бревна.

— Сегодня же дам команду, — пообещал Ханов. Некоторое время шли молча, и вдруг Ханов, глядя куда-то в сторону, кашлянул:

— Ходит слух, что ты живешь с Зубаржат. Это правда?

Гильман застыл как вкопанный. Ханов, взглянув на его побелевшее лицо, пожалел парня:

— Ты того... Не мое, конечно, дело, мужчина ты холостой, но начальник все-таки и у всех на виду...

В эти мгновения мысли одна лихорадочнее другой проносились в голове Гильмана. Неужто кто-то подсмотрел, когда Зубаржат у него ночевала? Сама разболтала? Но зачем?

Он еле из себя выдавил:

— Откуда такие сведения?

— Э, Гильман-кустым, — вздохнул Ханов. — Живем-то не в городе... Здесь о нас все всё знают.

— И все-таки?.. — тянул лесничий время.

— На вестях, рассказываемых на каждом уличном углу, метка не стоит, — уклонился Ханов. — Но Зубаржат, ладно, хотя по-хорошему, по-мужски, расписаться бы с нею надо... Жаль ее. Красивая девка и, считай, сирота... Но дело ваше... Только не про одну Зубаржат говорят. Дочь Козина, эта шоферка лихая, Нина, болтают, у тебя прошлую ночь ночевала?

— Вранье! — взревел Гильман и взревел от всего сердца, так как это действительно было наветом. — Она вечером была у меня, но уехала домой. Это легко проверить... — Гильман постепенно успокоился, соображал, кто же видел, что поздно вечером девушка была у него. Зубаржат! — решил он. Она могла возвратиться, подсмотреть и из-за ревности распустить среди баб

этот слух, пожаловавшись заодно на его неверность.

— Нину прошу не трогать, — твердо сказал Гильман. — Нина — моя будущая жена.

Теперь Ханов остановился и внимательно поглядел на лесничего.

— А Зубаржат? — наконец спросил он.

— С Зубаржат я разберусь сам.

Ханов пожал плечами и, не прощаясь, повернул к сельсовету, а Гильман почти бегом бросился к гаражу. В эти минуты он ненавидел Зубаржат. Какое ей дело до Нины? Чем он ей обязан? Тем, что переспал с нею? А она разве не спала с другими? Разве Гильман обещал ей что-то? Неужто она думает таким образом женить его на себе? Ах подлая! Он ей сейчас все выскажет! Все! И раз и навсегда оборвет гнетущую его связь!

Он летел на мотоцикле, не сбавляя на поворотах скорости. Дважды чуть не врезался в придорожные столбы, несколько раз мотоцикл заносило, и он чудом не опрокинулся. Скорее! Скорее к ней! Все ей, подлой, высказать!

Слепая злоба — плохой советчик в делах сердечных, но Гильман был разъярен настолько, что не попытался все взвесить, проанализировать. Он понимал, что слухи о Зубаржат рано или поздно дойдут до Нины и гордая девушка, несмотря на любовь к нему, отвергнет его, не посчитаясь, что Зубаржат была у него, когда не было ее, Нины, что та ночь была случайной, нелепой и единственной. А виновата во всем этом только она — Зубаржат!

Он без стука ворвался в дом Зубаржат. Девушка с матерью пили чай.

Удивление в широко раскрытых глазах девушки Гильман принял за испуг и еще больше

уверился в своей догадке. Она — сплетница, разлучница.

— Ты... ты... — начал он, не находя слов и не желая говорить все при старухе-матери. — Выйдем на минуточку!

— Что случилось, Гильман-агай?

— Выйдем, говорю!

Зубаржат поставила чашку с чаем, успокоила встревоженную матушку.

— Я сейчас, мама.

В чулане, приперев спиною дверь, она испуганно обратилась к Гильману:

— Что с тобою? На тебе лица нет.

— Лица? А у тебя сердца нет! Совести нет! — вскричал Гильман, сжимая кулаки. Девушка инстинктивно отшатнулась. Гильман спрятал руки в карманы, покусал губу:

— Не бойся, не ударю... Руки не хочу марать о такую мразь!

— За что ты меня так?.. Опомнись, Гильман! Ничего не понимаю, — девушка приложила ладонку ко лбу.

— Не понимаешь? Разболтала всем, как соблазнила мзя, а теперь хочешь стать между мною и Ниной?! Думаешь женить на себе? Не выйдет!

— Да что ты мелешь! — в отчаянье вскричала Зубаржат. — Какая Нина?

— Если еще болтнешь хоть слово, язык твой вырву! — рявкнул Гильман и, круто повернувшись, выбежал.

Зубаржат, ничего не соображая от оскорблений и бессвязных слов Гильмана, шатаясь, вошла в комнату, рухнула на койку и разрыдалась. Она рыдала, не слушая пугливых вопросов и увещаний матери, и все думала: что же случилось? Что все-таки случилось?

А случилось вот что.

Мурзабай понял, что в открытом бою ему лесничего не одолеть. На стороне внука проклятого Тулькусурь были и местные жители, и райком — райисполком, и даже сам министр! Но главное (в этом в глубине своей души Мурзабай со злобой признавался) — на стороне лесничего была правда. Однако правда эта — кость поперек горла старому охотнику. Кто опозорил Мурзабая, поймав его с утаенными шкурками? Кто отнял, как у мальчишки, ружье и разбил его? Кто натравил на него родного сына? Все он, Тулькусурин! Прав лесничий или не прав — плевать на это! Главное — от него никакого житья нет, никакого спокойствия! Как с ним расправиться? Как ему отомстить?

Опытный интриган, Мурзабай прекрасно понимал, что жаловаться на лесничего — пустое дело, орать-оскорблять, тем более бросаться с кулаками, нельзя. Все-таки он власть и прав, черт бы его побрал! Остается одно — опозорить его и сделать это надо чужими устами.

«Человек — не ангел, — рассуждал ушлый браконьер. — Гильман — холостяк, ему уже под тридцать, и не может быть, чтобы не водил в свою квартиру местных или приезжих девушек. Узнать бы кого...»

И Мурзабай каждый вечер, вернувшись из лесу, где он каждый день проверял капканы на крота, делал засаду у конторы лесничества. Вооружившись биноклем, он терпеливо всматривался в окна квартиры ненавистного врага. Ночи проходили за ночами, но никого к себе Тулькусурин не приводил. Охотник проклинал его, поки-

дая в полночь место засады. Он уже было хотел совсем отказаться от своей затеи, как вдруг вчера ему крепко повезло! Сначала он увидел во дворе лесничества ладненькую Зубаржат, которую этот медведь тискал в своих ручищах, а она висла на его шее, потом приехала на грузовике дочка Козина, огонь-девка. Она не вошла в его дом, выпила воды, и они куда-то уехали, но по тому, что лесничий не запер дверь, Мурзабай понял: они возвратятся. И они возвратились. Весело балагурия, вошли в дом, зажгли свет. Сквозь занавески браконьер отчетливо видел их силуэты. И эту Гильман тискал, даже носил на руках, и эта висла у него на шее.

Время было позднее, Мурзабаю надоело сидеть в своей засаде, и он потопал домой. Да и что ему еще надо было? Останется дочка Козина ночевать у лесничего или нет, какое это имеет значение! Главное: лесничий Тулькусурин, этот моралист, этот правдолюб, этот чистюля, — тут Мурзабай даже с ожесточением сплюнул, — морочит головы сразу двум девушкам, одна из которых — дочь сурового Козина. Если характером в отца — не простит, когда узнает о сопернице. Да и Зубаржат палец в рот не клади — откусит. Вот и останется Тулькусурин на бобах. Погнался за двумя зайцами, а — ни одного! От этой мысли браконьер радостно потерял руки и прибавил шаг... Опять же, пойдут слухи по деревне, а деревенским бабам только дай поговорить! И коммунисты за аморалку спросят, а уж Козин... Козин просто пришибет! Был такой лесничий Гильман Ильгамович Тулькусурин и — нету!

Утром Мурзабай немало подивил жену тем, что сам собрался проводить скотину в стадо (обычно это делали по его приказанию дети), но он на недоуменный взгляд Габиды хмуро бурк-

нул, что хочет посмотреть, хорош ли бык в стаде, так как их телке скоро гулять.

Пустив скотину в общий гурт и не взглянув даже на быка, Мурзабай присоединился к группе стариков, которые судачили о деревенских делах. Но не их слушал старый интриган. Чуть в сторонке в гомонливую стаю сбились женщины и старухи. У них свои разговоры. Большие уши охотника, словно локаторы, чутко ловили обрывки их разговоров.

— Дочь моего соседа Ахтяма выходит замуж за Шарифа, слышали?

— Так они же уже давно спят вместе!

— Нынче расписываются.

— И-и! Современная-то молодежь как теперь? Сегодня расписались, завтра — разошлись.

— Не все, не все. Вон Ярми возьмите. Уж какой был недотепа, к кому только не сватался — все отказали. Привез из города девушку, домину отгрохал, уже три года живут в согласии, она вторым ходит.

— Это уж от человека зависит.

— Да чего же нынче не жить, бабы? Заработки хорошие, машины, мотоциклы, телевизоры. Женись да живи.

— А вот не женятся! Взять нашего лесничего. Уж тридцать скоро, а он все холостякует.

Тут Мурзабай покашлял, бочком подступил к бабам:

— Есть слух, что и он собирается жениться.

Женщины немедленно повернулись к нему, выразив на лицах величайшее любопытство, загалдели по обыкновению.

— Мужчина видный!

— В отца.

— При достатке и в гору идет.

— Шутки ли — ученый человек.

— И на ком же это он?

— Да, — кашлянул интриган, — уж и не могу сказать. Он, наверное, пока и сам не знает.

— Как это? — опешили женщины.

— Сначала, говорят, крутил любовь с нашей Зубаржат...

Женщины дружно ахнули.

— ...дочерью Фагили, а теперь вот охмуряет русскую, вроде бы дочку самого директора лесхоза Козина.

— Шофершу?

— Уж не знаю, кто она. Слыхал, вроде вчера приезжала какая-то на грузовике, ночевала у него. Только, может, все это брехня.

— Точно, точно, бабоньки! — радостно запищала какая-то старушка. — Я вчера дотемна козу искала — забежала она, испугавшись грозы, так возле лесничества грузовик стоял!

— Ай, ай, ай, ай! — запричитали женщины. — Бедная Зубаржат, несчастная сиротинушка!

— Сама-то из себя, как яблочко.

— Чего еще ему надо?

— На начальникову дочку потянуло, на русскую.

— Тьфу! Тьфу! Бесстыжий. А еще ученый.

— Да ученые, они, бабоньки, все такие.

Посмеявшись в усы, Мурзабай побрел прочь, а женщины еще долго перемывали косточки распутника лесничего. Сплетня была пущена, дело было сделано. «Да и какая, в сущности, была эта сплетня? — оправдывал себя Мурзабай. — Разве он сказал что-то не так или настаивал на сказанном?»

А вечером, возвращаясь домой с удачной охоты на кротов, он намеренно свернул к магазину якобы за тем, чтобы купить махорки и хлеба. И услышал там от женщин, что к Зубаржат уже

трижды сватались, но она дала сватам от ворот поворот, вон, оказывается, почему: на лесничего надеялась. А у лесничего-то в Уфе есть жена и трое детей. Нет жены у лесничего, настаивала другая, у них уже все сговорено с этой шофершей Ниной, дочкой самого Козина. Конечно, сговорено, коли спят в одной постели.

Старый интриган знал, на какую почву сыпать семена клеветы. Гильман хотя и родился здесь, но рос на стороне да и сейчас жил на отшибе от всех, потому был для деревенских женщин человеком без прошлого, таинственным и странным. Им давно хотелось узнать о нем какие-либо подробности, не о его работе, конечно, а о его личной жизни, но она была за семью печатями, и вот тебе — пожалуйста! Такие подробности — с ума сойти можно! Культурный, смирный, ученый... Недаром же говорят: в тихом омуте черти водятся.

Мурзабай протискивался сквозь толпу женщин. Даже прикрикнул на них, чтобы не болтали, чего не знают, но они же набросились на него, доказывая, что знают. Кто-то видел, как заходила в комнату лесничего Зубаржат, а кто-то видел машину дочери Козина ночью у конторы, а если он, Мурзабай, как крот, ничего не видит, то пусть другим рты не затыкает.

Купив хлеба и махорки, улыбающийся до ушей Мурзабай притопал домой, ласково обнял Габиду, чем окончательно потряс жену, и потребовал большую кружку браги.

* * *

После обеда на работу Зубаржат не пошла. Всхлипывая, она размышляла о причине ярости

Гильмана. Почему он вспомнил какую-то Нину? Уж не та ли это девушка-шофер, которая улыбнулась сй из кабины грузовика, когда она, счастливая после слов Гильмана, бежала к себе домой? Ба, да это же та самая девушка, что приезжала весной за досками! Зубаржат тогда еще в шутку приревновала Гильмана к ней, а, оказывается, вон какие шутки! «Не становись между мной и Ниной!» — так, кажется, кричал Гильман.

Зубаржат вытерла слезы, встала с постели. А почему она не должна бороться за свое счастье? Почему эта самая Нина (Зубаржат в душе уже возненавидела ее и окрестила «стервой») имеет на Гильмана больше прав, чем она, Зубаржат? Зубаржат знает его ласки и помнит их. Правда, помнит и ярость Гильмана, когда он понял, что она не девушка. О горе, горе! Но был ли Гильман первым у Нины и был ли с нею вообще, как с Зубаржат, как с женой? Отдать его ей? «Ну это мы еще посмотрим, посмотрим», — бормотала она, поднимаясь с кровати. Что «посмотрим», она не знала, а пока подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Глаза красные, нос распух, лицо измято, волосы растрепаны...

Она стала быстро приводить себя в порядок. Мать, страдая, допытывалась:

— Что же случилось, доченька?

— Ничего, мама, ничего. Просто душа переполнилась печалью, вот и вылилась слезами. Прости.

Старая Фагиля из-за немощи дальше своего двора никуда не ходила и деревенских сплетен не знала. Но сердцем матери она чувствовала: между лесничим и ее дочерью что-то было, а теперь между ними случилось что-то страшное.

Та по пустякам слезы не роняла. Но врожденное чувство такта, всегда присущее деревен-

ской женщине-матери, не позволило ей допытываться, еще сильнее беречь душу дочери, поэтому она только покачала головой, вздохнув: «Ах, доченька, доченька...» — и стала неторопливо убирать со стола.

В другой раз Зубаржат ни за что бы не позволила больной матери заняться хозяйством, но сейчас ей было не до посуды. Хотелось побыть одной. В таких случаях она всегда шла на бережок реки Каратау-Айры, что текла за их картофельным полем, и там предавалась своим думам.

Она присела на плоский камень именно на том месте, где много лет тому назад дед Гильмана, знаменитый батыр Тулькусур, перебрался через быструю реку, взял на руки свою любимую Сажиду, прижал к измученному сердцу. Не могли разрушить их любовь ни наветы, ни каторга, только время стерло и унесло все. О многом могли бы рассказать Зубаржат эти камни, эти старые ракиты, если бы умели говорить. Да, это была настоящая, большая любовь.

Течет река... Равнодушно несет далеко-далеко свои голубовато-синие воды. Так текла она в годы Тулькусуры, так течет и сейчас, но нет у Зубаржат той любви, что была у возлюбленной знаменитого батыра, той, которая молодит, радуется... Есть Гильман, но он не принадлежит ей, Зубаржат, он грезит другой...

Зубаржат смотрела на воду, в которой играли мальки, и вдруг увидела голову небольшого налима, притаившегося под камнем. Налим явно караулил какую-либо беспечную рыбешку, и Зубаржат показалось, что этот хищник — Нина, а малек она — Зубаржат. Ничего не ведая о сопернице, Зубаржат наслаждалась своей любовью, трепетно ждала зова любимого и вот...

Она взяла камень и со злостью запустила в налима. Когда вода успокоилась, ни налима, ни мальков не было...

С той стороны неширокой речушки донесся сильный хруст. Девушка вздрогнула, подняла голову. Прямо перед нею стоял Гайсар. В руках у него была переломанная палка.

— Вот... поломалась,— смущенно пояснил он, зачем-то показывая ей палку. — С работы я возвращаюсь, вижу — ты сидишь... Засмотрелся я...

— А чего на меня смотреть? — фыркнула Зубаржат, раздосадованная появлением смешного ухажера. — Я не кино.

— Да ведь...

— Ну, смотри, коли хочется. За погляд денег не берут. — Она бросила несколько пригоршней воды в лицо и, не оборачиваясь, пошла в свой огород.

Гайсар постоял минутку, поглядел ей вслед, вздохнул и поплелся домой.

Несколько раз порывалась Зубаржат выйти на улицу и все удерживала себя. Ей казалось, что вся деревня уже знает об их отношениях с Гильманом, что все будут на нее показывать пальцем, жалеть. Она до конца не понимала, зачем рвалась сейчас к оскорбившему ее Гильману, и все-таки рвалась... Объясниться, понять, сказать, что эта стерва падет в его объятия только через ее, Зубаржат, труп. Что даст такой разговор, она не хотела и думать, просто страшная мука, давившая на сердце и душу, была так невыносима, что хотелось рыдать и биться о землю головой...

Обойдя деревню кружным путем, она ступила во двор лесничества. Рабочих уже никого не было видно, но дверь кабинета лесничего была открыта. Она потянула ее на себя, заглянула — никого. Значит, Гильман был дома.

Без стука она вошла в его комнату. Гильман одетый лежал на койке. Ей показалось, что он не дышит, и она испуганно приблизилась к нему, но тут же отскочила. Гильман рывком сел, свесил ноги с кровати, покосился на нее и опустил голову.

Лишь возвратившись от Зубаржат, он узнал, что девушка не виновата, что сплетни эти распространил на выгоне Мурзабай. Все это, смущаясь и волнуясь, рассказал ему бухгалтер, жена которого в то утро тоже выгоняла корову. Услышав эту весть, Гильман проклял себя за горячность, за подлость, ушел с работы и рухнул на койку. Он забылся в кошмарной дреме и не слышал, как вошла Зубаржат, да и, признаться, не ожидал, что после его оскорблений она к нему придет. Теперь он не смел поднять на девушку глаза. Мурзабай, конечно, подлец, хотя и сказал вроде бы правду. Попадись Гильману старый интриган сразу после сообщения бухгалтера, лесничий разорвал бы его на части, но, подумав, помучившись, поостыв, он пришел к выводу, что все-таки виноват во всем случившемся сам. Было так больно, так мучительно стыдно перед Зубаржат, перед Ниной, хоть в петлю лезь.

Он поднял виноватые глаза на девушку, снова опустил их, и все обидные злые слова, что готовы были сорваться с ее уст, застряли у нее в горле. Уж больно виноватый и измученный вид был у Гильмана. Но вдруг ей представилось — он и Нина, как ярость снова вскипела в ее сердце.

— Сидишь, думаешь о той русской?

— Что? — поднял он голову.

— Думаешь о своей Нине? — еще резче крикнула Зубаржат.

Он несколько мгновений молчал, потом пробубнил в пол:

— Прости меня, Зубаржат...

Девушка опешила.

— За что?

— За все. Особенно за сегодняшнюю грубость... Нет, подлость... я ведь думал, что эту сплетню ты разнесла по деревне.

— Какую сплетню? — изумилась Зубаржат, и Гильман понял, что она еще ничего не слышала от деревенских баб.

— Ладно... узнаешь еще... Только прости меня.

Зубаржат, сбита с толку, немного подумала:

— Я все тебе могу простить, но то, что ты спутался с этой стервой Ниной...

— Не смей так о Нине! — ударил по спинке койки кулаком Гильман. Девушка испуганно отшатнулась. — Я люблю ее, и она будет моей женой!

— Вот как! — взъярилась Зубаржат. — А ты обо мне подумал? О том, что я люблю тебя? Что ты свет очей моих? Что ты дал мне надежду на свою любовь?

— Прости...

— Ну нет уж... Этого я не прошу... И Нина гвоя падет в твои объятия только через мой труп! Запомни!

Сказав это, она топнула ногой и вышла, громко хлопнув дверью. Гильман уткнул лицо в ладони: «О, боже! Да в чем же я провинился? Разве не клял я себя за ту минутную слабость, не показывал всем видом этой славной девушке, уже однажды обманутой, что не люблю ее?»

Но другой голос ехидно говорил: а разве ты нашел в себе мужество все ей сказать честно? И о Нине? И Нине о ней? Кого ты жалел? Их? Ты себя жалел! Ты хотел удовольствия, получил его? Так вот, дорогой, за все надо платить.

О, боже!

Нина обещала приехать к полудню, но вот уже окончен рабочий день, а ее все нет. Что случилось? Неужели и до нее уже дошли эти слухи?

Гильман решительно поднялся, сполоснул лицо холодной водой и пошел в контору. Она была пуста. Лесничий из своего кабинета набрал номер диспетчера промкомбината, спросил, не отправляли ли сегодня косцов в Каратау.

— Уехали еще утром, — ответила диспетчер. Чувствуя, что, по обыкновению, она тут же бросит трубку, Гильман умоляюще заторопился:

— Девушка, миленькая, а кто их повез? Не Козина ли?

— Вам-то это зачем? — подозрительно спросила «девушка».

— Да по делу. Из лесничества это...

— Их повезли на другой машине. У Козиной мать заболела, вчерашней ночью ее госпитализировали.

Раздались частые гудки. Гильман немного посидел, сжимая трубку в руке. Вот оно что... Мать в больнице... Не зря она вчера так волновалась.

Услышав за стеною, в кабинете бухгалтера, голоса, лесничий удивился. Ему-то показалось, что контора пуста. Оказывается, здесь были ревизор Басиров и бухгалтер, которые подбивали итоги ревизии по пилоцеху.

— Как дела, товарищ Басиров? — нарочито бодро спросил Гильман. — Небось, обнаружили какие ошибки, недостатки? Что ж, будет нам с Батыром Султановичем, — кивнул он на поникшего бухгалтера, — наука.

— Мы все на ошибках учимся, товарищ Тулькусурин, — строго сказал Басиров, — не то, что я обнаружил у вас, не ошибки.

— А что же?

— На мой взгляд, злоупотребления, преступление.

— Вот как?

— Да так. Когда чего-то не хватает, то это не более как недостача. Может быть, и ошибка. Но когда на производстве лишние дефицитные материалы, как это прикажете квалифицировать?

— Надо еще разобраться, почему образовались эти лишние материалы.

Басиров покачал головой.

— Я не следователь. Мое дело все в акт вписать.

— Вот и вписывайте! — рассердился Гильман. — А то вы что-то, я вижу, все пугаете меня... Вписывайте!

— Впишу, не беспокойтесь. Прошу обеспечить меня завтра транспортом и сопровождающим для проверки состояния новых насаждений.

— Батыр Султанович, — обратился лесничий к бухгалтеру, — передайте технику Яппарову, что он завтра в распоряжении товарища Басирова. Возможно, меня утром на оперативке не будет.

Он больше не стал продолжать разговор, вышел из конторы и направился к вольеру.

На душе скребли кошки.

Х

Сначала Ишмурза не поверил своим глазам: у рощи паслись два лося! Один, красавец-самец, — его, но откуда взялась молодая красивая лосиха? Как она попала сюда, в вольер? Неужто прыгнула через ограду!

Боясь спугнуть красавицу-гостью, Ишмурза стал наблюдать за зверями с порога своего домика.

Лося играли! Самец, набычив голову, делал устрашающий выпад, а самочка, ничуть не ис-

пугавшись, подставляла безрогую головку с белой звездочкой посередине, и самец осторожно прикоснулся ветвистой башкой к ее головке, потом отскакивал, фыркая и мотая головою. Вот самец, обежав вокруг своей подруги, вдруг рухнул на передние колени, уткнул морду в землю и замер, нетерпеливо пофыркивая. А самочка, еще, видимо, неопытная, совсем молоденькая, взбрыкнула тонкими ножками, замерла возле могучего поверженного перед нею друга, не решаясь подойти ближе. Ишмурзе показалось, что лосиха с укором смотрит на лося, будто говорит: каких еще ты от меня доказательств моей любви требуешь? Не ты, а я тебя отыскала, сумела преодолеть забор, пришла к тебе. Зачем ты стал на колени? Выражаешь покорность? Или это твой каприз? И что я должна делать?

Но вот самочка, подрагивая голенастыми длинными ногами, осторожно приблизилась к самцу, понюхала его, потом стала лизать щеки, глаза, губы лося. Тот фыркал от удовольствия, поворачивая к ней то одну, то другую сторону морды. Лосиха потерлась лбом о его рога и положила голову на его холку. Некоторое время они так стояли — самец на передних коленях, и самочка чуть сбоку от него, и казалось, что они не дышат, что идет у них сердечный бессловесный разговор. Ишмурзе чудилось, что самец всей своей покорной позой говорит подруге: «Видишь, как я люблю тебя, как обожаю тебя и подчиняюсь тебе? Долгое время я был одинок и в муках звал тебя, и вот ты пришла. Не уходи же! Не делай меня несчастным!» А самочка: «Я слышала твой зов и за тридевять земель, отсюда я искала тебя и нашла. Я вижу, какой ты сильный, добрый и ласковый. Я никогда не покину тебя».

Вдруг лось фыркнул, вскочил на ноги и ша-

ловливым козленком заскакал вокруг подруги, радостно тряся и помахивая головой. Знать, понял безмолвную речь лосихи, и она его поняла, потому что тоже весело заскакала, игриво тычась головкою в его бока.

Сделав большой прыжок, лось поманил взглядом подругу и помчался в рощу. Лосиха заторопилась следом.

Ишмурза просветленно вздохнул. Вот ведь как в природе! Звери и те находят друг друга, несмотря на расстояния, разницу в годах и всяческие заборы. Бессознательный инстинкт продолжения рода властно притягивает их друг к другу. А что же человек? Он наделен правом выбора, свободой воли, и это прекрасно! Однако это же право заставляет его быть привередливым, недоверчивым. И все-таки в надеждах и разочарованиях находит то единственное, к чему тоже, возможно, подсознательно стремится всю жизнь.

Не всякий человек и не всегда. Ишмурза снова вздохнул: «Лось нашел себе пару, а я живу как одинокий волк. Где же моя подруга?»

Он прошел вдоль ограды вольера и довольно скоро обнаружил место, где перепрыгнула лосиха. Возле склона холма, почти на самом углу были сломаны две штакетины, на целых висели клочья лосиной шерсти. Тут она прямо со склона и перепрыгнула. Ишмурза усмехнулся, пробормотав: «Чего ждешь с неба, есть на земле», — имея в виду при этом обещание начальства завезти лосей в вольер из дальних краев.

Увидел он и зверей. Они прятались под тенистым дубом. Теперь лосиха стояла, зажмурившись, а лось лизал ее морду. Ах, видела бы это Фарида! Последнее время Ишмурза все время ловил себя на мысли, что думает о ней постоянно. Она как-то заслонила собою образ Рамили, ко-

торый преследовал его всю жизнь, и Ишмурза не знал, радоваться этому или печалиться! Ведь в сущности Фарида была для него так же недосыгаема, как и Рамиля. Конечно, Ишмурза в глубине сердца чувствовал, что девушке из Уфы он не совсем безразличен. Однако относил это на счет обычного женского любопытства и желания нравиться мужчинам. Последнее время Фарида стала более деятельной. Видимо, идея создания вольера сильно захватила ее, поскольку она сказала, что даже собирается писать диссертацию на эту тему. Пока она ходила с Янтурой в самые дальние уголки леса, заносила в блокноты топографические данные и по ночам что-то чертила. Раньше девушка равнодушно наблюдала, как Ишмурза готовит обед (обедали они здесь, возле домика), или сидела, уткнувшись в книжку, всем своим видом показывая, что это не ее дело, да и есть ей не хочется, позовете — приду, а не позовете — обойдусь и так. Но вот уже несколько дней подряд она охотно помогает Ишмурзе, хотя видно (маменькина дочка!), готовить совершенно не умеет, однако хорошо, что интересуется, как варятся всякие супы, жарится мясо, а после обеда моет посуду, благо, для этого особого умения и не надо.

Однажды Ишмурза поймал хариусов и испек их по своему рецепту в золе. Девушка ела с аппетитом и восторженно хвалила Ишмурзу, говоря, что ничего подобного раньше не пробовала. Теперь она нет-нет да и намекала, что не мешало бы еще отведать печеной рыбы, но дни пошли трудовые, суматошные, не было минутки, чтобы вырваться к речке, попетлить. Сегодня время есть, но прошел дождь, вода, конечно, мутная, и Ишмурза крепко сомневался в удаче. Впрочем, после полудня можно будет попробовать.

Вольерщик вспомнил, что у него не готова коса, а завтра, пожалуй, начнется сенокос, если подсохнет. Он выстругал рукоять, отшлифовал ее сначала куском стекла, потом наждачной бумагой, положил сушить, достал с чердака новую косу, попробовал ее на палец, потом на ноготь, поцокал языком. Ох уж эти современные ширпотребовские косы. Кто их только делает и из какого железа! Если эту косу хорошенько не отбить, ни один оселок ее не возьмет. Янтура недаром сызмальства учил своих детей крестьянской работе. Была у Ишмурзы маленькая наковальня и аккуратный молоток, и хотя давно он кос не отбивал, приладился, дело пошло. Далеко окрест по роще, по молодой дубраве, по воде лесной речки понеслась-полетела-поплыла заливающая песня молотка и наковальни.

Ишмурза отбивал косу старательно, зная пословицу: мужик хвалится, а коса косит. Но припомнилось ему и другое: не котел варит, а баба. Значит, все зависит от человека: какой бы он работающий и сноровистый ни был, дай ему плохое орудие труда, и он много не поработает. С другой стороны, если ты ленив, не спасет тебя и хороший инструмент. Больше семи лет не брал косу в руки Ишмурза, а опозориться на сенокосе нельзя. Несомненно, на него, «лесного человека», будут глядеть другие, будет глядеть и Фарида...

— А я думаю, кто это такие звонкие песни распевает? — услышал он рядом насмешливо-певучий голосок и чуть не ударил себя по пальцу. Поднял голову. Рядом, улыбаясь, стояла Фарида. Одета была она сегодня по случаю невольного выходного дня почти празднично: черная юбка выше круглых колен, белая блузка-безрукавка, на ногах — босоножки.

— Да вот... косу отбиваю. Раньше не доводилось видеть?

Девушка хохотнула.

— В городе трамвай и троллейбусы сена не едят.

— Надо научиться косить самой. Лесник должен уметь все делать.

— Может, со временем вы меня заставите и бревна пилить? Пни корчевать?

— И это надо уметь. Но бог с ними, с бревнами. Хочу сообщить вам радостную новость.

— Какую?

— О, по нашему обычаю, за радостную весть положено вознаграждение.

— Ах, ее ухо? Так, кажется, говорят.

— Ладно. Сойдет и ухо. Пошли посмотрим, что там за радость.

Фарида уже поняла, что за внешней суровостью вольерщика, отсидевшего семь лет, скрывается чистая, деликатная душа. Сначала она побаивалась его, но теперь смело шла следом в темную чащу. По едва заметным тропинкам они продирались сквозь кусты довольно долго, и девушка не вытерпела:

— Куда вы ведете меня, Ишмурза-агай?

— Тсс, — приложил палец к губам вольерщик. Указал пальцем на поляну, где паслись лошади. — Смотрите!

— Ах! — тихо воскликнула Фарида. — Откуда пришла эта прелестная лосиха?

Ишмурза пожал плечами.

— Пришла. Ну, что? Не зря я просил вознаграждения.

— Чем же вас наградить? Не ухо же резать, на самом деле? Если хотите, режьте.

— Ладно. Вознаграждение потом. А лосиха пришла, видимо, издалека, в углу вольера перепрыгнула через забор.

— Через такой высокий? — ахнула Фарида.

— А чему тут удивляться! Ее позвало сердце, позвала любовь. А ради любви чего не сделаешь!..

Фарида с любопытством поглядела на него, но ничего не сказала. Они возвращались в вольер лесной дорогой. Деревья, отяжелевшие после ливня, роняли на землю тягучую, клейкую влагу, и девушка то и дело уклонялась от капель, опасаясь испачкать блузку. Иногда она нечаянно прижималась к своему проводнику, и в такие моменты тело Ишмурзы наливалось горячей упругой тяжестью. Чтобы не молчать, он сказал:

— Вот отобью косу и...

— И что тогда? — живо поинтересовалась Фарида, которую молчание тоже начало тяготить.

— И... — Ишмурза не знал, что сказать. Вдруг выпалил: — А пойдемте на рыбалку?

Фарида всплеснула ладошками.

— Конечно! Только, — она поглядела на свои босоножки, — берега сейчас, конечно, грязны...

— У меня есть еще одни сапоги...

— Не утону я в них?

— Не утонете.

— Что ж, попробуем... А бабушка Нафиса передала вам свежей сметаны. Она у меня в портфеле. Пригодится, да?

— Угу.

— Я, знаете, сидела, сидела дома, что-то тоска меня взяла, и работа валится из рук... Дай, думаю, проведу Ишмурзу-агая. И сама прогуляюсь... Вот, пришла.

— Правильно сделали.

От сознания того, что она все-таки пришла к нему, в душе Ишмурзы запело. С этим же

солнечным настроением он отбил косу, насадил ее на рукоять, приладил ручку, отточил лезвие оселком, потом, поплевав на ладони, сделал на полянке несколько взмахов. Травы ложились ровно и чисто. Ишмурза остался собою доволен, замурлыкал какой-то мотивчик. Он повесил косу на сук березы, надел резиновые сапоги, взял из-под крыши удилище с петлею, вторые сапоги с шерстяными носками подал молчаливо наблюдавшей за ним Фариде.

— Прикиньте.

Девушка с недоверием поглядела на огромные ботфорты.

— Может, я лучше босиком? — предложила она.

Ишмурза ляпнул:

— В уреме много змей.

— Ой! — вздрогнула Фарида. — Я боюсь. Я не пойду.

— Ядовитых почти нету, — поспешил вольерщик. — Но ведь и осока режет и крапива жжет. Наденьте,

Фарида напялила сапоги, отвернула голенища, повертела ногами туда-сюда, похмыкала.

— Я готова.

— Пошли.

...Они брели берегом реки по высоким мокрым травам, высматривая бочажки, где могла притаиться рыба. Ишмурза, как всякий лесной человек, ступал бесшумно, а его подруга в тяжелых ботфортах плелась сзади с шумом и треском.

— Вы так не только змей, всю рыбу распугаете, — с охотничьей досадой бросил Ишмурза.

— А что мне делать, если в каждом вашем сапоге по пуду? — оправдывалась девушка.

— Постарайтесь вести себя потише. Видите эти камыши? Я сейчас полезу в них, там после

дождя собираются мелкие рыбешки и возможна щука. А вы тихонько постоитесь здесь, — шепотом попросил Ишмурза.

— Хорошо, — так же шепотом ответила спутница, хотя и не поняла, как он в камышах собирается ловить рыбу.

Ишмурза осторожно раздвинул тростники и нырнул в них, как в омут. Сколько ни прислушивалась девушка, но так и не услышала ни шуршания, ни всплесков воды и только по шевелящимся молодым метелкам камышей поняла, что Ишмурза осторожно бредет по воде, высматривая добычу. Вот верхушки шевельнулись в конце зарослей и замерли. Девушка решила, что рыбака постигла неудача, но все-таки осторожно, стараясь не шуметь, пробралась к тому концу зарослей, пригнулась и увидела в просвет, что Ишмурза тоже пригнулся, ведя удилищем между тростниками. Вот он резко дернул удилище вверх, и на солнце засверкала, извиваясь в петле, большая щука.

— Попалась! — захлопала в ладоши Фарида. — Ура!

Ишмурза, подхватив щуку за жабры, выбрал с плеском на берег, бросил рыбину к ногам девушки.

— Везучая вы, Фарида! Теперь без вас на рыбалку не пойду.

Девушка между тем рассматривала извивающуюся на траве щуку, поднесла палец к ее зеленой башке. И тут же отдернула — рыбина разинула набитый зубами кровожадный рот.

— Боюсь! — пожаловалась Фарида.

Ишмурза, выстругивая палку с рогаткой, добродушно засмеялся.

— На земле ее бояться нечего, но и палец совать в пасть не советую.

Он посадил щуку на палку, протянул Фариде:
— Держите.

Девушка с опаской взяла импровизированный кукан, но, как только щука начала шевелить своим огромным коричневым хвостом, завизжала и бросила добычу.

А Ишмурзе, который на берегу настраивал удочку под хариуса, вспомнился такой же голос, такой же опасливо-восторженный девичий визг у этой же реки в пору далекой юности. Тогда была Рамиля. Вот так же она бродила за ним по берегу, шумела, визжала, цеплялась за травы и падала, радовалась его удачливости. Давно это было...

Ишмурза заметил, что на середине реки играет хариус. Он быстро смастерил удочку без поплавка — хариуса, особенно после дождя, надо ловить внахлыст — накопал под ивами десяток червяков и, спрятавшись за кустами, сделал первый заброс. И тотчас же удилище резко дернулось, Ишмурза подсек, и красавец хариус, радужно переливаясь, затрепыхался в воздухе.

Фарида хлопнула в ладоши.

— Оказывается, вы великий рыболов, Ишмурза-агай!

Ишмурза снял рыбу с крючка, бросил ее на берег:

— Посадите его на кукан к щуке!

Скоро он поймал еще четыре рыбины, и каждую добычу девушка встречала ликованием. Раньше ей не доводилось бывать на рыбалке и теперь она радовалась, что хоть со стороны познакомилась с этим азартным чудом.

— Хватит? — спросил Ишмурза, бросая шестую рыбину к ногам Фарида.

— А если поймаете больше, пойдем на базар продавать? — засмеялась девушка. Ишмурза оце-

нил ее шутку, выбросил остаток червей, оборвал с удилища леску, смотал ее. Фарида, приподняв кукан, любовалась пойманными хариусами. Их темные спинки, когда на них падали солнечные лучи, играли всеми красками радуги.

— Ах, какие красивые! — восторгалась Фарида, трогая пальчиками хариусов. Нечаянно она прикоснулась к голове щуки. Хищница угрожающе забила хвостом.

— Абау! — взвизгнула по-детски Фарида. — Она все еще живая!

Вот эта детская восторженность, это неподдельное восхищение, этот смех и крик толкнули Ишмурзу к девушке. Не отдавая себе отчета в своем поступке, он шагнул к ней, обнял сильными руками и надолго припал к ее полураскрытым, влажным губам. Под тонкой кофточкой он ощущал ее горячее тело, ощущал небольшие твердые груди... Видимо, от неожиданности Фарида сначала обмякла, потом вся напряглась, стала колотить его по широкой спине свободной от кукана рукой. Наконец, она рывком высвободилась, отступила на шаг и со слезами в голосе крикнула:

— Как вам не стыдно!

Бросив рыбу, она, всхлипывая, побежала в сторону домика, а Ишмурза еще долго стоял на месте, ощущая дрожь во всем теле. Потом он вздохнул, сел на бережок и стал себя казнить.

Ну что он наделал! Почему не сдержал себя, уступил бесу, который толкнул его? Какое было у него право на объятья, поцелуй, да и давала ли к ним повод Фарида? Теперь, конечно, она не будет с ним разговаривать, съедет с квартиры его родителей и пожалуется Гильману... Ах, дурак, дурак! Совсем одичал... Нужен он ей, бывший заключенный, сельский парень Ишмурза Бикмуратов! У нее, небось, полно ухажеров в столице...

Грамотных, умных... Что же теперь? В омут головой?

Он вздрогнул от ее голоса и, втянув голову в плечи, не посмел обернуться.

— Ишмурза-агай! — вторично позвала она его. Он вскочил. Девушка стояла шагах в десяти от него. — Вы здесь не ночевать ли собрались? — чуть насмешливо спросила она, и от этой снисходительной насмешки Ишмурзе стало легко, радостно. Он шагнул к ней.

— А рыбу свою камышовым котам оставляете? — с той же интонацией в голосе спросила Фарида.

Опрометью он бросился назад, схватил кукан и в два прыжка оказался рядом с нею. Только тут Ишмурза заметил, что девушка разулась, сапоги стояли в траве рядом. Молча он подхватил обувь, а Фарида пожаловалась:

— Больно они тяжелые и все время спадают с ног.

Вольерщик не ответил. Он шагал рядом, уставившись в землю, и девушка подумала, что ее спутник высматривает змей, а он боялся поднять на нее глаза.

Ишмурза бросил рыбу в плетеную корзину, занес сапоги в домик, решив помыть их, когда Фарида уйдет, а то, что она немедленно покинет его, он не сомневался, потому не торопился выходить наружу. Вздрагивающими пальцами распечатал пачку папирос, прикурил...

— Ишмурза-агай! — донеслось с надворья. — Несите воды! Рыбу надо помыть.

Это было сказано так просто, будто она обращалась к близкому человеку, что вольерщик сначала даже растерялся, выронил изо рта папиросу. Потом до него дошло, он схватил ведра и во весь дух помчался к реке. Сердце его ликовало! Зна-

чит, Фарида на него не очень обижается! Значит, домой она не уйдет!

...Уху они ели в полном молчании, а когда миски опустели, гостья поблагодарила:

— Спасибо за угощение, Ишмурза-агай.

— Фарида! — встрепенулся вольерщик. — Простите меня... На меня будто затмение какое нашло.

— Не надо об этом, — поморщилась она. — Прошу только, больше так не поступайте... Без позволения, — добавила она и лукаво улыбнулась.

Ишмурза повеселел совсем.

Потом они работали. Собственно говоря, работала одна Фарида, делая чертеж вольера и переноса на него всякие знаки. Ишмурза, затаив дыхание, наблюдал за ее пальчиками из-за ее спины. Работала она самозабвенно. Задумавшись над какой-либо буквой или значком, девушка выгибала правую бровь, надувала нижнюю губку и, посидев так мгновение, стирала резинкой написанное, исправляла. Ишмурза рядом с нею чувствовал себя человеком, подпирающим кривую березу. Наконец, это и она поняла, и потому сказала:

— Ишмурза-агай, не стоит ли вам пойти посмотреть, как устроилась наша гостья?

— Да, да, — поспешил вольерщик и тотчас же потопал к выходу.

— Поскорее ее приручите, — крикнула ему девушка вслед, — чтобы она не убежала!

«Она-то не убежит, — невесело подумал Ишмурза, — ее лось уже приручил... А вот ты не убежишь ли?»

...К вечеру в вольер пришел чем-то явно расстроенный лесничий. Внимательно осмотрев чер-

теж, он похвалил Фарида, и девушка смущенно зарделась.

— Когда закончите? — спросил он.

— Долго не затяну.

— Попрошу как можно скорее. В Уфе ждут наш проект.

— Понравится ли он? Может, они свой предложат?

— Мне не нужен кабинетный проект, — отрезал Тулькусурин. — Вы, как специалист, делаете его на месте, вот за него и будем драться.

Девушка от похвалы снова засмущалась. Ишмурза поспешил на выручку.

— К нашему лосю-то пара пришла, Гильман Ильгамович.

— Вот как! — обрадовался лесничий. — Это хорошее предзнаменование. Значит, дела наши пойдут на лад, коли за нас сама природа... — Он посмотрел на часы.

— Ого! Пора, друзья мои, в деревню. Мне передали, что возвратился Бикмурат-бабай, надо его нам провести. Вечером давайте сходим в клуб, а то мы в своем лесу совсем одичаем.

Ишмурзе показалось, что последние слова лесничий адресовал ему, и невольно поежился.

...Старый Бикмурат восседал на своем прежнем месте.

— Гей, сынки вернулись! — радостно крикнул он, поднимая руки, будто желая обнять всех сразу. — И соскучился же я по вас, словно не у своих был, а скитался за Кафской горой. Ну-ка, подойдите поближе.

Фарида впервые видела столетнего старца, о котором наслушалась столько легенд, потому наблюдала за ним с большим любопытством.

— Соколики мои, — любовно хлопал старик по широким спинам Ишмурзы и Гильмана, — при-

летели ведь повидать старого орла! Спасибо, спасибо... А это что за женщина у косяка двери? Уж не твоя ли жена, Ишмурза? Почему свадьбу справляли без меня?

Ишмурза смутился:

— Это не моя жена, дедушка... Это мой... товарищ по работе... А живет она временно у нас.

— Зачем говоришь временно? — гнул старый мудрец свое. — Пусть остается жить навсегда. Подойди ближе, милая.

Раскрасневшаяся Фарида подошла, потупившись.

— Как тебя зовут?

— Фарида.

— Красивое имя... И сама ты красивая и скромная... Дай бог тебе счастья, дочка.

Девушка не успела ответить, как в дверях появилась новая гостья.

— Рамиля-ханум! — радостно воскликнул Гильман. — Здравствуйте. Как хорошо, что вы приехали.

Поздоровался и Ишмурза, отметив, что Рамиля отчего-то сегодня печальная.

— В клубе сегодня концерт филармонии, — сказала она. — Вы не хотите пойти?

— Конечно, конечно, — обрадовался Гильман. — И дедушку с собою возьмем.

— Гей, сынок! Коли хочешь меня тащить на горбу, бери. Ноги-то мои совсем плохо ходят.

— Зачем на горбу? — весело воскликнул Гильман. — У меня есть железный конь по кличке «Урал», вот на нем и поскачем. — Он побежал в лесничество за мотоциклом.

Ишмурза, чтобы как-то растопить лед в глазах Рамили, поинтересовался:

— Давно приехали?

— Вместе с Бикмуратом-бабаем...

— Как дома дела?

Рамиля пожала плечами.

— Так... так... — потоптался Ишмурза. — Ну, вы идите собирайтесь, берите с собою и Нагиму-апай, пусть старуха в кои веки концерт посмотрит.

— А вы ей дрова перекололи... Спасибо.

— Пустое...

Рамиля вышла, а Ишмурза, умывшись и побрившись, стал облачаться в свой новый костюм, размышляя, отчего грустна эта красивая и будто бы счастливая в замужестве женщина. К удивлению своему, он не ощутил при этой встрече с нею тех радостно-больных уколов в сердце, что горько пронзали его раньше. Понял причину — Фарида. Усмехнулся, повязывая у зеркала галстук, — клин вышибают клином.

Когда, причесанный, в новом, ладно облегающем его костюме, он вошел в общую комнату, все ахнули, а Рамиля не могла оторвать от него взгляда, в котором Ишмурза прочитал и восхищение, и горечь. Он радовался, что Фарида, которая переодевалась в другой комнате, не видит этого взгляда, и стал торопить всех в клуб, тем более что к порогу подъехал на своем «Урале» Гильман.

Балагурившего старика они посадили в коляску мотоцикла, а сами всей семьей пошли следом.

На улице Рамиля неожиданно взяла Ишмурзу под руку. Парню стало и приятно, и тревожно. Взглядом он пошарил Фариду, нашел ее плетущуюся позади старух, позвал:

— Фарида! Айда к нам!

— Что это за девушка? — не утерпела Рамиля. Она обратила на нее внимание, еще когда вошла в дом, оценила ее молодость, чистоту лица, стать и... позавидовала. Что-то похожее на ревность и безотчетное глухое раздражение просну-

лось в ней, и почему-то со щемящей болью подумала: уж не жена ли это Ишмурзы? Но вопрос старика Бикмурата развеял ее опасение... Не жена... Тогда кто?

— Вместе работаем, — как можно беспечнее ответил вольерщик. — А стоит она у моих родителей на квартире. — И опять позвал девушку, которая продолжала плестись позади всех. — Фарида! Ну что же ты!

Девушка несмело подошла, Ишмурза познакомил их:

— Это Фарида, научный работник из министерства. А это Рамиля, наша соседка по огню. Теперь жена секретаря райкома...

— Оставь это! — прервала его Рамиля и взяла под руку Фарида. — Вы откуда родом?

Женщины быстро нашли общий язык и общих знакомых. Рамиля расхваливала родные места, а Фарида призналась ей, что сначала скучала, а потом полюбила этот край. Здесь такие чудесные люди, такой лес, такой воздух! А в реках еще есть рыба.

— Мы сегодня с Ишмурзой-агаем ходили на рыбалку, — похвасталась она, и Рамиля, мгновенно вспомнив ту, давнюю свою рыбалку, инстинктивно вздрогнула и прижала локоть девушки к своему бедру. Она поняла, что между этой девушкой и ее Ишмурзой протянулась невидимая нить, и не знала — радоваться этому или огорчаться. С одной стороны, хорошо, что наконец-то Ишмурза избавился от своего одиночества, с другой... Она росла с ним, была его первой любовью, и он был первой ее любовью, а вот теперь попадет в чьи-то чужие руки. Рамиля поймала себя на мысли, что всегда смотрела на Ишмурзу как на какую-то дорогую, принадлежащую только ей одной вещь, и горько усмехнулась.

А ведь ее к нему тянуло. Она и приехала сюда ради него, мечтала прийти в его домик в вольере, удивить и обрадовать его, отвести в разговоре с ним измученную хандрой душу... Выходит, опоздала...

...В клубе все они сели на одну скамью и люди, пока не начался концерт, шушукались, вставали со своих мест, чтобы увидеть столетнего бабая Бикмурата. Он последние годы редко появлялся на людях, теперь к нему подходили знакомые и незнакомые, почтительно приветствовали, спрашивались о здоровье.

— Гей! — неизменно отвечал старик. — Разменял вторую сотню, мечтаю ее дожить.

Люди толпились около него, и казалось, что пришли они сюда не на представление, а ради старого, мудрого бабая.

Ишмурза, стиснутый бедрами Рамили и Фарида, чувствовал себя тревожно.

К тому же он долгое время не был в клубе, и, когда люди стали пялиться на старика Бикмурата, ему почудилось, что это смотрят на него, хотелось вырваться из жарких тисков, бежать куда глаза глядят. Пот катил с него градом, но он, сжатый с двух сторон, не мог достать платок. На выручку пришла Фарида. Толкнув его в бок локотком, она протянула беленькую кружевную утирку. Ишмурза благодарно кивнул, промокнул лицо и тотчас же почувствовал облегчение.

...Каратаусцы, не избалованные вниманием артистов, принимали концерт с восторгом. Особенно понравилась всем маленькая певица. Никто и не предполагал, что у этой невзрачной пичуги такой сильный, душевный голос. Она одинаково хорошо исполняла и современные эстрадные и народные песни, а когда запела старинную тоскливую песню «Я люблю», Ишмурза невольно

так сильно сжал локоть Фарида, что та от боли поморщилась, но терпела до конца исполнения, и лишь когда раздалась аплодисменты, шепнула Ишмурзе: «Отпусти... Больно ведь».

Лишь Рамиля не слушала, не видела, что происходит на сцене. Ей, жительнице крупного районного центра, такие концерты были не в диковинку, но дело даже не в этом. Она чувствовала себя лишней среди этих, занятых собою, людей, она понимала, что никому из них нет дела до ее душевных мук, да и было бы, чем они могли помочь? Может быть, впервые она задумалась над тем, что совершенно беспричинно унижает и третирует своим демонстративным нежеланием заниматься хозяйством, презрительным молчанием ни в чем не повинного славного человека — своего мужа. В его любви Рамиля не сомневалась, но ведь и он не сомневался в ее любви, когда она согласилась на его предложение. Виноват ли он в том, что через много лет она встретила свою первую любовь — Ишмурзу, свое институтское увлечение — Муратова? Виноват ли Саюшев, что в ней вдруг проснулись какие-то непонятные ей самой чувства, вызвавшие вот это ее нынешнее отношение к мужу? Разве плохой семьянин Саюшев, разве работа его легка, разве, наконец, его вина в том, что у них нет детей? Вот он придет сегодня домой после всяких хлопот усталый, голодный, придет в свой дом, к ней, а дом замкнут, — она впопыхах даже забыла оставить ему ключ — она сама неизвестно где. Да и что хотела она от Ишмурзы? Душевного успокоения? Наивная мечта! Не будь этой славной девушки Фарида, ее свидание с другом детства и юности могло бы разбудить в Ишмурзе старое затухающее чувство, могло бы поколебать и Рамилю. Какое там уж душевное успокоение! Слава богу,

Ишмурза, кажется, влюблен всерьез в свою подругу, и она, — Рамиля видела, с какою заботою протянула ему Фарида свой платочек, — пожалуй, отвечает ему взаимностью. Дай им бог, как говорится!

Как только объявили перерыв, Рамиля тайком от всех покинула клуб. Жалость к себе, стыд за себя душили ее. И утешить ее мог только ее Никита. Он все поймет, как нынче поняла все она.

Рамиля, не видя дороги из-за нахлынувших слез, быстро шла к материнскому дому. Она твердо решила, пусть и ночью, а уехать сегодня же на любой попутке в Иманкулово...



Саюшев возвратился домой из Уфы к четырем часам дня. Наказав шоферу отдыхать, он, подхватив тяжелый портфель и авоську, набитые столичными гостинцами (из таких поездок Саюшев всегда привозил домой что-либо вкусное), толкнул ногою калитку. К его удивлению, она оказалась запертой. Он поставил вещи на землю, пошарил в карманах. Ключ от калитки нашелся, а вот ключ от квартиры — он точно помнил — остался лежать на его столике. Забыл.

Так и есть. Квартира оказалась замкнутой.

Саюшев недоуменно огляделся. Куда могла пойти Рамиля в воскресный день? Может быть, в магазин за хлебом, сахаром? Он оставил покупки на крыльце и прошелся по двору. После садового участка Муратовых, куда он заезжал утром, его огород казался диким, запущенным. Последние дни Рамиля не полола грядки, не поливала их, и огурцы, лук, помидоры пожелтели, заросли буйными сорняками. Да и он хорош! Муратовы друж-

но работают вместе, а он свалил все на жену, оправдывая свое неучастие нехваткой времени. Он снял пиджак, засучил рукава, и стал дергать сорняки. Втайне беспокоился: не примет ли жена его рвение за укор себе? Но тут же решил: переведу все в шутку. Скажу, коли уж питаюсь с огорода, прими и мою толику. Так он успокаивал себя, а сам в глубине души думал, что все это чепуха, что с его Рамилей последнее время происходит что-то странное, непонятное. Она стала раздражительна и не только не отвечает на ласки, но иногда вечерами вообще не проронит слова. Лежит, уткнувшись в книгу или вперив глаза в потолок. О чем думает? Что гложет ее? Сначала он подступал к ней и так и эдак, но, встретив злобный отпор, с горечью отступился, решив все предоставить времени. Время — лучший лекарь... Раздражительность жены Саюшев в душе объяснял отсутствием у них детей. И, хотя Рамиля сама была медиком, он втайне от нее, сгорая от стыда, проверился в обкомовской поликлинике, где его успокоили, сказав, что детей он может заводить хоть сейчас. Значит, дело в ней? Но почему? С этим деликатным вопросом он постеснялся к ней обращаться, лишь намекнул, что не мешало бы ей поехать на какой-либо женский курорт, укрепить силы. Но Рамиля так на него поглядела, что он больше не рисковал заводить с нею такой разговор.

Выполов грядки и сложив сорняки в кучу, он вымыл под краном руки, еще раз зачем-то подергал ручку двери. Конечно, она была заперта. Тогда он подумал что, возможно, Рамилю вызвали по неотложному делу в больницу, а такое бывало и раньше, — обрадовался догадке и решил позвонить туда от соседей.

У ворот на лавочке грелась соседка-старуха.

— Здравствуйте, бабушка Настя!

— Слава богу, сынок, — поклонилась старуха, — как поживаешь?

— Да... Живем, бабушка. Телефон у вас работает?

— Работает, работает, — радостно закивала старуха. — Иди в хату.

Дежурный врач ответил, что Рамили нет, не будет и завтра, так как у нее отгул.

Озадаченный, он вышел из дому, остановился на крыльце, теребя губу. Страшная мысль ослепила его: Рамиля уехала! С кем-то уехала! Бросила его! Вот почему последнее время она была такая странная.

— Не жинку ли шукаешь, Никита Барович? — проскрипела старуха. — Так поутру уехала она. Сердце Саюшева перестало биться.

— Уехала, — продолжала старуха, — на рай-исполкомовском «бобике», а с ею старичок ветхий в тубетейке.

«Бикмурат! — обрадованно мелькнуло у Саюшева. — В Каратау поехали!»

Он сам сел за руль «Волги», вырулил на большак и дал газу. Он мчал, поглядывая по сторонам, и зорко примечал, что травы на равнине плохие, да и к тому же уже почти все съедены, вытоптаны. Сейчас скот на джайляу, в горах, и, как ни стремился Саюшев в Каратау, к Рамиле, все же решил дать крюк, заехать да посмотреть, как устроились пастухи и доярки, как вообще идут дела.

Поворачивая в горы, он вспомнил разговор с одним писателем и грустно улыбнулся. Писатель жаловался, что не может отдыхать, что на реке ли, на море, даже простите, в туалете, он все время думает о своих героях, придумывает новые

сюжеты, переживает написанное, прокручивает в памяти картины новых книг.

Что ж, Саюшев этому верит, но не сказал он тогда писателю, боясь его обидеть, что художник думает все-таки о героях, придуманных им самим, он волен их казнить и миловать, возвышать и унижать, и героям оттого ни холодно, ни жарко, потому что все-таки они нереальные люди. Секретарь же райкома думает о людях вполне реально существующих и думает о них тоже постоянно: и в своем кабинете, и на всяких совещаниях, и на отдыхе. И часто не в его праве поступить с человеком так, как ему хочется... Писатель может ошибиться, возвысив или ниспровергнув своего героя, секретарю райкома партии ошибаться нельзя, потому что за каждым реальным человеком стоит его жизнь, его судьба. Допустив ошибку, можно чью-то судьбу перечеркнуть, а потом уже заново не переделать...

Выдуманные писателем герои могут родиться и жить в любых условиях. Снег ли, слякоть ли за окном — писатель может, например, красочно рассказывать о великолепной погоде, а для секретаря райкома партии, бывает, погода — все! Упали ранние заморозки и — погибли посевы, ударила июньская жара и — стек колос, пропали труды сотен и сотен людей. Спрашивают же в первую очередь с него, сельского секретаря. Почему не учел, не предвидел, не организовал, не вдохновил? В этом отношении секретарям промышленных райкомов значительно легче, хотя и им, конечно, не сладко, но они, по крайней мере, не так зависят от непредсказуемых капризов природы. Да и кроме этого у сельского секретаря есть еще масса всяческих трудностей, мешающих отладить производство. Он едет сейчас на джайляу узнать, как идут дела, чем он может помочь, а

уже наперед знает жалобы, с которыми обратятся к нему животноводы. Это — перебои с вывозкой молока. Значит, оно скисает, приходит в негодность. Это — плохие бытовые условия: и того нет, и этого недостаточно. А где все *это* взять? Это — мольба выбраковать и сдать на мясокомбинат коров-передоек, больных, старых, которые только переводят корм, требуют ухода, а молока не дают. Саюшев рад бы и сам от таких коров избавиться, и сколько по этому поводу было сказано дельных слов в самых высоких верхах, но областное начальство не позволяет, ибо в статистических данных по республике резко уменьшится поголовье крупного рогатого скота, а за это в Москве не похвалят.

Машина петляла по горной дороге, и Саюшев краем глаза видел, что луга истоптаны тысячами копыт, объедены деревца, загажены и разрушены берега горных речек. Пасут, поят безалаберно, не считаясь ни с рекомендациями ученых, ни с самой природой, ни со своей совестью.

На джайляу готовились к вечерней дойке.

Саюшев приветливо поздоровался с доярками и скотниками. Прибежавшие откуда-то заведующий фермой и ветврач подобострастно улыбались, кричали, перебивая друг друга:

— Молока много, Никита Барович...

— План перевыполняем.

— Живем хорошо!

— Доярки у нас — молодцы! Лучшие? А вон Гарифа Сафина. Вон, черненькая такая. Это в ее честь поднят флаг. Больше всех вчера надоила!

— Да вот беда, молоковозы из города приходят нерегулярно. Скисает молоко.

«Ну вот, — усмехнулся в душе секретарь. — А что я говорил?»

— Судя по вашим бодрым докладам, дела у вас просто замечательные, — Саюшев посмотрел на завфермой, тот потупился, а ветврач вякнул:

— Больных коров нет.

— Это хорошо... А скажите, сколько сейчас, в разгар сезона, вы надаиваете от каждой коровы?

— Было по одиннадцать литров, Никита Барович, — виновато пояснил завфермой, — а сейчас до девяти снизили. Жара, овод одолевает.

— А не интересовались ли вы у какой-либо деревенской тети, сколько дает ее корова? — с ехидцей спросил Саюшев.

Завфермой развел руками:

— Как-то на ум не приходило. Знаю, что на соседней летовке больше восьми литров не надаивают. Так что мы впереди.

Саюшев вздохнул, покачал головой:

— Девять килограммов! И вы этим хвастаетесь? Да знаете ли вы, что сейчас в личном хозяйстве даже средненькая коровенка меньше пятнадцати не дает? Иначе зачем такая корова? Себе в убыток?

— Да уж в убыток себе нам коров хватает, — пробормотал ветврач. Но Саюшев сделал вид, что не услышал его реплики.

— Если вы летом надаиваете по девять литров, на таких-то кормах, то что будет зимою?

— Так стараемся же, Никита Барович...

— Видел, как стараетесь. Почему не выполняете рекомендации ученых о сменных пастбищах?

— Скотники не хотят далеко гонять животных.

— А вы здесь для чего поставлены? Вы же бездумной пастьбой превращаете горные луга в пустыни! А неподалеку травы переставают. Не-

медленно наведите порядок!.. Пойдемте-ка, посмотрим, как вы тут живете.

Он шел следом за заведующим фермой и ругал себя в душе. Вот оно, старое мышление, укоренившийся стереотип: сначала узнал, как животные живут, а потом уж — люди. А ведь хотел начать с людей... Чертова привычка, идущая оттого, что сельского секретаря всю жизнь требуют: план, план, план! Надои, привесы... Людьями же интересуются лишь тогда, когда нужны кандидатуры для выставок, отчетов, докладов.

Жилье скотоводов привело Саюшева сначала в уныние, потом в тихую ярость. Два деревянных барака и три лачуги из неоструганных досок были запущены, в стенах и крышах светились дыры, полы в общежитии заплеваны шелухой, окурками, после недавнего дождя загажены грязью. И всюду — полчища мух.

— Что же вы это так живете... по-скотски? — почти сквозь зубы спросил секретарь. — Неужели забить дыры, заправить койки и вымыть полы вам надо специальную бригаду присылать?

— Виноваты, Никита Барович, — кашлянул завфермой. — Все вроде бы некогда, да и не ожидали вас...

— Да для меня, что ли, вы должны жить по-людски? — взорвался он. — Для себя ведь, для себя! Эх вы!..

В красном уголке Саюшев поклацал ручкой переключения телевизора. Изображение было слабым, расплывчатым. Обратил внимание — комнатная антенна.

— Как же вы его смотрите?

— Да так вот... Привыкли.

— Но неужели, живя в лесу, вы не можете выбрать хороший шест и сделать наружную ан-

тенну? Вы член партии? — обратился секретарь райкома к сконфуженному заведующему фермой.

— Ка... кандидат.

— А вы? — повернулся он к ветеринару.

— Коммунист.

— Среди доярок, скотников есть еще коммунисты?

— Есть... Каюшева и Салимова.

— Кто партгруппорг?

— Я, — низко опустил голову ветеринар.

— Как ваша фамилия? Саяхов? Вот что, товарищ Саяхов, если вам дорого звание коммуниста, в три дня наведите здесь порядок. Иначе поговорим в другом месте и по-другому. Это старье, — кивнул он на замызганные газеты и журналы, — убрать. Чтобы у вас была ежедневно свежая почта. Ведь к вам каждый день приезжают молоковозы, из правления люди, трудно ли им захватить с собою газеты, журналы, книги?..

Не лучше были дела и в соседнем джайляу. Там обязанности заведующего фермой исполнял зоотехник, но он на ночевку уезжал домой. Председатель колхоза, жаловались доярки, был один раз весною. Нет самого элементарного: хлеба, крупы, ниток, иглол, мыла — стирать халаты, за всем этим приходится ездить в дальнее село Хажино. Жаловались в правление, а там и в ус не дуют. Потому-то не хочется работать, делаем свое дело, будто отбываем повинность, хотя в чем наша вина?

И еще много горьких слов и упреков услышал в тот вечер секретарь райкома от доярок. Он пообещал им прислать на следующей неделе автолавку, наладить вопрос с питанием, крепко поговорить с их председателем колхоза...

Направляясь в Каратау, он мысленно анализировал сегодняшний день. Вот разругал он рас-

тяп, заведующего фермой и ветеринара, а все же... все же... Для чего же тогда райком, если люди живут вот в таких условиях, если их души покрывает тина равнодушия уже не к судьбе дела, не к судьбе всей страны, а к своей собственной? Что стоят после этого наши агитаторы, лекторы, наши барабанные речи и трескучие призывы? Что, где упустили мы, коли довели народ до такого вот состояния, состояния апатии, безверья, бездуховности? Конечно, завфермой и ветеринар обижены его разносом, но они-то, коммунисты, о чем думают? Куда смотрят? Ясно, они теперь перемалывают его косточки: приехал, накричал и уехал, а дело нам делать. Да, вам, дорогие товарищи, вам, вместе со мною. А за резкие слова извините. Покойный дедушка любил говаривать: одному коню — посвист, другому — овес, а третьему — плеть. Вам сегодня досталось последнее, но не сами ли вы в том виноваты?

...Взять тех же доярок... Ведь это же героические женщины! С ранней весны до самых заморозков они в горах, в лесу, на джайляу. Они разлучены с семьями, почти не видят фильмов и, как выяснилось, не читают свежих газет, журналов. Артисты на джайляу не заглядывают... Артисты... Постой! Всдь сегодня же в Каратау, кажется, концерт областной филармонии. Ну точно! Саюшев сам просил в областном управлении культуры направить артистов прежде всего в эту отдаленную деревню. Надо обязательно их заставить и уговорить непременно выступить на летовке. Конечно, они будут упираться, ссылаться на график и промфинплан, но любыми судьбами уговорить надо. Эти работающие в горах люди заслужили хотя бы такой скромный подарок. Да какой там подарок! Саюшев поправил себя... Все едят выращенный ими хлеб, добытое ими молоко, мясо

и принимают это не как подарок, а как должное. И концерт для них тоже должное.

Он прибавил газу.

Рамиля, увидев у ворот матери «Волгу» со знакомыми номерами, обрадовалась. Приехал Никита! Ее Никита, золотое сердце! Он понял, что она здесь, и приехал!

Она вбежала по скрипучим приступкам, распахнула дверь и бросилась мужу на шею, целуя его в соленые щеки и бормоча:

— Никита... Никитушка мой... Прости меня, дуру, — и всхлипывала.

Саюшев растерялся. Сколько времени жена не только не целовала, но и не разговаривала с ним, а тут, при матери... Нагима-аби тоже ничего не могла понять. Утром дочь приехала грустная, на ее вопрос о здоровье зятя досадливо махнула рукою, а теперь вот... ластится.

— М-м... ты в гостях была? — проямлил сбитый с толку и страшно обрадованный Саюшев.

— Нет, на концерте... — Рамиля, чему-то улыбаясь, вытерла платочком глаза. — И, представляешь, ушла в перерыве, как чуяла, что ты приедешь.

— Кхмел!.. — Саюшев зарделся.

— А ты откуда узнал, что я здесь?

— Да я не знал... Так, предполагал...

— Также, значит, сердце подсказало! — улыбнулась Рамиля. — Айда концерт досмотрим! Там все наши: Гильман, Ишмурза, дедушка Бикмурат.

— Пошли, — согласился Саюшев, надевая пиджак. Обратился к теще: — Нагима-аби, вы тут скучать без нас не будете?..

— Привыкла, — протянула теща. — Идите, погуляйте. Дело молодое.

Саюшев, вспомнив свои годы, в душе невесело усмехнулся. Старой Нагиме он, шагнувший на шестой десяток, все еще кажется молодым...

...В клуб они вошли пригибаясь, крадучись, не желая, чтобы на них обращали внимание. Но, конечно же, из этой затеи ничего не получилось. Саюшева, которого в Каратау и стар и мал знали в лицо, тут же узнали, по залу пошел шепот, несколько человек поднялись, уступая свои места почетным гостям. Секретарь райкома приложил палец к губам и сел на первую попавшуюся свободную скамью, увлекая за собой жену. Ему, выросшему в башкирской деревне, были близки и дороги народные мелодии, как раз исполнявшиеся на сцене. Вместе со всеми он хлопал и кричал: «Браво! Просим!» Так же восторженно был принят и национальный танец. Рамиля жалась к его плечу, в ее глазах он читал любовь и преданность, и это тем более настраивало его на хороший лад.

После концерта к секретарю райкома партии подошел председатель сельсовета.

— Вы-то мне и нужны, товарищ Ханов! — обрадовался Саюшев. — Пошли за кулисы, к артистам.

Ханов думал, что секретарь райкома хочет вместе с ним, председателем сельсовета, поблагодарить артистов за хорошее выступление, и не ошибся. Но, пожав руки всем исполнителям, наговорив им комплиментов, Саюшев отвел в сторону руководителя труппы и попросил дать концерт на джайляу.

— Что вы, что вы, Никита Барович! — замахал тот руками. — У нас твердый график, маршрут, рассчитанный по минутам, промфинплан, наконец!

— Я с вами полностью согласен и понимаю вас, — терпеливо продолжал Саюшев. — Но поймите и вы этих людей на летовке. Ведь месяцами они разлучены с домом, с семьями, слова человеческого не слышат. Прошу, завтра днем остановитесь там на часок-другой.

Руководитель, поморщив мясистый нос, сказал:

— Там ведь и народу-то немного.

— Привезем с другой летовки.

— Все равно... Не могу. И не приказывайте, товарищ Саюшев. Артисты не согласятся выступить бесплатно, да и устали они.

— Я вам не имею права приказывать, — уговаривал Саюшев, — я просто прошу ради тех людей. Что касается артистов, то давайте с ними поговорим вместе.

— Нет, нет, нет! — забеспокоился руководитель. — Я знаю, они вас послушают, а потом отвечать придется мне.

Перед Саюшевым был типичный мелкий перестраховщик.

— Послушайте вы... — Саюшев зачем-то засунул руки в карманы, качнулся на носках. — Вы... Эти люди кормят вас, кормят, вы понимаете? Это труженики!

— А вот эти, кто сегодня сидел в зале, они что, тунеядцы? — отрезал руководитель. — Такие же полные залы, таких же рабочих людей ждут нас и в других деревнях, селах! А вы... Вы заставляете артистов лазить по лесам, по горам и давать концерт для какой-то жалкой кучки.

— Жалкой кучки? В таком случае я сейчас же телефонным звонком подниму из постели вашего министра. Не забывайте, что я член обкома и правительства республики.

Руководитель оробел.

— Никита Барович, — примирительно сказал он. — Ну, зачем же так? Ведь артисты тоже люди, им отдых требуется.

— На летовке в горах прекрасный воздух, речки, цветы. Вас напоят парным молоком, накормят свежей сметаной и сыром. Чем не отдых? Договорились? — он протянул руку.

— Не договорились, а уговорили, — усмехнулся руководитель. — Будем на джайляу Уртаюрт ровно в двенадцать.

Саюшев повернулся к Ханову:

— Вы знаете, что летовки находятся на территории вашего сельского Совета?

Ханов пожал плечами:

— Как не знать!

— Завтра где угодно моим именем раздобудьте автомашину и свезите к полудню к Уртаюрт народ. Из всех пяти летовок. На месте пусть остаются пастухи и сторожа. Ясно?

— Так точно! — почему-то по-военному ответил Ханов и даже щелкнул каблуками хромовых сапог.

Рамиля поджидала в коридоре. Никита Барович приобнял супругу за плечи:

— Не замерзла?

— Да есть немножко... Ты очень сердишься, что не застал меня дома?

— Тоже немножко есть, — замялся Саюшев, — то есть было... Но нет худа без добра. Ожидаячи тебя, я прополол все грядки.

Она чувствовала в его словах упрек, хотя о грядках он сказал без задней мысли, опустила голову, прошептала:

— Прости...

Некоторое время шли молча.

— Ты, наверное, очень устал?

— Было дело, — согласился Саюшев и рассказал ей, как ездил на летовки, что там увидел.

— Но теперь усталость с меня как рукой сняло, — закончил Никита Барович.

— Что за причина? — притворилась Рамиля.

— А ты не догадываешься?

Они повернулись друг к другу, потерялись носами и расхохотались. В небе наяживала полная луна, было безветренно, откуда-то издалека доносились веселые звуки гармошки. Спать не хотелось, и Саюшевы еще долго бродили по деревенским улицам.

И еще два человека не спали в ту ночь.

Ишмурза, выйдя из клуба, хотел взять под руку Фариду, но постеснялся отца с матерью — девушка шла рядом с ними. Подумав, он пошел к вольеру, там, во дворе, сел за стол и долго сидел так, предавшись светлым думам. Он с детства любил музыку, особенно народные мелодии, и сегодняшний концерт, мягкая близость Фариды — все это взволновало его. Он рисовал себе картины будущей семейной жизни, она казалась ему радужной... Незаметно для самого себя он мурлыкал под нос полюбившиеся на концерте мелодии и так просидел на воздухе до самой зари.

Не спала и Зубаржат, ворочалась до утра на своей койке, думая о себе, Гильмане, Нине. Сначала она не хотела идти на концерт, представив, как на нее все будут пялиться и за ее спиной перешептываться, но желание увидеть, пусть издалека, любимого человека было так велико, что она плюнула на свои опасения, надела лучшее платье, сделала прическу и, гордо неся красивую голову, прошагала по улице к клубу, не удостаивая взглядом досужих кумушек. Гильмана она увидела, но он, занятый старым Бикмуратом, не обратил на нее внимания. После окончания кон-

црта она подкарауливала его у выхода и увидела, что Гильман бережно усадил бабая в коляску своего мотоцикла и повез домой. Да и что она могла сказать Гильману? Что безумно любит его? Так он это знает. Что никому его не отдаст? Слышал тоже. А как не отдаст?

В отчаянье Зубаржат глотала слезы и закусывала, чтобы не разреветься, уголок подушки. Лишь одна надежда гнала ее к Гильману. Сжалится над нею, поймет, что она будет ему самая верная, самая преданная, и он пригласит ее к себе, отречется от Нины.

А может, завтра поехать в Иманкулово, найти эту самую Нину да и сказать ей: так, мол, и так, извини, подруга, но Гильмана я тебе не отдам. Он давно мой. Я спала с ним. Конечно, после этого Нина откажется от него, но примет ли после этого ее Гильман? Да и стыд какой! Нет, надо любовь не вымаливать, не заполучать шантажом. За любовь надо бороться. Но как?

XI

Акт, составленный Басировым, Гильман подписал, не сказав ни слова. А что говорить, что возражать? Все в акте было правдой и в то же время... неправдой. Вот ведь как получается: одно и то же дело, событие можно подать и так, и эдак. Но, если говорить честно, была вина и Гильмана в том, что на лесопилке оказались лишние кубометры бревен и досок. Плохо контролировал. Не вникал. Передоверял. За это Козин по голове не погладит. Как минимум выговор ему обеспечен, а то и строгач. Что ж, наука будет.

Сегодня в лесничестве был праздник — первый день сенокоса. По такому случаю Тулькус-

рин приказал зарезать пару баранов, а из деревни Хажино привести бочку кумыса. Пусть после работы люди попируют.

Косцы на телегах, мотоциклах, а то и своих автомашинах с раннего утра потянулись на луг. Все одеты в белые рубахи, в соломенные новые шляпы, у всех на устах улыбки, шутки, дружеские подначки типа: твоей косой, кустым, только преступников казнить, долго мучиться будут — тупая очень. У всех косцов в целлофановых пакетах, в авоськах, баулах лучшая еда, приготовленная женами еще вечером, ночью. Сенокос! Праздник!

Гильман тоже решил не отставать. Его коса была отбита Ишмурзой заранее, и теперь он во дворе лесничества наводил ее оселком. Правда, он раньше никогда не косил, но, думал, дело это не тонкое, научиться враз можно.

— Ну, лесничий-кустым, начинаем сенокос? — услышал он знакомый противный голос. Так и есть. Перед ним с косой на плече стоял, ослабившись, Мурзабай. — Коса у меня — бритва, оселок — огонь, — продолжал балагурить браконьер, — отчего ж, думаю, не потряхнуть стариной?

Гильман с ненавистью глядел на этого бесстыжего человека. Будь его воля, снес бы своею косой с плеч поганую голову клеветника.

— Что ж... Коли пришел, жди других, — выдавил он и снова зашваркал оселком. Мурзабай, скрутив здоровенную папиросу, сел на те самые дубовые бревна, что у него изъяли.

«Сиди, черт с тобой», — подумал Гильман, настраивая косу. Откуда-то донесся девичий щебет, смех, и он вспомнил, что вчера, позвонив домой Нине, попал на Козина. Разговаривать, конечно, не стал. Сегодня снова нестерпимое желание услышать Нинин голос не давало покоя Гильману.

Он прошел в контору, попросил соединить с квартирой Козиных.

— Квартира слушает, — раздался в трубке знакомый до сладкой сердечной боли голос. Парень потерял дар речи.

— Аллё! Почему вы молчите? Кто это?

— Это я, Н... Нина, — ответил он заикаясь.

— О, Гильман? Здравствуй. Как твои дела?

— Очень плохо!

— Почему так?

— По тебе соскучился, — Гильман запнулся, понимая, что пошутил не очень удачно. — Как здоровье Галины Васильевны?

— Спасибо. Поправляется. Она еще в больнице, и я ежедневно бегаю после работы к ней.

«Это она дает понять, почему не приезжает в Каратау», — понял Гильман.

— Знаешь, когда она узнала... ну... о тебе, то очень обрадовалась.

Гильман чуть не подпрыгнул.

— Вот как? А когда приедешь?

— Тише... Отец зашел. Говори побыстрее...

— Я очень тебя люблю, — почти шепотом сказал Гильман и услышал ответный шепот:

— И я тебя тоже... До встречи.

В трубке раздались частые гудки, а Гильман, повернув трубку к себе, долго сидел с блаженной улыбкой, уставившись на мембрану, вроде мог в ней увидеть любимый образ.

Потом он положил трубку, энергично походил по кабинету. Он счастлив! Он любим! И пусть катятся подальше и Мурзабай со своими сплетнями, и Басиров со своим предательским актом и... Зубаржат со своими глупыми угрозами. Он любим, а это — главное!

На лугу его настроение еще более улучшилось — все, кому было сказано, вышли. Теперь

косцы стояли у самого края большого колка¹, советовались, как лучше начинать.

— Народу много, — убеждал Ишмурза, — давайте захватим весь участок сразу.

Мурзабай поцокал языком:

— Прыткий какой! У тебя кровь молодая, силы девать некуда, а, глянь, сколько здесь стариков! Не о себе говорю, я-то выдержу, а вот другие, пока пройдут такие длинные гоны, на том краю и свалятся.

Решили разбить колок на два участка.

Мурзабай поплевал на руки, стал первым, но невысокий, коренастый конюх отодвинул его железным плечом.

— Не лезь вперед, агай. Или хочешь, чтобы тебе пятки косой подрезали?

— Это мы еще посмотрим, кто кому подрежет! — задиристо крикнул Мурзабай и достал оселок.

Все одновременно начали наводить и без того острые косы. Гильман, который до этого ни разу не был на сенокосе, зажмурил глаза, и ему показалось, что в лесу играет какой-то фантастический оркестр. Серебряный звон плыл над деревьями, сливался со звоном чистого летнего неба, заставлял умиленно трепетать душу...

Вот из оркестра стали выпадать отдельные звуки, музыка зазвучала глуше, глуше, наконец смолкла. Но не надолго. Мгновение спустя слышалась другая музыка «грш... грш... чвирк... грш...». Это коренастый конюх первым пустил в дело свою косу. За ним запела коса Мурзабая: «грр... грр... шварх... грр...» И потом весь луг огла-

¹ Колк — поляна в лесу, засеваемая хлебом или оставляемая под травы.

сился гремюще-шуршащей музыкой. Высокие травы, украшенные желто-белыми венчиками ромашек, голубыми васильками, желтыми цветками донника, ровно ложились на землю.

Мурзабай шел, засучив рукава и расстегнув до пупа белую рубаху. На поясе болтался на шнурке оселок. Махал Мурзабай широко и нажимал на косу так, что на щеках, в такт взмаху, бугрились тяжелые желваки. Он явно хотел обойти кряжистого конюха, но тот шел играючи, без всякого напряжения, однако расстояние между ним и старым охотником не сокращалось.

Третьим шел Ишмурза. Работал он косою как-то экономно, но постепенно догонял Мурзабая, и тот то и дело беспокойно оглядывался, ускорял темп...

Удивила и восхитила Гильмана Зубаржат. Она начала косить вместе со своими девчатами из питомника, но скоро они от нее отстали. Довольно быстро нагнала она мужчин, крикнула задорно сторожу с лесопилки:

— Хайбрахман-агай, берегись! Пятку срежу!

Тот шарахнулся в сторону, отер рукою морщинистый лоб:

— Ой, шайтан-девка! От тебя, чертовки, всего можно ожидать. Иди уж вперед, — и уступил ей свой ряд.

Конюх по-прежнему шел впереди, весело и легко махая косой, Ишмурза, который поравнялся с Мурзабаем, некоторое время шел с охотником рядом, потом неуловимо прибавил в скорости, вырвался вперед. Забеспокоился и конюх. Он был известным косцом в деревне. На «помогах» его всегда пускали первым. Видя, что вольерщик его настигает, конюх стал махать быстрее. Прибавил и Ишмурза.

Мурзабай, запаленный быстрой косьбой, тя-

жело дыша, остановился, будто бы поправить косу. В него уткнулись остальные:

— Чего стоишь? Давай, давай. Пошел! — попукали они хвостуна, но сами во все глаза глядели на безмолвное соревнование конюха и вольерщика. Скоро всем стало ясно, что прославленный косарь выбился из сил. Движения его стали вялыми, шаг короче, а Ишмурза как будто только начал — еще убыстрил темп, обошел конюха, замахал косою так, что за ее полетом только успевали следить.

— Якши батыр! — цокали женщины.

— Ага! Подрезал конюху щиколотку! — ликовали молодые.

— Он же из породы Тулькусур, — поясняли старики.

Гильман порадовался за своего дядю. За то, что это соревнование прошло естественно, без всякой организации с чьей-либо стороны. Он досадовал на себя, что за время работы в лесничестве не удосужился научиться косить, а ведь учитель — вот он, его дядя Ишмурза, который, закончив ряд, спокойно шел сюда с косою на плече. Гильман хоть и настроил себе косу, но благоразумно оставил ее дома. Покажись он с нею здесь, надо было бы становиться в ряд вместе со всеми и косить. А как? Опозориться перед народом? Лесничий, «лесной человек», а простой косы в руках держать не умеет! Что же, объяснять всем, что этому не учили ни в академии, ни в министерстве? Значит, надо учиться здесь, и учиться безотлагательно.

Гильман подошел к уборщице своего лесничества, попросил:

— Апай, одолжи-ка мне свою косу... А ты иди, помоги обед готовить, — ответил он на недоуменный взгляд женщины.

Он спрятался за кустарником и на маленькой полянке решил поучиться. Казалось бы, немудрящее это дело косить траву — и сила у Гильмана есть, и ловкость, и видел, как, играючи, другие косят, но легкий инструмент коварно выскальзывал из рук. Коса то срезала лишь верхушки трав, то гребла землю. Закусив губу, лесничий до боли в руках сжимал неподатливую косу, думая так ее укротить, но травы то ложились под его взмахом, то оставались стоять чуть примятые.

— Ну как, получается? — услышал он голос Ишмурзы.

— Да не очень, — признался Гильман и перевел дух. — Не слушает меня коса.

— А ты ее не сжимай, как горло врага. Держи свободно, просто, вот так, — показал Ишмурза. — И в три погибели не сгибайся и на себя бери резко, а от себя води плавно, чтобы волок получался ровный. А главное, не волнуйся и не бойся косы. Она железка, а ты — человек. Гляди-ка! — Ишмурза сделал несколько коротких взмахов, и травы покорно легли у его ног.

Он критически осмотрел косу Гильмана:

— Э, племяш, да ведь твоей косой много не накосишь. У кого брал? У уборщицы? Ясно. Вдовый инструмент. Возьми-ка мою, а я эту настрою.

Увидев, что Гильман стоит в нерешительности, подбодрил:

— Не стесняйся, начинай без страха и волнения.

И смотри-ка! То ли коса Ишмурзы оказалась действительно волшебной, то ли помог его урок, но травы стали падать дружнее, хотя конец косы иной раз и втыкался в землю, хотя пяткой он иногда и поднимал пыль, а все-таки чувствовал — вот теперь что-то получается.

Он дошел до конца поляны, отер пот, покосился на результат своей работы. Валок лежал зигзагом, кое-где торчали нескошеннные былки, но все-таки, черт возьми, дело пошло! И он, воодушевленный, начал новый ряд...

Люди, кончив гоны, возвратились к началу покоса. Увидев увлеченно машущего Тулькусурина, зачесали языками:

— Гляди-ка! Наш лесничий довольно ловко машет.

— Машет или мажет?

— Да иди ты! Учится человек.

— Не дай бог научиться, тогда и на нас травы не останется, — поддел Мурзабай.

Слова старого интригана расстроили Гильмана. Все чаще стал втыкаться конец косы, все чаще пятка гребла землю, но, сжав зубы, он продолжал косить.

Увлечшись, он не заметил, как сзади подошла Зубаржат. Обернулся на ее вкрадчивый голос:

— Учишься? Это хорошо... Когда начнешь стога метать, то...

— Что?

— Не забудь про меня, сиротинушку. Твоя помощь будет кстати.

И пошла, покачивая бедрами, с усмешечкой на ярких губах.

Пойми ты ее! К чему эти подначки?

Окончив свой ряд, опять подошел Ишмурза, поглядел, как работает племянник, не выдержал, отнял косу:

— Гляди, — учил он. — Рукоять косы держи за самый кончик, правую руку не опускай низко, не сгибайся в три погибели, я тебе уже говорил — без поясницы останешься... Лезвие должно идти наискосок кверху, а гребень — тыльная сторона — скользить по почве. Тогда не будешь ко-

вырять землю, рвать косу. — И сделал несколько широких взмахов... Легко говорить Ишмурзе, он с детства обучен крестьянскому труду, а Гильман?

Кое-как он дошел рядок и еле разогнулся. Теперь ему стал понятен спор косцов: идти ли все длинные гоны или разделить участок пополам. Конечно, длинные гоны он бы ни за что не выдержал, тут после этих-то дрожат руки, ломит поясницу и подгибаются колени. Сумеет ли он осилить второй рядок? Надо суметь. Надо не опозориться. Люди, занятые делом, уже на него почти не обращали внимания, но стоит ему опустить руки, начнут жалеть, а то и поднимут на смех.

Он неторопливо направил оселком косу, поплевал на руки и начал второй ряд. До сноровки Ишмурзы, конюха и Мурзабая ему еще, конечно, было далеко, но всеми клеточками тела он радостно чувствовал, что коса его слушается, постепенно исчезает напряжение и свинцовая усталость. Захотелось петь. Что же, пришло мастерство? Да просто работа вместе со всеми дала душе спокойствие, рукам — силу.

ХII

Зря Тулькусурин надеялся, что отделается выговором. Изучив акт, Козин поблагодарил Басирова за хорошую работу, извинился: к сожалению, рабочком дал квартиру не ревизору, а трактористу, но Петр Максимович просил еще немножко потерпеть и обещал все устроить. Он был несказанно зол на своеволие рабочкома. Не считаются с его мнением? Что ж, директор скоро докажет этим «демократам», что это никому с рук не сходит.

Басиров, смущаясь и покашливая, пересказал директору деревенские сплетни о каратауском лесничем.

— Я бы не стал вам все это передавать, — бормотал ревизор, — но речь идет о чести вашей дочери.

— Спасибо за информацию! — рявкнул Козин и отпустил Басирова.

Пока Петр Максимович слушал сбивчивую речь угодливого человечки, лицо его от стыда и гнева покрылось багровыми пятнами. Ведь чуял же он, чуял, что не случайно дочь оказалась с Гильманом в общежитии, не случайно рвалась на ночь глядя в лесничество!.. Она усыпила его бдительность, возвратившись тогда же домой, и он, старый дурак, успокоился. Интересно, знает ли дочь об амурах лесничего с той деревенской потаскушкой? Надо, чтобы узнала и как можно скорее. Ведь Нина, как говорят башкиры, на «айт» не скажет «тайт», если он, ее отец, станет уговаривать ее оставить строптивного лесничего. Но если же она узнает о его похождениях, его связях с этой Зуб... Зубаржат! Нина гордая. Как бы ни была увлечена Тулькусуриным, второй она быть не захочет, порвет с ним навсегда! А его надо уволить. Оснований более чем достаточно. Уволить. И дураку будет понятно, что дело не только в этих ошибках, дело в том, что каратауский лесничий посмел перечить ему, Козину. В дальнейшем кое-кто призадумается, прежде чем спорить с директором, выдвигать свои прожекты.

Итак, какие основания для увольнения Тулькусурина?

Первое, в лесопильном цехе обнаружено около сорока восьми кубометров неучтенного стройматериала. Второе, Тулькусурин скрыл факт хищения Мурзабаем Шамовым шести кубометров

дуба. Не сообщил об этом в лесхоз, в органы милиции. Третье, один гектар посевов сосны вытоптан скотом.

И, наконец, четвертое — моральный разложение. Таких особенно не терпит министр Муратов и вряд ли своего любимчика рискнет защищать.

Обдумав все это, Козин вызвал к себе нового (Потапов ушел в объединение) главного лесничего — молодого, неопытного парня, только что закончившего техникум, и председателя рабочкома Загитова. Кратко, но красочно изложив им суть дела, Козин спросил:

— Имеем ли мы право и дальше терпеть на таком ответственном месте такого безответственного человека? К тому же морально нечистоплотного? Что скажешь? — обратился он к Загитову. — Или опять заставишь своих членов поднять против моего предложения руки?

— Если факты верные, дела Тулькусурина плохи, — спокойно сказал Загитов. — Но, Петр Максимович, и мы в этой истории выглядим не совсем чистыми.

Широкие брови Козина прыгнули вверх:

— Как это?

— А так. Половина бревен, найденных на каратауской пилораме, это не те ли двадцать три куба резервного леса, который вы приказали завезти туда с осени и до ваших указаний не трогать?

— Знать ничего не знаю! — вскипел директор.

— Ну, ну, — миролюбиво успокоил председатель рабочкома, — запомняли о своей записке? А она у меня.

Козин прищурился.

— Вот оно что! Досье на директора собираешь?.. Так, так... Теперь я понимаю, почему ты не поддержал мое предложение на рабочкоме.

— Вы, Петр Максимович, как у нас говорят, оглобли в другую сторону не поворачивайте. Досье я на вас не собираю, предложение ваше дать квартиру ревизору Басирову, а не многодетному трактористу я не поддерживал с самого начала, о чем вам сказал в глаза...

— Пораспустились! — прорычал Козин. — Демагогию развели. Факт преступления налицо, а он этого... Тулькусурина выгораживает! Ни о каких лишних бревнах я ничего не знаю и никаких записок не писал! Ясно?

Загитов только иронически усмехнулся.

— Ну, а ты что скажешь? — крутнулся директор к молодому главному лесничему.

— О бревнах? — встрепенулся парень.

— Сам ты... — Козин сдержался. — Эх!.. О лесничем?

— Судя по акту, — бойко начал тот, — в лесничестве произошло уголовное преступление. Эти бревна, потом доски... Их, по-моему, просто не успели продать!

— Правильно мыслишь, — одобрил директор. — Короче говоря, я пишу приказ об отстранении Тулькусурина от обязанностей лесничего Каратау. А вы уж там, на рабочкоме, в законном порядке решите вопрос о его увольнении, — приказал он Загитову. Тот поморщился:

— Петр Максимович... А надо ли так круто? У Тулькусурина нет ни одного выговора...

— Есть мои строгие замечания...

— Они не отражены в приказах. Не стоит ли вызвать его сюда, пожурить, попугать? Парень он молодой...

— Девок портить у него ума хватает! — сорвался Козин.

Загитов помолчал, потом медленно сказал:

— Всплывет и имя вашей дочери...

— Это мое!.. Это наше личное дело! — крикнул Петр Максимович, хватаясь за сердце. — Идите.

Когда работники вышли, он посидел, навалившись грудью на стол и чувствуя, как болезненно сжимается сердце. Пожалел, что не носит с собой валидола, потом, хлебнув из графина воды, все еще морщась, достал из сейфа книгу приказов... Набросав приказ, он вызвал секретаршу, приказал перепечатать, один экземпляр вывести на всеобщее обозрение, а Тулькусурина вызвать на завтра в лесничество к 12 часам дня.

— Кто спросит, я в райисполкоме. Буду через час, — бросил он и направился к выходу.



Юлдашбаев стоял в своем кабинете у широкого окна, скрестив на груди руки. Он смотрел на площадь, где стояли друг против друга два стенда. На одном из них были портреты передовиков производства, на втором — участников Великой Отечественной войны. И хотя Юлдашбаев два года воевал, демобилизовался лишь в 1951 году, его портрета на стенде не было. Сам он, конечно, не настаивал, а в райкоме молчаливо решили, что будет нескромно выставлять на всеобщее обозрение портрет руководителя района. Хотя, насколько Юлдашбаев знал, в районе уцелело после страшной мясорубки войны три-четыре человека его призыва. Горькая доля досталась его сверстникам! Их, молодых, полных сил и отчаянья мстить врагу за погибших отцов, старших братьев, за поруганную врагом землю, бросали в самое пекло, и неопытные, необстрелянные ребята гибли сотнями, тысячами... Юлдашбаев чудом уце-

лел под Минском — снаряд разорвал на куски напарника из его пулеметного расчета, отделался контузией под Кенигсбергом, получил легкое ранение под Прагой уже после фашистской капитуляции, штыковую рану в пах от самурая под Мукденом... Он воевал, имеет награды, а портрета его среди участников войны нет. Да и мало кто думал, что этот веселый, скорый на речь и ногу человек прошел две войны — так молодожаво он выглядел, так бывал в компаниях боек и весел. Вообще-то, снимки руководителей редко печатают, выставляют. Не был исключением и Юлдашбаев. За четырнадцать лет работы на посту председателя райисполкома он редко слышал похвалы в свой адрес, хотя район в масштабе области был далеко не последним, но так уж повелось: на каждых областных совещаниях, собраниях меньше хвалили, больше — ругали. И, положив руку на сердце, следовало признать — было за что. Ведь в таком огромном районе, равном по величине территории иному европейскому государству, всегда найдутся и недостатки, и упущения, и обиженные... Впрочем, ни на похвалы, ни на поверхностную критику он особого внимания давно уже не обращал, хотя, конечно же, стремился устранить недостатки, о которых знал даже лучше, чем критикующий. Но вот теперь, расставаясь с насиженным креслом, Барый Максютрович с грустью думал, что так и не удостоился прочитать о себе хорошую статью или очерк в какой-либо газете, вроде все эти четырнадцать лет он ничего полезного не делал, только протирал штаны в широком председательском кресле. Хорошо строителю, директору завода, путейцу... Покидаешь свой пост и видишь результаты своего труда. Новый дом, новая машина, новая домна, участок БАМа... А что видит он, председатель сельского

райисполкома? Да, за эти четырнадцать лет в районе построено много жилья, проложены дороги, возведены животноводческие фермы, открылись в дальних деревнях клубы и медпункты... Но все это строил не он, не своими руками. Осталось же то, что и было: очереди за продуктами, за напитками, за хорошими изделиями ширпотреба, кое-где покупатели вставали даже за такими товарами, которых раньше хватало в избытке: за мылом, нитками, носками и даже за спичками! Не стали и люди за эти четырнадцать лет более инициативными, более нетерпимыми к угодничеству, рвачеству, не стали добрее душами, откровеннее сердцами. И он, Юлдашбаев, в этом тоже виноват. Сейчас, с высоты своего возраста и опыта, он многое понимает не так, как в первые годы работы на этом посту, да и времена, настроение людей круто изменились, но уже ничего не поправить, не переделать, не начать сызнова... Годы... Годы.

Сегодня утром его вызвал Саюшев. В кабинете первого были Кадиров — второй секретарь и секретарь по идеологии. Саюшев вышел ему навстречу (чего он раньше никогда не делал), протянул руку:

— Как настроение, Барый Максютович? — бодро спросил первый, не выпуская его руки.

— Настроение бодрое, идем ко дну, — невесело пошутил Юлдашбаев, всем сердцем чуя, что за этим приветствием, этим вопросом кроется для него что-то важное.

— Так уж и ко дну! — опять бодрячески воскликнул Саюшев. — Мы еще поплаваем! Да... поплаваем.

— Значит, договорились? — обратился он к секретарям. Те поняли, что их выпроваживают,

поднялись, поглядели разом зачем-то на Юлдашбаева и вышли.

— Так-так, — тюкал Никита Барович карандашиком по бумажке, не глядя в глаза товарищу. — Как идет заготовка сена в хозяйствах?

«Чего он тянет?» — тоскливо подумал председатель, но ответил четко, назвав по памяти цифры, хозяйства.

— Вчера я был на покосе в трех хозяйствах и пришел к выводу, что наши люди, к сожалению, быстро привыкли к легкой жизни.

«Зачем я завел этот разговор о сене, — ругал себя в душе Саюшев. — Человек в самом деле думает, что позвал я его лишь ради этого, а я должен ему сказать совершенно другое, невеселое для него...» Но последние слова председателя заинтересовали секретаря райкома.

— Как это понимать?

— Люди на селе разучились запрягать лошадей. Всем подавай машины, трактора, если даже надо перевезти беремку дров или охапку сена. Спрашиваю в одном колхозе: почему не начали сенокос? Отвечают: нечем косить. Нет сенокосилок, стогометателей... «А где же ваши косы? — спрашиваю. — Где вилы?» Хмыкают, мнутя...

— Уж не выступаешь ли ты, Барый Максютovich, против технического прогресса на селе? — невесело пошутил Саюшев.

— Ну, сказал тоже! — развел руками Юлдашбаев. — Ведь смотри, мы призываем не оставлять ни одного колоска в поле...

— И кое-чего в этом деле добились...

— Добились. А кинули лозунг «За корма как за хлеб!» и всерьез не проверяем, выполняется ли он? Весною же снова и снова отовсюду слышим вопли: кормов нет! Надои падают — кормить нечем! Да отчего же им расти, если мы так бездар-

но каждое лето заготавливаем сено! Обрати внимание, сколько его остается неубранным как раз там, где бессильны механизмы. На маленьких полянах, по берегам речек, по межам и каналам. Вот где быгодились и коса, и вилы, и грабли. Сам посуди: наши деды, отцы не мыслили жизни без коровы, лошади, овцы, не было тогда ни комбикормовых заводов, ни ЭВМ, ни силоса, ни сенажа, ни, наконец, тракторных косилок и стогометателей. А скот кормили! Чем? Сеном и только сеном, которое заготавливали вручную... Вообще-то, Никита Барович, я думаю, что поторопились мы распахивать луга и поймы речек. Думали, огрузимся овощами, зерном. А вот результат — ни овощей, ни зерна, ни сена.

Саюшев слушал своего боевого друга и соратника и думал: какая же светлая у него голова! Ведь сейчас он высказал то, что давно не давало покоя ему, Саюшеву... И вот придется этого умного человека передвинуть с высокого поста на пост менее ответственный, хотя и важный. В обкоме и в облисполкоме заявили, что для поста председателя райсовета Юлдашбаев стар, да и работает третий срок. В свете нынешней перестройки надо заменить его более молодым и более энергичным человеком. Подсказали и кандидатуру — первый заместитель председателя Бахтиев. Высшее образование, честен, умен, работу знает и всего... тридцать два года. К тому же Муратов решил укрепить лесхоз, а Юлдашбаев — специалист по лесному хозяйству... Туда его, на место Козина, Петра же Максимовича — в главные лесничество. Перестройка показала, что в нынешних условиях он не тянет. Саюшев вспомнил, что, когда он был в Каратау, Ханов похвалился: на сенокос выйдут все, умеющие держать косы. Сказал об этом Юлдашбаеву:

— Молодцы Ханов и Тулькусурин, — похвалил председатель. — Мне о них уже рассказывал Бахтиев. — Саюшев вздрогнул, подобрался, самое время начинать неприятный разговор.

— Кстати, о Бахтиеве, — перебил он, — что ты о нем думаешь?

Юлдашбаев недоуменно уставился на первого. Что за странный вопрос? Саюшев и без него, Юлдашбаева, прекрасно представляет, каков Бахтиев как руководитель. Сам же выдвинул его на пост заместителя. Может быть, хотят поставить его директором лесхоза, ибо Козин всячески противился созданию объединения, не принимает никаких новшеств и о его замене Муратов в откровенном разговоре упомянул давно. Искали только подходящую кандидатуру... Но с Бахтиевым расставаться не хотелось, и Юлдашбаев уклончиво сказал:

— Я же давно тебе твержу, что со временем из парня получится хороший крупный руководитель.

— Пришло время, пришло... — задумчиво проговорил первый, нервно потирая руки. — А что ты скажешь о Козине?

— Последние время он вроде бы старается, да, знаешь, старается как тот конь, который, чтобы не тянуть воз в гору, кидается то налево, то направо.

Саюшев засмеялся:

— Это ты здорово сказал! Тремя словами создал прямо-таки точное нынешнее состояние Козина.

— Никита Барович, — не вытерпел Юлдашбаев. — А почему ты у меня спрашиваешь мое мнение об этих людях? У тебя разве своего нету?

— Есть, друже ты мой, — задушевно сказал Саюшев и прошелся по кабинету. — Есть. Но хо-

телось бы, чтобы оно совпало и с твоим. Ты с этими людьми чаще общаешься и ты умеешь, как никто, давать кадрам объективные оценки.

— У тебя есть орготдел...

Саюшев досадливо махнул рукой:

— Орготдел готовит тех, кого мы с тобой предложим. Ты это прекрасно знаешь. Вот сейчас позарез надо в лесхоз на место Козина другого человека. Авторитетного специалиста, опытного руководителя, чтобы мог дело перестроить по-новому, увлечь за собой народ...

— Конечно, Козина надо менять,— согласился Юлдашбаев. — Но кем? Ражапова взяли в объединение, Тулькусурин еще молод, мало самостоятельного опыта да и административную работу знает плохо. Не предлагают ли кого из Уфы?

— Предлагают,— улыбнулся Саюшев.— Тебя.

Юлдашбаев, сцепив руки, некоторое время сидел опецивший, оглушенный неожиданной новостью, потом стал нервно покручивать мясистые, короткие пальцы.

Саюшев сел и спокойно ждал, пока Барый Максютович придет в себя. Первый был недоволен собою: как ни готовил он этот разговор, как ни подводил к его результату товарища, а все-таки для Юлдашбаева такой поворот оказался полнейшей неожиданностью.

Вчера звонил Муратов, извинился, что не сможет приехать в район, чтобы самому переговорить с Юлдашбаевым, попросил сделать это Саюшева. Никита Барович связался с областным комитетом, Советом Министров, там дали «добро», вызвал к себе Бахтиева. Тот скромничал (и делал это вполне честно!): молод, мало опыта, Барый Максютович, хоть и в годах, но еще крепок, годика два-три на нынешнем посту потянет, но, наконец, согласился. С Юлдашбаевым вчера

поговорить не удалось — председатель с утра поехал по хозяйствам и вернулся глубокой ночью... Сейчас, хотя наружно Саюшев был спокоен, он с волнением ждал, что скажет Юлдашбаев. Не обидится ли? Да нет, не из таких он, и все же... все же... Ведь, конечно, обидно.

— На мое место — Бахтиева? — глухо спросил Юлдашбаев.

— Его... Он член исполкома, проведем заседание, предложим... Ты ведь не будешь против?

Барый Максютрович поднял глаза. В них Саюшев увидел тоску. Обиженно, как-то вымученно улыбнулся:

— Какое значение имеет теперь мое мнение! — Поднялся. — Бахтиев потянет. — И пошел к двери, не попрощавшись. Понимая его состояние, Саюшев не стал задерживать, успокаивать и подбадривать.

...Юлдашбаев, приводя в порядок бумаги, горько размышлял о том, что все-таки с ним обошлись не совсем справедливо. Он ни в чем не провинился, работал не хуже, может быть, лучше даже других, и только вот годы... Хотя, если разобраться, так ведь не списывают же его в многочисленную армию пенсионеров, а сейчас пополняют ее люди рангом повыше его, вплоть до министров, и годами помоложе. Значит, он еще нужен, на него надеются! Районный лесхоз — главное предприятие в Иманкулове, и уж ему-то, леснику, не знать, что на новом посту легкой жизни не будет. Юлдашбаев усмехнулся, вспомнил поговорку мудрого Бикмурата: все возвращается на круги своя. Вот и он возвращается к тому, с чего начал — к лесному делу. Что ж, пока есть задор, желание работать, надо постараться не ударить в грязь лицом.

Зазвонил телефон. Юлдашбаев было привычно потянулся к нему, но отдернул руку. Какое у него теперь право решать какие-то вопросы районного значения, если он уже, считай, бывший? Пообещать да и свалить выполнение этого обещания на заступающего завтра на его место Бахтиева? Отказать? Но тот же Бахтиев, может быть, и не станет отказывать. А если вопрос не терпит отлагательства? Вон телефон все звонит и звонит. «Что это ты раскис, Барый Максютович!» — ругнул он себя и взял трубку.

Это был голос заведующего райздравотделом. Оказывается, одного из четырех обещанных министерством врачей посылают в другой район, а машину «скорой помощи», наряд на которую пришел еще полгода тому назад, так и не удается «выбить».

— Сейчас я позвоню в Уфу. Перезвони мне через часик, — сказал председатель.

Он вызвал секретаря и попросил заказать телефон министра здравоохранения. В ожидании звонка продолжал перебирать бумаги...

Да, многие дела, намеченные им, остаются незавершенными. В каждом колхозе за эти четырнадцать лет его председательства удалось открыть участковые больницы, но медперсонала в них не хватает. Если не придет один из четырех обещанных врачей, это будет большая брешь в намеченном деле... Ведется строительство трех сельских типовых школ. К началу учебного года их обещали сдать. Но теперь-то — без него — сдадут ли?

Юлдашбаев, недовольный сам на себя, поморщился: возомнил себя пупом земли! Уйду из исполкома, так что же, мир рухнет? Надо попробовать решить, на первый взгляд, мелкие дела, ко-

торые все откладывал в «долгий» ящик. Он достал папку с письмами и заявлениями трудящихся. Мелкие дела... А ведь за ними стоят судьбы человеческие! Вот заявление старой колхозницы из «Красного партизана». Помнится, старуха жаловалась, что дом, из которого она проводила на войну мужа и троих сыновей, обветшал, а правление отказывается его ремонтировать. Председатель колхоза, когда во время очередной сессии Юлдашбаев говорил с ним, возмущался: «Да мы же даем ей комнату в двухэтажном новом доме! Там и вода, и газ, и теплый туалет. Не понимаю, чего эта бабка хочет!» — «Она хочет жить в доме, где родилась и куда не вернулись ее самые родные люди — муж и сыновья, — терпеливо пояснял Юлдашбаев. — Она верит, что когда-то кто-то из них туда вернется». — «Сумасшедшая!» — «Она — мать. Вдова. Пойми ты это. И не нужна ей твоя цивилизованная квартира с теплым сортиром. Ей свой дом дорог». — «Ладно, — поскреб в затылке председатель. — Что-либо придумаем». Но, видать, ничего не придумали, так как старуха написала еще одну жалобу: дом вот-вот рухнет, а в правлении ей все обещают. Раньше Юлдашбаев, захваченный вихрем более важных, как он думал, дел, забыл об этих письмах, теперь ругал себя. Какие такие более важные дела еще могут быть у него, самого большого в районе представителя Советской власти, чем судьба вот такой горемычной женщины!

Он решительно набрал номер телефона «Красного партизана» и, к счастью, попал на председателя колхоза. Спросив о текущих делах и выслушав короткий отчет, Барый Максютрович заинтересовался, как идет обещанный ремонт старухиного дома.

В ответ председатель вздохнул:

— Замучились мы с нею! Не идет в отдельную квартиру, и все тут!

— Я тебе уже объяснил, почему не идет. Повторить?

— Не надо. Но, Барый Максютович, если мы любые капризы всяких сумасбродных старух вроде этой будем выполнять...

— Капризы? Сумасбродных старух? — взорвался Юлдашбаев. — А ты посчитай, сколько у тебя в колхозе таких вот сумасбродных старух вроде этой, кто не дождался с войны мужа да троих сыновей? Подсчитал? Что же ты молчишь? То-то и оно... Нету больше... Этот дом портит красоту села? Потому, что старой постройки? Милый ты мой, да дома еще и постарше вашего пока стоят в самом центре Уфы. Видел? А говоришь. Ты же можешь, отремонтировав дом, превратить его в музей памяти своих земляков, кто отдал свои жизни за вашу нынешнюю жизнь, за жизнь детей, внуков, правнуков. Интересная мысль, говоришь? Почему сам не додумался? Текучка заела... Эх мы, люди-человеки... Ладно. Даю тебе пятнадцать дней сроку на ремонт старухино дома... Ничего, успеешь. Лично сам проверю. Да еще прихвачу с собою первого. Понял? То-то. Сам знаешь, не справишься, добра не жди.

Это был, пожалуй, самый категоричный и самый последний приказ Юлдашбаева на должности председателя райисполкома.

Дали Уфу. Мирно расспросив министра здравоохранения о житье-бытье, Юлдашбаев посетовал на нехватку медиков в его районе и будто бы невзначай спросил:

— Куда направляете одного из намеченных в наш район врачей?

Министр пояснил, что врач требуется на очередной новостройке.

— Послушайте! — вспылил председатель. — Мы его ждем уже пять лет! Вы все эти пять лет заверяли нас, что не уменьшите свою разнарядку. Ни на одну единицу. Вы хозяин своего слова? Или такой хозяин, который живет по принципу: коли я хозяин, то хочу — сдержу слово, хочу — не сдержу. Стыдно! Я до обкома, до Москвы дойду. Район задыхается без врачей, без машин «скорой помощи». Кстати, где та, что нам занаряжена еще полгода тому назад? Будет к концу квартала? Хорошо, хоть не говорите — к концу года. Да не надо мне клясться. Забыли разве: слово джигита одно. Или да, или нет. И — никаких клятв... Что ж, попробуем еще раз вам поверить... Но учтите, последний раз.

Это был последний крупный разговор Юлдашбаева с крупным начальством на его нынешней должности. Завтра такие же вопросы будет решать другой человек и, возможно, решать с большим успехом.

Но Юлдашбаев не грустил. С радостью почувствовал он, что гора, давившая на плечи, после этих двух телефонных разговоров вроде бы полегчала. Он энергично, потряхивая кистями рук, прошелся по кабинету. Решил сегодня же подготовить бумаги для передачи их новому председателю. Он сел за стол, придвинул поближе горку папок. Интересно, сколько бумаги придется ему перекопать, принимая дела у Козина? Пожалуй, даже побольше этого. Но надо работать. Юлдашбаев открыл первую папку, вошел секретарь и доложил, что на прием просится директор лесхоза товарищ Козин.

Юлдашбаев так и застыл с открытой в руках папкой. Потом захлопнул ее.

— Проси.

Козин вошел, твердо ступая, энергично пожал руку, справился о здоровье и после этого сел на предложенный стул. Перешел к сути дела:

— Я, Барый Максютрович, по поводу лесничего Гильмана Тулькусурина. Натворил дел ваш родственничек.

— А что такое? — забеспокоился Юлдашбаев.

XIII

Гильман в этот день был с утра на сенокосе. В связи с организацией вольера потребуется в два раза больше корма на зиму, вот почему всех, умеющих косить, он послал на луга, решив не отставать и сам.

После вчерашней работы он сегодня едва не проспал, а когда разлепил веки, с ужасом понял, что не хочет и не может встать. Болело и ныло все тело. Особенно ломило спину, свинцово-тяжелыми казались руки, ноги гудели. Собрав всю волю, он все-таки поднялся, с трудом сделал несколько приседаний, не рискнув, по своему обыкновению, совершить получасовую пробежку за хребет и обратно. Едва дотащился до умывальника, облился холодной водой, растерся и почувствовал себя значительно лучше.

Сегодня косил он со всеми наравне и радовался, что быстро освоил нелегкое дело. Когда сели полдничать, прискакал из конторы верхоконный мальчишка, подал записку. Рукою Фариды, дежурившей в лесничестве, было написано: «Гильман Ильгамович! Вас срочно вызывают в лесхоз».

В конторе Саттарова протянула ему телефонограмму «прибыть завтра к двенадцати часам контору лесхоза. Козин».

— Коли ехать завтра, зачем вы отозвали меня с сенокоса сегодня? — рассердился было лесничий.

— Дело в том, что звонил техник Загитов и просил именно сегодня непременно и срочно ему позвонить, — пояснила девушка.

«Что за срочное дело у председателя рабочкома? — недоумевал Тулькусурин, соединяясь с лесничеством. — Человек он серьезный, по пустякам отрывать от забот не будет. Но все-таки...»

— Здравствуйте, Загитов-агай... Что случилось? Приехать сегодня? Но я и так вызван на завтра! Завтра будет поздно? Что? Приказ о моем увольнении? За что? Не телефонный разговор? Хорошо, сейчас выезжаю.

Загитов положил трубку, а он некоторое время сидел оглушенный сообщением председателя рабочего комитета. Гильман, когда ознакомился с актом ревизии, ожидал чего угодно, только не этого. Ведь, как уверял бухгалтер, эта проверка фактически вскрыла плутни самого директора лесхоза! Это по его распоряжению еще в том году, когда Тулькусурин здесь и близко не было, на лесопилку завезли двадцать три куба неоформленных соответствующими документами бревен «на всякий пожарный случай». Значит, втолковывал бухгалтер, Козину просто невыгодно раздувать дело. Может, ему поставили в вину те самые проклятые дубы, срубленные Мурзабаем? Так Мурзабая осудил товарищеский суд, вынес порицание и наказал штрафом. Хитрый лисовин поклялся больше и щепочки не взять, сразу же заплатил в сельсовете штраф. Да и что в вину можно поставить лесничему в связи с этими зло-

счастливыми бревнами? Что он вовремя их не поклеил? Так это же чепуха. Весь лесоучасток знал, чьи это бревна. А может, дошли слухи и до Козина об отношениях Гильмана с Зубаржат и Ниной? Но это его личные дела, если даже слух дошел до самого райкома, то сначала бы с ним, с коммунистом, поговорили, а уж потом бы приняли какие-то меры. Впрочем, во всем он виноват сам. В ту ночь не хватило мужества выставить из дому Зубаржат, не желал окончательно портить отношения Гайсара с отцом, спас Мурзабая от народного суда — и вот, пожалуйста. Зубаржат теперь предъявляет на него права, Гайсар доволен товарищеским судом, а он, Гильман, хлебает бульон, который сам же и сварил.

— Гильман Ильгамович, у вас какая-то неприятность? — услышал он как из-под земли голос Саттаровой.

С треском швырнув трубку, Гильман, ничего не ответив, резко вышел из конторы, удивив и даже испугав девушку.

Он вошел к себе и повалился на койку. Никуда он не поедет, горите вы все синим пламенем! Его уволили с работы? Что ж, он не побежит жаловаться ни в райком, ни в райисполком, ни в суд, ни даже к Муратову. Есть хорошая башкирская поговорка: была бы шея, а ярмо найдется. Найдется ему работа в родном Башкортостане, а нет, Советский Союз — огромнейшая страна и леса в ней пока много. Обидно только, что не дали ему развернуться здесь, а ведь сколько было хороших задумок! Да и работа ему нравилась, и работал он с душою, в этом отношении совесть его чиста. А вот с Зубаржат, с Ниной...

Гильман почувствовал, что от волнения пересохло в горле, встал, достал из холодильника принесенное вчера от Нафисы-енге и разведенное

им водою кислое молоко. Выпил целую кружку. Взгляд его пал на привядшие цветы хны. Он когда-то обещал Зубаржат их поливать, а потом много раз хотел выбросить, чтобы как-то стереть память об этой девушке, но все не налегала рука. Да и виноваты ли цветы, виновата ли Зубаржат в его грехопадении? Виноват, прежде всего, он сам. Теперь, если уедет из Каратау, будет ли радоваться Зубаржат? Нет, конечно. Судя по всему, она за ним — на край света. А вот готова ли за ним Нина? Едва ли... Гордая девушка, узнав о его связи с Зубаржат, пожалуй, постарается вытравить его из сердца... Он же ее, куда бы ни уехал, будет помнить и любить всегда. Вот ведь в чем дело! Он называл Нину звездой своего счастья, и, если звезда эта для него погаснет, зачем тогда ему жизнь?

Гильман походил по скрипучим половицам... Козины, мурзабаи, всякие хайри несказанно обрадуются его несчастью, его бегству. Но имеет ли права он, последний из могучего и гордого рода Тулькусурь, он, коммунист, доставлять удовольствие таким шакалам? В другом месте будут другие козины, другие мурзабаи, что же, и от них бежать? Он остановился посередине комнаты, сжал кулаки так, что ногти почти впились в ладони. Нет, рано он решил сдаться! Не по-мужски это, не по-большевистски! Надо бороться, бороться с козиными, с мурзабаями и им подобными, бороться за дело, которому служишь, за себя, за Нину. Он же из породы непокоренного Тулькусурь! Как он об этом смел забыть!

Он настежь распахнул дверь, бросился к сараю, где стоял мотоцикл. Пронесаясь мимо конторы, он увидел, что Фарида машет ему и что-то кричит, но останавливаться не стал. Сжав зубы, он во весь опор погнал свой «Урал» в Иманку-

лово и менее чем через час был там. Простоволосый, припорошенный дорожной пылью, почерневший лицом, он бросился мимо перепуганной секретарши в кабинет Козина. Никого. Тогда метнулся к главному лесничему, но вовремя вспомнил, что умный, рассудительный Ражапов уже здесь не работает, озадаченно остановился в коридоре. К кому же ему надо? Ага! К Загитову! Он настаивал на его приезде.

Председатель рабочкома не скрыл радости и беспокойства при виде Тулькусурина. В его комнате сидели трое рабочих, и он, взяв лесничего за локоть, вывел его в коридор.

— Гильман! Козин поперся в райисполком, — взволнованным шепотом начал Загитов. — Боюсь, наплетет на тебя бог весть что.

— И что ты предлагаешь?

— Пойдем немедленно к Юлдашбаеву, и ты расскажешь все как есть.

— Вначале я, Загитов-агай, хотел бы откровенно поговорить с самим Петром Максимовичем.

— О чем? Он же настроил уже приказ об отстранении тебя от работы! Захотел бы с тобою говорить, вызвал бы. А то сразу — приказ!

— Вот я и хочу узнать, отчего такая спешка.

— Да брось ты! — поморщился Загитов. — Пока ты будешь его тут ждать — еще неизвестно, станет ли он с тобою разговаривать — он там тебя такую грязью обольет, что потом не отмоешься!

— Пусть обливает. Я не приехал просить, я приехал требовать справедливости, и я ее добьюсь.

Загитов открыл было рот, но тут же его закрыл: к ним по коридору шла улыбающаяся Нина. Она была в своей обычной шоферской форме — в комбинезоне и беретке.

— Товарищ начальник! — радостно протянула она Гильману руку. — Что же это вы приезжаете, не предупредив своих подчиненных, меня то есть? — и осеклась, увидев ледяное лицо Гильмана. Загитов, кашлянув, деликатно отошел в сторонку.

— Что случилось Гильман? — забеспокоилась девушка.

«Не знает,— понял он.— Ни о Зубаржат пока не знает, ни о моем увольнении».

— Мне в город ехать, — сбивчиво продолжала она, — мама еще в больнице, а я вот это... ключ папе забежала оставить... Но что с тобою?

— Ничего, Нина... Ничего... Надо объясниться с твоим отцом.

— По какому.. — Нина не договорила.

В контору вошел Козин. Его вид напугал всех: лицо белое, обычно тщательно причесанные волосы растрепаны, глаза — невидящи. Не узнав ни дочь, ни Тулькусурина, он, что-то бормоча под нос, скрылся в своем кабинете.

Нина перевела округлившиеся глаза на Гильмана:

— Что это с ним?

Лесничий пожал плечами.

— Сначала с тобою, потом — с ним! — капризно проговорила девушка, топнув ножкой. — Что сегодня происходит?

Гильман, видя, что она близка к истерике, положил ей руку на плечо:

— Успокойся... Успокойся, Нина. Я и сам ничего не понимаю.

— Так я сейчас пойму! — она сбросила руку парня со своего плеча, решительно вошла в кабинет директора.

— Видимо, с клязурами на тебя у него ничего не вышло, — прошептал Загитов. — Подожди-ка

здесь, я сейчас позвоню в райисполком и все узнаю.

Тулькусурин поймал его за руку:

— Никуда не звони. Я сам поговорю с ним.

— Да он, видишь, не в настроении.

— У меня тоже не песни на сердце.

Войдя в кабинет, Гильман увидел Козина, сидящего на диване, и около него перепуганную Нину.

— Что случилось, папа? Почему ты молчишь? — допытывалась Нина.

Петр Максимович, сжав голову ладонями, покачивался и, как пьяный, бормотал:

— После... после. Уходи, дочка... Маме ничего не говори...

— Да что говорить-то?

Тут Гильман понял, что сморозил глупость и бестактность, впершись к Козину в такой момент. Он взялся уже за ручку двери, чтобы выйти, как услышал охрипший голос Петра Максимовича:

— Постой... Тулькусурин... Что я тебе хотел сказать?.. — он какое-то время, не мигая, смотрел на него остекленевшими глазами, потом резко махнул рукою. — Впрочем, теперь это не важно! К черту все! Уходи! Не хочу с тобою разговаривать!

— А я как раз хотел с вами, Петр Максимович, поговорить, — шагнул к нему лесничий.

— Что? Со мною поговорить? Вон отсюда, проходимец чертов! Вон! Будешь говорить с новым директором!

Ничего не понимая, Гильман вышел в коридор, и тотчас же его атаковал Загитов.

— Ну, что он? Что с ним?

Гильман пожал плечами.

— Не пойму... Кричит, говори с новым директором.

Оставив в коридоре изумленного председателя рабочкома, Гильман зашагал было к мотоциклу, решив, что подробности о снятии Козина он узнает и позже, а сейчас, в горячую пору, он нужен в лесничестве.

Возле знакомого грузовика он остановился. Уехать, не поговорив с Ниной? Это было выше его сил.

...Девушка подошла к нему медленно, глядя под ноги. Лицо ее было бледным.

— Его сняли с работы, — пояснила она Гильману. — И зря он расстраивается, правильно сделали. Должность главного лесничего как раз по нем.

На эту тему Гильману говорить больше не хотелось, да, вероятно, и Нине тоже, потому он спросил:

— В город не поедешь?

— Конечно, нет. Надо побыть возле матери.

— Нина...

Девушка поглядела на него своими голубыми глазами, и парень увидел в них слезы.

— Не надо, Гильман... Я кое-что теперь знаю... Дай мне прийти в себя, проверить свое сердце... Ты езжай домой... Я, если надумаю, сама к тебе приеду.

Она стала на подножку, открыла дверцу кабины, помахала рукой:

— Прощай...

Э п и л о г

В конце сентября, когда по ночам первые морозы серебрили инеем пожухлые травы и опавшие листья, умер старый Бикмурат. Смерть столетнего старца не должна была бы никого удивить, и все-таки все Каратау ахнуло. Бикмурат был неким символом бессмертия и пользовался непререкаемым авторитетом жителей. С его смертью, казалось, откололся какой-то огромный кусок Каратау, откололся и навсегда сгинул.

Хоронили Бикмурата в воскресенье. Провожать его в последний путь пришли все деревенские жители от мала до велика. Лежал мертвый батыр, глядя заострившимся темным лицом в небо, и на его впалых губах, казалось, застыла загадочная улыбка. Словно хотел он сказать оставшимся после него на этой земле, что смерть вовсе не страшна, если свою жизнь ты прожил праведно, с пользой для других, словно хотел предупредить, что погоня за благами, предательство и унижение ближнего своего не продляет ни на мгновение твои наслаждения, а конец — у всех един. Такой же, как и у него, но есть разница: его, Бикмурата, даже самый злой человек не может помянуть недобрым словом. Вот постаревший

и как-то сразу осунувшийся Мурзабай топчется у гроба, мнет в руках беличью шапку, вздыхая и шумно сморкаясь. То и дело он бормочет под нос: «Какой человек умер! Какой человек! Добрый, широкой души! Якши человек!»

Гайсара лесничество послало на курсы механизаторов — его призыв в армию был отложен до следующего года, и Мурзабай с отъездом сына стал тише, задумчивее.

Сотни людей прошли в тот день у праха праведного старца. Башкиры кланялись, плакали, желали, чтобы на том свете Бикмурату было хорошо, чтобы он непременно попал в рай...

...В ту ночь Гильман долго не мог уснуть. Вечером он получил письмо от Нины, в котором девушка сообщала, что она на строительстве БАМа, что им надо побыть какое-то время по-дальше друг от друга, чтобы проверить свои чувства. «Если любовь наша настоящая, мы все равно будем вместе, если же это было просто увлечением, останемся добрыми товарищами», — писала Нина.

Последний раз они встречались, когда Гильман приехал в Иманкулово по вызову нового директора. Барый Максютрович Юлдашбаев объявил ему, что приказ Козина о его отстранении от должности лесничего Каратауского лесничества отменен как необдуманый, но за слабый контроль, несвоевременное оформление документов о самовольной порубке ему, Тулькусуруну, ставится на вид. Предложено было форсировать работы по строительству нового вольера и очистке леса от старых деревьев, пней, следов буреломов, усилить сбор семян.

Окрыленный, Гильман сбежал с крыльца конторы и столкнулся с Ниной. В первое мгновение

он растерялся, потом бросился к ней с протянутыми руками.

— Нина!

Девушка уклонилась. Спросила, не здороваясь и не глядя в его глаза:

— Это правда, что у тебя в Каратау есть любовница?

Вопрос ударил Гильмана по голове, словно обух. Он опустил руки. Что отвечать? Как ни крути, а ведь Зубаржат была, пусть однажды, но все-таки действительно его любовницей. Его молчание Нина поняла по-своему. Голубые глаза ее затуманились слезами.

— Значит, правда, — тихо сказала она.

— Нина! — Гильман от волнения судорожно двигал кадыком. — Ты у меня... одна... Единственная... А то... то было случайно, и я не хочу об этом вспоминать.

— А я не могу этого забыть! — зло сказала она, сжав кулачки. Круто повернувшись, быстро пошла к своей машине, но потом остановилась, медленно возвратилась назад. — Знаешь что?.. Я не хотела, чтобы на любовь мою пала грязь величинной даже с пылинку. Ты же уже успел испачкать ее.

— Но я ведь тогда не знал тебя! — в отчаянье воскликнул он и тут же поправился: — Не знал, как знаю сейчас!

— Все равно, это тебе не делает чести... Но теперь докажи мне, что душа твоя, совесть твоя, помыслы твои чисты, что теперь, зная меня, ты даже в мыслях мне не изменишь.

— Я докажу!

— Посмотрим.

На этот раз она, не попрощавшись, ушла совсем и, оказывается, уехала на БАМ. Насовсем? Надолго? А что, если она встретит там хорошего

парня — ведь парней на БАМе больше, чем во всей Башкирии, — полюбит его? От этих мыслей Гильман сходил с ума, потому и не спал всю ночь.

Обратного адреса на конверте не было.

...Разбудили его Ишмурза и Фарида. У этих все шло на лад: в деревне уже знали, что на Октябрьские праздники готовится их свадьба, и каждый втайне мечтал на нее попасть. Но сегодня скорбные, потухшие лица жениха и невесты встревожили Гильмана. Предупреждая его вопрос, Ишмурза вздохнул:

— Бикмурат-бабай умер...

Гильман сначала даже не понял, что сказал Ишмурза. Для него, как и для многих, почтенный старец был символом вечной жизни, ему казалось, что Бикмурат никогда не умрет, и вот — умер.

Как в тяжком полусне, Гильман умылся, оделся, не стал завтракать, поспешил в дом Янтуры. Попрощался с покойным и вышел, не зная, куда деться. К счастью, принесли телеграмму из Уфы: «Лосей отправили автомашинами. Готовьтесь встретить Муратов». Тулькусурин знал, что лосей вот-вот ему привезут, но не ожидал, что это случится сегодня. Надо же в такой день, когда вся деревня прощается с мудрым Бикмуратом.

Он поспешил в контору, чтобы посоветоваться с Юлдашбаевым, а заодно и сообщить ему о смерти Бикмурата.

Юлдашбаев, оказывается, знал о прибытии лосей, спросил:

— Готовы ли встретить гостей? — Гильман промолчал, собираясь ответить, а Барый Максютрович рассердился: — В рот бусинка попала, что ли? Почему молчишь?

— Бикмурат-бабай...

— Когда? — быстро догадался директор.

— Сегодня утром.

— Сейчас выезжаю... Погоди-ка! Вижу в окно: какие-то машины с наращенными бортами подъехали к конторе. Одна, другая, третья... Ага. Так и есть — с лосями. Вот я с ними и приеду, ждите.

...Когда десять грузовиков с лосями один за другим стали подъезжать к дому Янтуры, люди, прощавшиеся с Бикмуратом, на какое-то время оставили покойного, окружили машины. Удивляясь и радуясь, они разглядывали лосей, прибывших сюда, в Каратау, аж, говорят, с берегов далекого Амура. Животные, укаченные дорогой, стояли в кузове по двое, опустив свои неуклюжие, но умные морды. Детвора, впервые увидевшая лесных красавцев, визжала от восторга и радости, люди постарше солидно толковали о размерах рогов лосей, о весе быков. Лишь покойный Бикмурат лежал с застывшей улыбкой, запрокинув в небо редкую бородашку, безучастный к суете своих живых односельчан. Он-то повидал лосей на своем веку, захватил время, когда они в лесу в зимнюю пору забредали погреться и поесть в его родное Каратау.

— Братья мои! — напыщенно воскликнул Мурзабай. — Это не лоси сегодня в наши леса пойдут, это наши души оживят наши редющие и умирающие леса. Пусть же отсохнет рука у того, кто посмеет выстрелить в наши души!

— А если это сделаешь ты? — насмешливо крикнул кто-то из толпы.

— Пусть и моя отсохнет. Но я этого не сделаю. Никогда! — твердо заявил старый охотник, и ему поверили.

Этот день был не совсем обычным в Каратау, и все-таки, разобраться, ничего удивительного в нем не было. Умер старец Бикмурат, а у живу-

щей через три дома молодой соседки Фатимы родился в то же утро первенец. Привезли лосей. Готовились к близкой зиме. За зимой обязательно придет весна, покроет вечный лес зеленью и цветом...

Словом, шла обычная человеческая жизнь.

И зима наступила! Покрыла леса, степи, горы темным белым одеялом, заковала в ледяные панцири говорливые речки, но они продолжали журчать и подо льдом нести свои струи к далеким могучим рекам, а те, в свою очередь, тяжело кадили воды к далекому синему морю. Жизнь продолжалась.

По ночам Каратау, припорошенная снегом, мирно засыпала и, пока дрожащие от холода звезды Большой Медведицы не переваливали за хребет, пока восток не окрашивался алым соком утренней зари, в деревне стояла чуткая зимняя тишина, нарушаемая лишь полусонной брехней собак.

Но с первыми криками петухов, с первыми робкими солнечными лучами деревня пробуждалась. Скрипела дверь, вкусно хрустел под ногами примерзший снежок, человек с лыжами на плече, ружьем за спиной и деревянной лопатой в руке направлялся в сторону леса. Это был охотник-промысловик. Затем в сараи спешили с подойниками и ведрами, наполненными теплой водой, женщины — доить своих буренок.

Потом на базах появлялись и степенные мужчины — задать скотине корм, что-то подправить, починить, взять из поленницы охапку дров на утреннюю топку.

И уже после быстрого завтрака, в восьмом часу, улицы оглашались веселым гомоном школь-

ников. Им нравилась уральская бодрая зима! Впрочем, не менее нравилась им и весна с ее буйным цветом, первыми грибами, ягодами, вкусными травами; и знойное лето, и обильная звонкая осень.

Жизнь продолжалась.

Накануне Тулькусурин был в райцентре. Юлдашбаев принял его, как всегда, радушно, справился о жите-быте, о том, как поживают поженившиеся осенью Ишмурза и Фарида, как чувствует себя переселенцы-лоси в вольере, и, услышав подробный рассказ, удовлетворенно покивал головой. Гильман поражался переменам, произошедшим в Барые Максютовиче. Первые дни работы на новом посту он был вял и неразговорчив, но сейчас, кажется, помолодел, подтянулся даже, энергия так и била через край. Чувствовалось, что старая рана затянулась, новая работа ему по душе и по плечам.

Он резво подвел Гильмана к карте его лесничества, ткнул похудевшим крепким пальцем в место, где обозначен вольер.

— Это ты дело сделал хорошее.

— Не я, а мы с вами, Барый Максютович, — мягко поправил его Гильман.

— Ишь ты, ишь ты! — сощурился Юлдашбаев. — Подхалимничаешь? Ну, ну, не надуйся, шучу. Так вот, слушай. Надо сделать еще одно хорошее дело: создать участки семеноводства в лучших уголках леса. Ведь у тебя деревья не так поражены болезнями, как в других лесничествах, тебе, как говорится, и карты в руки.

— Я сам об этом думал, Барый Максютович. И уже примерно места наметил.

— Молодец! С лету схватываешь. Где эти места, покажи.

Гильман поставил карандашом точки на карте.

— Здесь, здесь и вот... здесь.

— Ага. Хорошо. Значит, на этих кварталах уже сейчас начинай санитарную рубку, очищай их от валежника и гнилья. Нам в этом году понадобятся хорошие, здоровые семена, и притом — много.

— Вот я думаю использовать для семеноводства и вольер, — сказал Гильман. — Если, Барый Максютрович, мы не будем получать пользы с каждого дерева, расходы по содержанию вольера посадят нас на голый пень.

— Правильно мыслишь, родич мой дорогой! — Юлдашбаев свернул в трубку карту, сунул ее в стол. — Кстати, ты достаточно для своих нужд напилел досок?

— Думаю, достаточно.

— Смотри. Оборудование твоего цеха отдадим в Бирагачевское лесничество. Занимайся зверями, семеноводством, сеном да санитарной рубкой. — Директор посмотрел на часы, присвистнул. — Заболтались мы с тобою, а уже перерыв. Есть хочешь? Пойдем ко мне пообедаем?

— Спасибо, Барый Максютрович. Только сначала я хотел бы посоветоваться с вами по одному, думаю, важному для нашего дела вопросу.

Юлдашбаев насторожился.

— Ну, ну... Слушаю.

— Мы в этом году под новогодние праздники отправили городу десять тысяч елок. И раньше лесничество отправляло не меньше. По-моему, это воровство — уничтожать прекрасный лес для короткого удовольствия.

— Ай-бай! — покачал головою директор лесхоза. — Не говори. Прямо какое-то моровое поветрие с этими несчастными елками. И пишут, и говорят об этом, а планы на порубку молодняка с каждым годом растут. Тут все понятно: люди

живут лучше и лучше, вот каждая семья хочет своим детям, а то и для себя, для гостей нарядить славное деревце. Но что ты предлагаешь? Заменить их синтетическими?

— Да нет. С этого начинания, уверен, толку не будет. Россия привыкла к лесу, к натуре, к ее живому виду, запаху... Синтетика у нас не пойдет. Я предлагаю сделать в лесничестве своеобразный зеленый конвейер: сажать ежегодно на порубках, песках, неудобьях, горах по десять гектаров елок и довести эти посадки до ста тысяч штук. Как только подойдет первый участок, весь его вырубать и засаживать снова, потом так же второй, третий...

— Это замечательная мысль! — подхватил Юлдашбаев. — Давай все конкретно обговорим в объединении, думаю, там нас поддержат, и весной начинай свои первые десять гектаров. А теперь, пошли обедать!

За обедом говорили о делах, общих знакомых и родных в Каратау. Когда Хакима-апа вышла на кухню заварить чай, Барый Максютovich, приблизив свое лицо к лицу Гильмана, тихо спросил:

— Ну, что у тебя с Зубаржат?

Парень вздохнул:

— Жалко ее... Но я ей прямо сказал, что люблю Нину...

— А Нина?

— Нина на БАМе. Прислала оттуда письмо без обратного адреса. Больше не пишет.

— Так сходи к Козиным, узнай! Кстати, Галина Сергеевна вроде бы к тебе благоволит.

— А как у вас отношения с Петром Максимовичем?

Юлдашбаев на минутку закрыл глаза, потюкал по столу ложечкой:

— Работаем... Специалист он в общем-то неплохой, сам знаешь. Вот если бы не лез не в свои дела. А ты к Галине Сергеевне все-таки сходи.

И Гильман пошел, вернее, поехал на лошадке, запряженной в кошевку.

Не без робости поприветствовал он разыгравшегося конька у солидного знакомого дома. Во дворе Галина Сергеевна вешала белье. Как ее осанка, движения напомнили Гильману Нину!

Хозяйка не узнала закутанного в волчью шубу и лисий малахай давнего знакомого. С недоуменным любопытством глядела, как этот огромный в шурах человек в тяжелых унтах топчется у калитки, и только по голосу угадала.

— Гильман Ильгамович! — всплеснула она руками. — Вот радость-то! Заходите в дом.

После взаимных приветствий и справок о здоровье, Галина Сергеевна грустно сказала:

— Осиротел наш дом. Живем вдвоем с Петром и все волнуемся, как там, в чужих далеких краях, наша доченька. Спасибо, пишет она часто. А в последнем письме есть строки и о вас.

Гильмана кинуло в жар. Что за строки?

Хозяйка подошла к серванту, выдвинула ящик, вытащила из него целую пачку пухлых конвертов, подала один из них гостю.

— Прочтете?

Недолго колебался Гильман.

...Нина писала, что работает на новом КамАЗе, живет в бараке, где довольно холодно, однако и жизнь, и работа ей нравятся, только очень скучает по отцу и матери, по родным местам. В конце письма Гильман прочитал: «Мама, если увидишь лесничего из Каратау, ну, того самого лесного медведя Гильмана Тулькусурина, передай ему привет, если он, конечно, как я, не смылся из нашего района. Но я верю, он человек сильный,

целестремленный и моему примеру не последует. Да и я уехала ведь только на время. Хотелось бы получить от него весточку, правда, я ему не пишу, а ты при случае упрекни его, что забыл он лихого шофера Нину Козину».

Гильман свернул письмо. Забыл он? Да он помнил о ней дни и ночи, каждый час, каждую минуту! Она не оставляла его даже во сне!

— Вам адрес нужен? — мягко спросила Галина Сергеевна. — Возьмите этот конверт, напишите ей теплое письмо и... уговорите вернуться... — Она глубоко вздохнула. — Эх вы, молодые...

Больше ничего не сказала деликатная Нинина мама, но в этом вздохе Гильман почувствовал горький упрек себе. Как же это он за полгода не удосужился узнать адрес Нины, написать ей или даже слетать в Тынду? Может, все бы давно прояснилось... Что удерживало его? Гордость? Нет, скорее стыд. Стыд и нежелание встречаться с Козиным, боязнь взглянуть в глаза все понимающей Галины Сергеевны. Но теперь он напишет! Он все объяснит и все ей расскажет!

Резвый конек за полтора часа по хорошо накатанной санной дороге домчал его до лесничества. Распрягши его и задав корму, парень на ходу разделся, сел за стол, придвинул к себе стопку бумаги.

И вдруг все мысли, все хорошие слова вылетели из его головы. Письмо получалось то слишком сухим, и Гильман, скомкав его, бросал под ноги, то чересчур жалостливым, даже слезливым — и этот листок комочком летел туда же. Он вскакивал со стула, метался по комнате, ерша волосы и отчаянно кляня себя за неспособность написать любимой девушке обыкновенное письмо. Но в том-то и дело, что это письмо не было для него обыкновенным, а значит, и прос-

тым. Чувства, переполнявшие его, kloкотали, рвались наружу, на бумаге же все слова выглядели серыми или нарочитыми. Он прижимал разгоряченный лоб к оконному стеклу, а из белой зимней тьмы на него глядели голубые ждущие и осуждающие глаза. Ему казалось, что какое-то огромное горячее море качает его, поднимает ввысь, к шуршащим на морозе звездам Вселенной, потом вдруг низвергает в темную пучину безысходности, выталкивает оттуда, несет среди лесов, болот, заснеженной тундры в маленькую, неизвестную ему Тынду, к Нине...

«Звезда жизни моей! — лихорадочно строчил он. — Где бы я ни был, что бы ни делал, о чем бы ни думал, всегда ты со мною. Однажды я бродил по лесу, думая о тебе, рисуя себе самые радужные картины нашей совместной жизни, и к вечеру понял, что заблудился. Это было удивительно, ведь в своем вечном родном лесу я, кажется, знаю каждое дерево, каждый куст. Но, видимо, провидение заставило меня побыть с тобою всю долгую зимнюю ночь. Мысленно я был с тобою, но рядом тебя не было, и я, как шальной, бродил всю ночь по лесу, даже не пытаюсь выбраться на тропинку, ведущую к дому, ибо мне казалось, что вот-вот из-за дерева, из-за пригорка выйдешь ты, улыбнешься своими синими очами, протянешь руки, простишь. Я спрашивал у деревьев: где моя Нина? Я спрашивал у гор: где моя Нина? Я молил ветры найти тебя, передать тебе, как я люблю, как тоскую по тебе, и принести хоть словечко от тебя... Равнодушно шумели деревья, равнодушно молчали горы, думая о чем-то своем, ветры сурово отряхивали на меня с елей и дубов снег... И я понял, что природа мне не поможет, что я сам должен лететь на крыльях любви за своим счастьем...»

Гильман писал и писал, пока не онемела рука, потом, поставив последнюю точку, снова заметался по комнате, перечитал длинное письмо и подивился сам себе. Поэтического дара он в себе раньше не ощущал, а это письмо будто написал не он, а другой человек. Многие слова снова показались ему выпренными, сентиментальными, но письмо переписывать не стал, боясь, что никогда его не отошлет. Он быстро заклеил конверт, подписал адрес и стал одеваться. После этого свидания с Ниной, после всех переживаний он чувствовал, что сегодня не уснуть. В лес! Только вечный родной лес успокоит его, излечит...

Он надел короткие лыжи, подбитые шкурой теленка (их сделал для прогулок по лесу по его просьбе Янтура-агай), и вышел на улицу. Письмо бросил в Каратау в почтовый ящик, а сам взобрался на гребень. Отсюда, как на ладони, была видна деревня, рассыпавшая домики по склонам гор. Восток уже покрылся блеклой синькой, кое-где в домах вспыхнули окна — проснулись первые охотники, рыболовы, хозяйки. Две фигурки вышли из дома Янтуры, зашагали под руку в сторону вольера. Конечно же, Ишмурза и Фарида. Счастливые люди! Каждый раз, видя, как они, воркуя, вдвоем идут на работу, Гильман испытывал радостно-щемящее чувство. Он радовался за своего некогда угрюмого и нелюдимого дядю Ишмурзу, который все-таки нашел свое счастье, и... жалел себя. Но кто виноват в его сегодняшнем несчастье? Не Зубаржат же! Вон она выскочила из дому, резво заскрипела валенками, направляясь к сушильне. Ее бригада сейчас занимается заготовкой семян сосны, и, хотя сегодня воскресенье, у девушек рабочий день.

После того разговора, о котором Гильман коротко рассказал Юлдашбаеву, Зубаржат больше

не подходила к нему, не заводи́ла с ним никаких речей, кроме как по работе. Что ж, ее понять можно: сколько ни сиди у нетопленного очага, не согреешься. Но иногда Гильман ловил ее грустный любящий взгляд, и ему становилось не по себе.

Когда солнце уже румянило верхушки Каратау, он стоял у скалы Тулькусурь и любовно смотрел на многослойную твердь скалы, жадно шарил взглядом по лесам и полянам за незамерзающим Нурушем, слушал Голос, который когда-то явился ему здесь же, над скалой, у старой сосны.

«Человек мой! Хозяин земли своей! Вижу, что ты начинаешь заботиться о жизни грядущих поколений. Для того чтобы все люди были счастливы, жили в мире, любви и дружбе, твои пращурь, прадеды, деды и отцы веками боролись, лучшие из лучших отдавали свои жизни за это святое дело. И, коли уж встал ты на защиту красоты матери-земли, на защиту ее здоровья, ее прекрасного лица, на полпути не останавливайся, какие бы преграды ни встретились на твоём пути, какие бы беды тебе ни грозили.

Человек мой! Вон те подернутые синеватой дымкой горы — высоты, на которые предстоит подняться тебе. Только издали они кажутся живописными, легкодоступными, подойди ближе и увидишь ты на своём пути и отвесные скалы, и зияющие пропасти. Не пугайся, человек мой! Не отступай! Сбрав волю, укрепив себя сознанием необходимости своей жизни в этом лучшем из миров, смело иди навстречу трудностям, опасностям. Я верю, я знаю — ты не из породы трусов, в тебе кровь твоих предков — смелых, честных и вольнолюбивых людей. Итак, без сомнения и страха — вперед!»

Так говорили скала и сосна Тулькусурь, а

может, так думал сам Гильман, и он почувствовал, как свежая праведная сила вливается в него. Эта сила была настолько могуча, что ему казалось, он не только готов покорить любые вершины, но и способен своротить любые горы.

И он пошел...

1973—1976 гг.

Оглавление

ПРОЛОГ	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	33
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	242
ЭПИЛОГ	465

Нугуман Сулейманович МУСИН

ВЕЧНЫЙ ЛЕС

Р о м а н

Книга вторая

**Авторизованный перевод с башкирского
Б. Куликова**

Редактор Н. Грахов

Художник М. Гайсин

Художественный редактор И. Файрушин

Технический редактор Ф. Гайфуллин

Корректор Э. Сулейманова

ИБ № 3830

Сдано в набор 18.11.88. Подписано к печати 03.02.89. Формат бумаги 70×90¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 17,55. Усл. кр.-отт. 17,69. Уч.-изд. л. 18,60. Тираж 50 000 экз. Заказ № 480. Цена 1 руб. 30 коп. Башкирское книжное издательство. 450000, Уфа-центр, ул. Советская, 18. Уфимский полиграфкомбинат Госкомиздата Башкирской АССР. 450001, Уфа, проспект Октября, 2.

Scan Kreyder - 21.12.2018 - STERLITAMAK

1 р. 30 к.